ИРИНА САБУРОВА

О НАС

МЮНХЕН 1972

Ирина Сабурова

О НАС

МЮНХЕН 1972

Моим дорогим Львам —
всей семье де Красс-Краснокутских —
Николаю Львовичу,
Фелице-Львице,
и Львенку —
в память пройденного ими пути из Таллина
в Иоганнесбург
и в знак моей глубокой признательности
посвящаю эту книгу

Мюнхен, 1969

«Слетают листья, издали скользя,
Как листопад летит Господня сада, —
И падая, они шуршат: не надо- —
И по ночам тяжелая земля
Всех звезд летит в паденьи одиноком.
Мы падаем, как падает рука —
И так во всем, на что ни кинешь око.
Но есть Один, Который все паденье
В Своих руках сдержал благоволеньем.»

Райнер Мария Рильке.

Если начинать, так уж — с самого дна. Начать — главное. Остальное развертывается, как жизнь, по своему, с нашей помощью или без, а конец одинаков. Какой — важно только совсем для немногих, чаще всего только для самого человека — для меня, для вас — а кто мы, в конце концов? Не авторы же фильмов, где конец по заказу, по вкусу публики. Просто люди, как нибудь, где нибудь могут еще умудриться поставить точку сами, а когда нам ставит точку жизнь, — то это уже окончательный конец, без выдумок, не временный, а на совсем, вечная память.

Вот эту «вечную память» следовало бы повычеркивать повсюду, из некрологов, если их вообще напишут, траурных объявлений и заупокойных служб. Может быть раньше, когда людей было мало, то о них, как о музейной редкости долго-долго еще говорили дети, внуки и правнуки. Жил, мол, был вот такой человек, и было у него — ну, три овцы, или борода только, и вот поставил он этот столб — и память о нем жива. Столб тоже стоит долго.

Конечно, и в наши дни деятель, знаменитость оставит след. Может быть, не на один наш век. Ему «вечная память» по заслугам и праву. Но таких немного. А нам? Сколько нас? Не сочтешь. И какая мы пестрая публика! До того пестры, что никакого отдельного цвета не различишь. Так и песок — просто желтый, а ведь каждая песчинка своими оттенками переливается, если рассмотреть.

Да, если...

Если на любом морском берегу наклониться, захватить горсточку песку, и дать ему медленно развеяться по ветру — сколько песчинок, и какие они — красивые, между прочим, сколько среди них блесток — настоящего и дорогого. Только не под «вечную память» развеивать их. Если ее споет кто нибудь — насмешкой может показаться даже, в лучшем случае- благим пожеланием с негодными средствами. Песчинки просыпятся — и нет их больше, и мало кого найдется, кто бы вспомнил, узнал. Дом может помнить о них, — вещь, дерево — они то живут долго, а какая память у людей — у ветра?

Но это — масштабы вечности, которую все равно никто не может себе представить. Логически, казалось бы, и не стоит. Но логика людям не свойственна — очевидно поэтому иные стараются, несмотря ни на что буквально, потому что все равно ничего не получается, но продолжают цепляться и стараться. Бог с ними.

Может быть, когда нибудь им удастся понять больше, чем положено человеку? Хорошо, пусть тогда и нам скажут. Мы же пока- песчинки, и нам хорошо бы подумать, вспомнить о нас самих просто, для себя вспомнить, осмыслить может быть хоть одну коротенькую минутку — на наших песочных часах или в горсточке на ветру, улыбнуться или поплакать даже над рассссказом: а ведь было так, действительно! Неужели так было? Да ведь это я, о ком вы говорите! А помните? А я сразу узнал- это он!... и много еще восклицаний — со дна души на этот раз, а не дна того, не милости, а гнева Божьего тысячадевятьсотсорокпятого года. Но если кто начинает, так сухие ужасы, от которых и горло пересыхает, и глаза, хочется спрятаться куда нибудь и выть. Может быть не только другим, но и самим не верится больше, что ведь действительно так было, было...

Ужасов было до ужаса много — и у меня, у вас, — но от нагромождения их лучше не становится. Пока мы еще живы, — то в этом коротеньком «пока» можем и улыбнуться тоже. А об улыбке не стоит забывать. С нею легче. Жаль, что такие простые истины забываются почему то легче всего...

Вот и давайте расскажем. Сами о себе. Не роман — такого громадного полотна, чтобы мы все целиком уместились, не под силу поднять. Просто так — кусочки жизней, как придется. Не для «вечной памяти», нет. Нам бы поскромнее. Просто для себя. Для улыбки, но и слезу смахнуть тоже иногда не мешает — недаром же поднимать такую со дна — года не милости, а гнева Божьего — тысяча девятьсот сорок пятого- пеструю муть.

Зачем?

Какой нетерпеливый вопрос... А не пора бы — научиться терпению? Зачем? Остановиться на минутку и не «ах, нет, простите, мне некогда» (или без «простите» даже, просто отмах-

нуться), — а вот, остановившись, дать себе труд рассмотреть. Знаете, сколько тогда красивых блесток, настоящих искорок найдется в этих песчинках? Гораздо больше, чем думаете. Вот для чего.

И еще: может быть, нельзя говорить вслух, что мол, нам жаль их — фантастических иллюзий, ошибок и заблуждений, и действительных потерь (ведь считается неприличным говорить о жалости к любви!) — но для чего все таки пропадать таким искоркам под пылью даже, не говоря уже о классическом «пепле забвения»? Давайте лучше — не оглядываясь на поджатые губы ходячей морали — пожалеем их. Попросту. Мне, во всяком случае жаль, потому что я люблю их, вот почему.

И...

«И есть Один, Который все паденье
В своих руках сдержал благоволеньем»...
— еще и поэтому.

1

Чемодан соседки обвязан старым телефонным шнуром и втиснут между высоких железных бочек на платформе товарного поезда. На бочках много народа: какие то женщины, старик -профессор с женой, бежавшие из Праги, семья латышского инженера- жена, две девочки; несколько солдат в беспогонных обтрепанных формах. Соседка, вскарабкавшаяся ночью с чемоданом, днем отдаленно походила на даму: сильно замазанный углем, но хороший английский костюм с подколотой булавкой юбкой — она тоже уже недели две в пути. Не очень молодое, уставшее лицо в растрепанных рыжих локонах внезапно разглаживалось хорошей улыбкой. Хороший немецкий язык с балтийским акцентом.

Она долго отнекивалась, когда Таюнь Свангаард поделилась с ней утром хлебом и кусочком сала. Туго набитую сумку Таюнь держала на коленях, нещадно вымазанный ржавчиной синий чемодан лежал на соседней бочке, и на подкладке дорогого пальто, притороченного к нему ремнем, тоже уже были грязно рыжие пятна. Этот багаж она с трудом дотащила на разбитом велосипеде до города, где на вокзале было открыто окошечко кассы.

— Продать вам билет? Отчего же, можно — улыбнулся кассир. — Мы хоть на луну билет продадим! А когда пойдет поезд — неизвестно. И еще менее известно, куда он пойдет. Но если вы непременно хотите ехать- попробуйте . . .

Сперва пробовать пришлось, стоя на одной ноге в уборной, где уже стояло четыре человека. Через головы, колени, чемоданы стоявших в коридоре в уборную пробирались время от времени несчастные люди. Стоявшие вокруг судна отворачивались. Хорошо еще, что вода шла . . .

Когда поезд пришел куда то, и было заявлено кем то, что дальше он не пойдет, пришлось перетаскиваться на следующий, потом опять на следующий, потом опять . . .

Поезда осенью сорок пятого года стояли часами, иногда днями. Шли неизвестно куда и зачем. Направления можно было придерживаться только зигзагами. Пассажирских вагонов почти не было: были площадки, буфера, платформы.

— На бочках хорошо сидеть — рассказывала соседка. Вот два дня тому назад я ехала на крыше — и это было страшно, особенно перед туннелями. Крыша покатая в обе стороны, держишься за вентилятор, вагон шатает, того и гляди свалишься, и перед туннелем кажется, что вот-вот голову отрежет. На самом деле не может быть, конечно, не сидишь ведь, а лежишь, но страшно... у меня два сына в армии, на юге, так я думаю их найти... мальчики совсем.

Вопрос о том, куда пойдет поезд и когда — обсуждался уже раз двадцать. Солнце давно встало, проплыло, припекло и уже садилось — стояла на счастье хорошая осень. Постепенно перезнакомились, курящие делились махоркой, пили воду из термоса, ходившего по рукам. Один из солдат бегал с ним к железной руке водокачки. Поезд стоял среди безконечных подъездных путей большой, очевидно, станции, вокзала в солнечной дымке не было видно.

Солнце спустилось совсем низко. Изредка на путях показывались какие то фигуры. Те, кто тащился с чемоданом или рюкзаком, не интересовали. Но когда показались два высоких американца, шагавших через шпалы, инженер забеспокоился.

— Послушайте, мадам! — обратился он к Таюнь. — Вы по английски говорите, да? Спросите пожалуйста у них. Дети так устали, а главное — может быть не имеет смысла сидеть, а нужно забирать чемоданы и тащиться поближе к станции. Да вот и с этой стороны идет кто-то! Железнодорожник, кажется...

— Да, пожалуйста, спросите! — поддержали остальные.

— Ну хорошо, я попробую... А если поезд тронется?

— Да он целый день не трогается с места! И можете быть спокойны — за вашими вещами я присмотрю — обещал инженер.

— Ну что ж... помогите только слезть...

— А я у железнодорожника спрошу! — вызвалась рыженькая соседка, и обе спустились кое как с высокой платформы на буфер, а оттуда спрыгнули на рельсы.

— Вы направо, а я налево! Наша платформа четвертая с конца, торопитесь! — почти весело воскликнула рыженькая, и придерживая разорванную юбку, побежала. Таюнь тоже кинулась перепрыгивать рельсы.

— Алло, алло! — кричала она американцам, размахивая руками, хотя они вряд ли могли слышать ее на таком расстоянии — с платформы казались гораздо ближе. Наконец удалось подбежать, запыхавшись.

— Можете сказать мне, мистер, — начала она, с трудом переводя дух, и вдруг будто что-то толкнуло в спину — оглянулась. Поезд тронулся. Да, пошел!

Отчаянно махнув рукой Таюнь, меряя глазами расстояние, бросилась бежать обратно с одной только мыслью: как бы не

споткнуться. Может его только ранжируют, переводят на другой путь? Может быть он пройдет несколько метров и встанет? Хоть бы к последней платформе попасть!

Краешком глаза увидела рыжую голову соседки с другой стороны поезда. Видимо, та не успела так далеко отойти и догнала уже. Что-то крикнула, кажется... и другие кричат... видят, что она не успеет... больше нет сил. Таюнь остановилась в отчаянии, вытерла залитые потом глаза.

Она не могла видеть, как с другой стороны поезда рыженькая женщина подбежала, схватилась за какую то лопаточку выступом с платформы над буферами, но вагон дернуло на стыке, она не удержалась и сорвалась вниз с коротким криком. Сидевшие на платформе ахнули, бросились к краю, но это было уже бесполезно. Вагон прошел, потом второй, третий... последний. Между рельс, между шпал осталось лежать что-то — почти невидное сбоку: несуразно сложившаяся, раздавленная фигурка без ног, с раздробленным, сплющенным затылком. Рыжие волосы покраснели, как клоунский парик.

— Хоть короткая смерть, слава Богу. Что ж, еще одна... вздохнули на платформе. Жена инженера перекрестилась и заплакала.

Хвост поезда долго вилял еще на раздвигавшихся, пересекавшихся параллелях пустых путей. Таюнь держала на него направление, стараясь шагать со шпалы на шпалу, чтобы не попадать на коричневый, облитый гарью острый щебень между такими же просмоленными балками. Через несколько минут остановится, и она догонит... ведь останавливался же все время по пути! Стояли же они на этой станции целый день! Рыженькая литовка попала, не видно ее на путях.

Хвост все уменьшался, превратившись в туманную точку — теперь и она исчезла в мареве. Справа от Таюнь садилось солнце, небо стало выцветшим и бледным. Где нибудь на станции можно будет узнать... и вообще, приключение. Еще одна переделка. Голый человек на голой земле! В кармане — серебряный мундштук, верный друг во время войны; батистовый платочек с кружевом, и самодельный флажок — все иностранцы в Германии со своими национальными эмблемами. Довольно легкий багаж! И это действительно все, если не считать часов на руке и кольца. Даже брошку она сняла и положила в сумку, боялась, что потеряет — тяжелая, золотая. А главное, что в сумке махорка была, хлеб, даже сала кусок и — и все документы, конечно. И пальто из серой каракульчи, притороченное к чемодану ремнями, подкладкой кверху, чтобы не видно было, что оно дорогое. Идиотство в сущности брать такое в дорогу, но она хотела одеться прилично, попав в большой город. Вот и оделась. Но этот инженер — тоже рижанин, порядочный человек, он сдаст вещи на стан-

ции, на хранение. Пока только — немного страшновато но как то и весело даже — может быть такое: веселая злость? И в который раз бывать в пути с таким багажом — налегке? Да, но тогда была весна, и солнце, и... не седеющие уже волосы. Совсем иначе.

Идти по шпалам стало тяжело. Таюнь подобралась к краю полотна, спустилась под откос. Пыльная дорога показалась мягкой. Сбоку тянулись низенькие заборчики, крохотные будки-домики в садиках — кусты, яблони, цветы. Немецкая «беседочная колония» — «Шребергартен». Устало думала, что считала раньше почему то это название от «Шербен» — осколки — и только потом узнала, что Шребером звали городского инженера, давшего бедным горожанам возможность выхода в зелень, в свой крохотный садик на окраине... Одна из калиток хлопнула, закрылась, на дорогу вышла женщина с мальчиком и большой корзиной в руках.

— Посмотри, мама, негритянка! — послышалось за спиной Таюнь.

Оглянулась с любопытством. Откуда взялась здесь негритянка? На дороге, кроме женщины с ребенком и ее, никого не было видно. Вот, значит, как она выглядит, после вчерашнего вагона с углем. Провела рукавом по лицу. Все равно, надо идти дальше.

Над сорванной крышей вокзала с мигавшими огоньками редких карманных лампочек лежало совсем уже темное ночное небо. Таюнь бродила от одного человека в помятой синей форме к другому — железнодорожные служащие, машинисты. Сюда должен был придти поезд, товарный, с бочками на платформах, там ее вещи, чемодан... Номер? Нет, номера она не знает, конечно.

Ее посылали в контрольную башню, в разные бараки вокруг, еще куда то, снова и опять... в темноте сновали какие то люди, Таюнь спотыкалась на рельсах, повторяла все то же самое всем, уже совершенно чужим, отчаявшимся голосом. Пожилой служащий выслушал ее второй раз, и взмахнул карманным фонарем.

— Вам нужно догнать его. Он пошел в Мюнхен, на юг. Идемте, я посажу вас на другой, сейчас отходит, с ним догоните, направление то же...

Взял ее за руку и уверенно повел в темноте, пролезая между вагонов, людей.

— Вот, садитесь — и подтолкнул к высокому полу товарного вагона с открытой дверью. Таюнь попробовала подтянуться, чьи то руки протянулись из темноты, помогли вскарабкаться, коленом больно стукнулась о край, но уже подняли, посадили на ящик. На другом горела свеча, кругом говорили, гортанно и быстро, смутно различались темные лица, блестящие глаза, зубы — итальянская речь.

— Синьоры — сказала Таюнь и стала медленно подбирать самые простые французские слова, мешая их со знакомыми итальянскими, чтобы им было понятнее, — синьоры, я потеряла свой поезд . . .

Они очень весело выразили сочувствие, смеялись, предложили страшно крепкую сигарету. Таюнь с наслаждением закурила, вагон качнуло, поезд тронулся. Дверь оставалась открытой. Итальянцы придвинулись ближе, размахивая руками. Такие милые, — подумала Таюнь. Итальянские военопленные наверно, или рабочие?

Поезд дрогнул и остановился. Открытый пролет дверей в темноту сильно побледнел — начиналось уже поле. В синеватом просвете в вагон сразу шагнули две фигуры с белыми поясами, свежими розовыми лицами под темным беретом набекрень. Английская форма.

— Что это такое? — спросили оба ломано по немецки, указывая на нее.

Итальянцы загалдели, смеясь. Таюнь встала.

— Я потеряла свой поезд — начала она по английски. — Там остались мои вещи. Я должна ехать на юг, меня посадили сюда, чтобы догнать . . .

— Но вы не можете ехать одна ночью со всеми этими мужчинами!

— Я не забочусь больше о том, что «шокинг» — улыбнулась Таюнь. Посмотрели бы они, как ей приходилось ездить!

— Нет, это невозможно. Идемте.

Тон, не терпящий возражений. Власть. Спустилась за ними из вагона под сожалеющие возгласы итальянцев. Поезд стоял в поле. Англичане шли впереди, Таюнь не разбирала их слов. Куда? Может быть, все таки не оставят в поле? Внезапно расстелившася пустота вокруг показалась страшной.

Шедший впереди — старший, наверно сержант, — помог взобраться в вагон. Совсем другая обстановка. Направо и налево от двери поднимались уступами аккуратные ящики и громадные картонки. Посредине на одном горела свеча в бутылке, два поменьше служили табуретками.

— Садитесь, мы сейчас вернемся.

Они соскочили снова и пошли — очевидно, заканчивать обход. На обоих концах вагон был забит ящиками до потолка, но в начале на них было устроено нечто вроде полатей, лежали светлые одеяла и подушки. Англичане вернулись, и второй, ростом поменьше, что то кинув на ходу другому, прошел в темный угол и лег. Второй присел к ящику, положил перед свечкой походную сумку, отметил что-то в бумагах, и протянул Таюнь пакетик конфет.

— Курите? почему вы говорите по английски?

Вынул из кармана целую пачку сигарет и дал ей.

— Спасибо. Я беженка из Балтики, неделю в пути, и...

Рассказала вкратце, иногда путаясь в словах — давно не говорила по английски. Краткие данные, висящие, как ярлык на шее, китайские иероглифы, которые каждому надо объяснять понятными ему категориями. Англичанин слушал молча. Таюнь подумала, что ему наверно приятно все таки слушать связную английскую речь после итальянского галдежа. Будто подслушал мысль — кивнул наконец.

— Понимаю. Но с сорока итальянцами из лагеря в одном вагоне ночью, одной женщине — безумие. Можете лечь сюда.

Он указал на одеяла. Поезд, словно подумав тоже, тронулся снова.

— Спасибо — улыбнулась Таюнь — я очень рада, если смогу ехать и сидя.

Сержант? Наверно сержант, не слушая, снял пояс, положил его с револьвером на ящик, расстегнул френч, снял ботинки.

— Нонсенс сидеть всю ночь на ящике. Ложитесь, мэм.

Вот теперь кажется настоящая переделка — подумала Таюнь. Что делать? Другой уже спит, судя по храпу. И в конце концов, неизвестно...

Додумывать не стоит. С наслаждением вынула ноги из расползающихся туфель, скинула жакет, аккуратно сложила его на свой ящик, пригладила зачем то волосы и подойдя к «полатям» легла к самой ящичной, пахнущей свежими досками, стенке, прижавшись к ней. Может быть, он будет сидеть всю ночь на ящике? Нет, и дальше раздеваться он тоже не стал, а спокойно лег рядом. Полати были широкие, и от нескольких подложенных одеял лежать было удобно, без простынь, конечно, только на подушках были наволочки. Он накрыл ее одеялом, натянул на себя другое и задул свечу. Таюнь видела краешком глаза, как закинул одну руку, подложив под голову, другой протянул ей сигарету. Стенки вагона подрагивали на ходу, за полузакрытой дверью медленно протягивалась ночь. В полумраке был виден оранжевый кончик его сигареты, освещавший лицо. Может быть, начать рассказывать ему что нибудь, чтобы заснул поскорее? Или примет это за заигрывание? Его окурок полетел на пол — мелькнула дугой выгнутая искорка. «Держись, Сашка, начинается —» пришла в голову дурацкая присказка. Таюнь еще очень осторожно, поддерживая рукой теплый пепел, чтобы не упал на пушистое и определенно чистое одеяло, курила свою сигарету.

Он не переменил позы, но осторожно и тихо положил свободную руку на одеяло на ее груди.

— Уэлл, мистер — тихо и медленно сказала Таюнь- выдавливая каждое слово из сжавшегося судорогой горла — я не знаю

вас. И я знаю, что вам очень трудно представить себе... но постарайтесь представить себе, хоть на минуту, что вот в Англии произошла какая то невероятная катастрофа, — и ваша сестра, дочь, невеста, мать, жена — очутилась в таком положении, как я. Одинокая женщина в чужой стране, потерявшая всех своих близких, и даже все свои вещи. Одна и... представьте себе, что это случилось бы с кем нибудь из ваших женщин!

Больше нечего было сказать. Замолчала, выжидая. Что же еще остается, кроме психологической атаки? Кричать, бороться? Смешно. Второй не повернется даже, а может быть еще и хуже. Хотя все таки ведь это англичане...

— Вы правы — произнес он вдруг так же спокойно — и снял с ее груди руку.

— О — Таюнь показалось вдруг, что она задохнулась, так неожиданно спало вдруг все напряжение, вся судорожная настороженность — о-о — как я благодарю вас!

Так же неожиданно для нее самой прорвались слезы, и уже не боясь ничего больше, в радостной доверчивости, она вдруг обняла его, поцеловала куда то в щеку, и прижавшись, положив ему голову на грудь, заснула, почти внезапно, в обессилившей вконец усталости, но все еще с благодарными и радостными слезами.

А поезд все шел, неизвестно куда, останавливаясь неизвестно зачем.

Только утром Таюнь смогла разглядеть как следует обоих. Спавший в другом конце, темноволосый, видимо сказал что-то скользкое, но сержант оборвал его. Сам он был особенно сдержан. Поезд снова остановился неподалеку от станции и деревушки при ней, и только теперь Таюнь узнала, что он идет в Италию, а совсем не туда, куда ей надо.

Они втроем вышли из вагона и подошли к последнему. Там была кухня: шипела и свистела газовая трубка в металлическом корытце, и Таюнь тоже протянули солдатскую манерку. В растопленном сале свивались два куска копченого шнека — ну конечно же, английский завтрак, давно невиданный бекон. Сбоку лежали два продолговатых куска чего то ноздреватого и белого, как вата.

— Простите, что это такое? — расхрабрилась Таюнь, указывая на белые куски.

— Хлеб! — рассмеялись все кругом и когда она недоверчиво мотнув головой, твердо заявила, что не может быть, такого белого хлеба не бывает! — сочувственно похлопали по плечу. — Это не ваш военный хлеб!

Итальянцы тоже вышли из вагонов, завтракали на поле. Англичане раздавали продукты. Таюнь получила три плитки толстого шоколаду и несколько пачек сигарет на прощанье. Но

вот команда садиться — и поезд тронулся. За этим уж не пойдешь — а его жаль, ночную сцену она не забудет...

Таюнь споткнулась и чуть не упала. От туфля отскочила подметка. Этого еще не хватало!

Солнце продвинулось уже за полдень, когда она нашла в станционном местечке большеротого, краснолицего сапожника. Но он отказался. — Ни денег, ни сигарет мне не нужно. Вот, если в кровать ляжете, другое дело. Тогда пришью.

Таюнь выскочила из его комнатушки и долго бежала, прихлопывая подметкой — вдруг догонит? Потом остановилась, села на дорогу, с отчаянием попробовала отпороть ногтями ленточку на подоле юбки — вместо веревочки, чтоб подвязать... ленточка не отпарывалась, да и порвалась бы сразу.

Изредка по дороге проезжали военные джипы, крестьянские повозки. Джипы не останавливались, но один крестьянин подвез ее дальше.

...на какой то станции медленно шла по путям. Стоит пустой поезд с товарными вагонами, в одном раскрыты двери, у самого края полуразбитая стеклянная банка — с мармеладом! Пришло же кому то в голову везти с собой варенье! Но после английского завтрака три дня тому назад она еще ничего не ела... Таюнь остановилась, прислонившись к прохладной стенке, осмотрела банку. Осторожно выудила один осколок стекла побольше, стала им зачерпывать, как ложкой, кислосладкий мармелад, стараясь не касаться языком острого края.

— С хлебом лучше — посыпался голос. Обернулась. Немецкий солдат в растрепанной форме.

— Можно и без хлеба — если его нет.

Солдат снял рюкзак, порылся в нем, вынул небольшую горбушку, разломил пополам, протянул Таюнь.

— Значит, и варенье пополам — обрадовалась она. Они молча ели, макая куском хлеба в банку, и сплевывая мелкие осколочки стекла.

...ночь на вокзале. Неподалеку стоит несколько пассажирских вагонов, слышны голоса. Таюнь только подошла к ступенькам, когда дверь раскрылась, и карманный фонарь ослепил и отбросил назад.

— Вы куда? — спросил железнодорожный служащий. — Эти вагоны только для американцев.

— Вагон кажется, пустой — робко взмолилась Таюнь. — Мне бы только ночь провести... я потеряла свой поезд...

Служащий присмотрелся к ней, совсем близко поднеся фонарь и покачал головой.

— Выкидывать вас я не буду, но предупреждаю: если вы не шлюха, то станете, если проведете здесь ночь.

Скамеек не было. На полу сидело несколько женщин и солдат. Таюнь нашла замызганную половинку старой газеты, валявшуюся у двери. Все таки, можно подстелить хоть под голову. Пол из каменно холодных плит. Старалась сжаться, не двигаться, чтобы согреться как нибудь, но как и укрыться одним жакетиком, и лечь на него?

... — Пойдите в школу — сказал ей утром американец в шлеме. — Там сборный пункт для иностранцев — лагерь.

Школу нашла только к вечеру. Это уже четвертый день бессмысленных блужданий от одной станции к другой. У водокачек можно сполоснуть лицо, выпить воды в пригоршне. И снова идти, спрашивать, объяснять. Руки висят, как плети, и на плечах ничего нет, а их так выгибает книзу, так ломит. Иногда удается найти окурок.

— Я больше самой себе не верю, кто я — Таюнь с трудом проталкивает слова через слипшиеся губы. — Просто не могу больше.

Поляк-доктор за столом протягивает ей сигарету.

— Вижу. Вот что, мадам. Все, что я могу для вас сделать- это положить в госпиталь на три дня, не больше. Конечно, это не госпиталь тоже, но вам дадут поесть, и кусочек мыла. Идите ложитесь на свободную койку. Немного, но хоть что нибудь.

Благодарить нет сил. Простыни на койке нет, конечно, но на подушке бумажная наволочка, и поверх соломы лежат два серых колючих одеяла. После вокзала...! Ложится, но заснуть сразу не может, от боли повсюду, от чрезмерной усталости. Только лежать, закрыв глаза и ничего не думать, ни о чем...

Пролежала сутки, не поднимаясь. Потом с тем же крохотным кусочком мыла выстирала под краном в уборной свое белье, а на следующий день- жакет и юбку, вывесив их за окно. Доктор проходил иногда, и подсовывал ей сигарету, она только благодарно улыбалась. Соседка одолжила гребешок, чтобы причесаться. На третий день Таюнь поднялась на ноги. Усталость прошла, но отчаяние не проходило.

— Больше, сами понимаете, я не могу вас здесь держать — сказал доктор, когда она пришла к нему за загородку в конце комнаты. — Бумаг у вас никаких нет. Я то вам верю. Я верю каждому человеку сейчас, в наше время ничего невероятного нет, потому что может быть только самое невероятное, можете и не рассказывать. Только запомните, пожалуйста, очень прошу вас: помните всегда, что нет положения, из которого не было бы выхода. Выход всегда есть, как бы тяжело ни было, пока человек жив. Поверьте, что и для вас найдется.

Он смотрел на нее усталыми, понимающими глазами.

— И для вас... найдется.

Действительно, должен же быть!

... — Вам надо пойти в бюро для находок! — сказал служащий на громадном разбомбленном вокзале. — Если поезд пришел сюда, ваши спутники могли отдать вещи на хранение, только там они могут быть!

В бюро для находок — одна стена обрушилась уступом — сидела пожилая полуседая женщина с добрыми глазами.

— Позвольте, — сказала она, — мне кажется, что действительно несколько дней тому назад были сданы на хранение вещи, — что, вы говорите, у вас было? Синий чемодан, синяя сумка, пальто?

Она порылась в немногих бумажках и вынула листочек в клеточку.

— Вот здесь написано: синий чемодан, синяя сумка, пальто...

Значит, они действительно отдали! Таюнь не выдержала и расплакалась от радости. Боже мой, наконец то!

Но та, как то странно смущаясь, вертела в руках листок.

— Я не совсем понимаю... вещи были сданы здесь, это ясно, иначе не могло быть составлено описи. Но — где же они? Подождите, я пойду спрошу.

Спрашивать пришлось долго. Она ходила с Таюнь по всему вокзалу, останавливала всех, наводила справки... Никто не знал, кто принял вещи, куда их положили. Таюнь попросили придти на следующий день. Она переночевала в развалинах вокзала и пришла. Вещей не было.

На третий день стало ясно, что в этом хаосе никто ничего не может найти- и наверно, кто нибудь просто стащил беспризорный чемодан, только и всего.

Таюнь долго сидела, в сотый раз перечитывая бумажку с неразборчивой подписью. Женщина сочувственно смотрела на нее, потом раскрыла свою сумочку и вынула два снимка.

— Я знаю, что значит терять — просто сказала она. — Вот, посмотрите.

Молодое, мужественное, веселое лицо: весь мир, вся жизнь перед красивыми сияющими глазами и улыбкой.

— Это был снимок накануне его докторского экзамена — ровный голос.

— А этот...

Маленький холмик, деревянный крест, шлем на нем, надпись, букетик, положенный товарищами.

— Вот это и все, что осталось — спокойный, сдерживающий себя голос. — Все.

«...Песни пел, мадеру пил, — К Анатолии далекой миноносец свой водил... На Малаховом кургане офицера расстреляли — Без недели двадцать лет он глядел на Божий свет»... бормочет Таюнь ахматовские строчки, выходя на солнечные разбитые улицы города, и видит перед собой победную улыбку того, мо-

лодого под холмиком ... а ее сын, которого она ищет — где? Ему и восемнадцати нет еще ... И чемодан, пальто, сумка — проваливаются куда то, спокойно выбрасываются в прошлое, в приключение, неприятную переделку, из которой конечно может и должен быть выход ...

* * *

... — Садитесь, господин майор — шепчет серый беспогонный солдат пожилому человеку в несуразном штатском костюме — и майор Власовской армии, испуганно вздрогнув сперва, всматривается в усталое лицо солдата, изборожденное струйками пота. Откуда он его знает? А вдруг — выдаст? Советская зона кончилась уже, или? На третий день пути он рискнул сесть в какой то случайный автобус до следующей деревушки. Он благодарно не садится, а падает на кусочек деревянной скамейки и тихо, стараясь скрыть акцент, выдавливает: «данке» ...

* * *

... — И в каждом городе, местечке, деревушке — где бы я ни проходил, когда удирал от красных — на самой центральной площади я всегда писал мелом или углем на стене: «Манюрочка, иду в Баварию». Только эти слова, чтобы не заметили большой надписи, не стерли. И что же вы думаете? Жена, когда бежала потом из Праги с дочкой, не знаю, где уж — подняла глаза от мостовой — и увидела надпись. Пошла за мной, и вот, теперь мы опять вместе ... невероятно, но факт. Хотите верьте, хотите — нет, или чудом называйте — но так и было. Было!

2

Так и было. Множество чудес и смертей, падений и взлетов человеческих, бесчисленных мельчайших песчинок на искалеченных путях, на оборванных мостах, среди рухнувших стен. И имя им — легион, и всех их разносит ветер, и каждого жаль до слез, только слез больше нет — высохли на ветру.

Это замечательный сумасшедший дом на Омштрассе — улице большого немецкого города, названной в честь известного ученого. Улица осталась, но в честь дома обитатели переименовали ее, и дом назывался: Номер Первый, Хамштрассе. Стоял он в сущности, вторым, потому что начала не было: угловой, на аллейной улице в высоких свечах тополей, рухнул. Остались маленькие кучки щебня, куски стен, разломанные кирпичи. Раньше это был громадный дом, закрывавший его; теперь перед Номером Первым лежала пустота, громоздился мусор, и от этого его передняя стена совершенно обнажилась: голая, без окон и дверей, неловко старалась прикрыться чем нибудь — пустая, беззащитная без рухнувшего соседа. Но прикрыться было нечем. Номер Первый стоял в глубине дворика, выложенного крупными серыми плитами. Теперь они потрескались, одна вздыбилась, на низенькую стену ворот легли какие то железные коряги из бывшего соседа. Остальные три стены были просто мерзко серыми, и хоть в лохмотьях штукатурки. Давно немытые окна смотрели подслеповато и слезились от тонкого дыма из неожиданно высовывавшихся печных труб в кое как вставленных форточках или просто кусках жести. Надо же как нибудь топить, если отопление давно не действует. Все таки порядочные, привычные стены, не то что эта голая, которой никто никогда не видел раньше, и кажется, что за ней — пустота, через которую видно все.

Если сцену разделить на пять этажей десятью темными узкими коридорами, и на множество клетушек побольше и поменьше, набитых до отказа вещами, людьми, и невероятным количеством тайн, большинство которых известно, а часть- немногим, то вот это и будет знаменитый дом.

— Вы пойдите в Номер Первый на Хамштрассе — ну да, «Хам», как же иначе назвать? Захамили улицу ... так там вам ...

Там вам помогут. Там вам дадут. Там вам объяснят. Там вас укроют. Там вас направят. Там вам достанут. Что?

Все.

Потому что Номер Первый — это замечательный, знаменитый номер, приют, убежище, навес, крыша на дороге, веселый дом, разбойничий притон — все вместе и еще много сверх того. Потому что на пустых, перекареженных улицах большого города только у вокзалов убирают на крохотных платформах игрушечного паровозика щебень высоких куч, засыпают пещеры с торчащими балками. Остальные улицы пусты. На работу люди не ходят, работать некому и незачем, магазины пусты и закрыты — может быть, десяток, другой наберется в громадном городе. А вечером — полицейский час, и тогда кренятся под ветром одиноко торчащие стены со средневековыми зубцами выбоин, с провалами окон — и падают, гулко ухая на вздыбленную мостовую, засыпая еще один квартал. Какие то фигуры мелькают иногда, прижимаясь к развалинам, перебегая через пустыри; по улицам, где еще можно ездить, проносятся разваливающиеся на первый взгляд джипы с гудящими моторами и рослыми крепкими парнями в шлемах с синими буквами: ЭМПИ, с лоснящимися лицами и торчащими из кобуры рукоятками револьверов, хлопающих их по общелкнутому заду. Они презирают развалины, ночь, людей — людей больше всего, им лучше не попадаться на глаза.

Потому что все, что необходимо, в этом городе можно только «достать» — кривыми, окольными путями. Ходов много, хотя выхода нет. А «все» в этом городе, как и во многих других городах в конце этого, гнева Божьего сорок пятого года сводится для очень многих пришлых, неизвестно почему попавших сюда людей — то есть, для нас — к очень сложным и совсем немудреным, немногим вещам: бумажка с печатью — кто есть кто? — раз; (все равно, какая: какая нибудь, лишь бы печать была); чего нибудь поесть (не все равно, но хоть что нибудь); где нибудь переспать (можно и на полу, и на столе); иногда — что нибудь надеть (все равно что, только не военные шинели — мужчинам; женщины шьют себе из них пальто).

И во всем этом «все» обитатели Дома Номер Первый на Хамштрассе разбираются еще как, только так!

Как они хлынули туда, в какой день этого лета или осени, кто пришел первым, и почему именно в этот когда то порядочный семейный немецкий пансион — вопрос без ответа. Вместе с домом, мебелью и двориком он давно уже принадлежал двум сестрам — темноватой сгорбившейся Урсуле и разбухшей светловолосой Аннхен. Дом принадлежал еще их отцу, оставившему им в наследство как раз в тот год, когда скончался и степенный бухгалтер, муж Урсулы. Она уже тогда начала горбиться над расчетными книгами, и перестала надеяться на какое нибудь

счастье, всегда, впрочем, представлявшееся ей в виде кругленького капитальца в банке. Имевшихся денег было вполне достаточно, чтобы, перестроив кое что в доме, открыть в нем пансион для приезжих из провинции, студентов, художников даже — если будут платить, конечно! Но этот район города, около университета и кварталов художественной богемы обязывал: в двух крохотных мансардных комнатках можно было без труда вставить косое окно во всю стену, поскольку стена была невелика — но для ателье, по мнению Урсулы, достаточно вполне. В нижнем этаже помещалась общая столовая, из нее двери вели в «гостиную» Урсулы, она же и контора. Еще дальше была ее спальня — много ли нужно одинокой женщине? — и комнатка для Аннхен, перед загибающимся углом коридора в кухню.

Кроме дома в капитал, так сказать, входила и Аннхен — гораздо моложе Урсулы, разбитная, вечно напевающая, и быстро толстеющая от своих кастрюлек и сковородок. Она любила готовить-единственное, что умела вообще, ловко и быстро раскладывая на тарелки, отмеряя порции, наряжая их кружевными букетиками петрушки и бантиками салата. Аннхен была почти счастлива, хотя ей никогда не приходилось морщить красивого белого лобика над таким абстрактным понятием. В кухне она могла командовать всем, и этого всего было так много, целые батареи бутылок, ножей, вилок! Завтрак-обед-чай-ужин — день был чудесно занят. Вечерами однако она выскальзывала иногда в коридоры наверх — и исчезала в комнате какого нибудь постояльца, прижимая к животу под передником бутылку вина и щедрые бутерброды. Урсула, вечно шмыгавшая по всему дому, покачивая длинным острым носом и буравя потемки крохотным узелком волос на затылке, втягивая голову в сутулую спину — Урсула, слышавшая, видевшая и знавшая все, что творилось и в коридорах, и за запертыми дверьми — на следующий день многозначительно откашливалась на кухне и кратко замечала:

— Ты опять заслужила штраф.

«Штраф» был настоящим денежным взысканием, которое налагалось на Аннхен, вернее на ее долю в доходах с пансиона каждый раз после ночных похождений. Вообще Аннхен сама просила старшую сестру раз и навсегда давать ей только скромную сумму на карманные расходы: в кино ее могли свести постояльцы, а поболтать за чашкой кофе с подругами она может и на кухне, и в своей комнате — все под рукой! Платья и туфли они всегда отправлялись покупать вместе — причем Урсула никогда не скупилась и считалась с вкусом самой Аннхен. Аннхен мило кокетничала при этом, изображая «солнышко» с взбитыми локонами, и предпочитала голубенькое и цветочки. Урсула молча соглашалась, выбирая себе подобротнее и посерее. И карманные деньги,

и расходы на наряды из доходов Аннхен не вычитались. Было бы непорядочно, говорила Урсула, не считать ее работы на кухне. Но ночные похождения — другое дело. Пока она не вышла замуж, это всегда может кончиться несчастьем. Несчастье же всегда обходится дорого — поэтому лучше наложить штраф заранее — может быть, хоть это удержит Аннхен от излишнего мотовства. Аннхен молча громыхала кастрюлями и слегка поеживалась: перед практичной философией старшей сестры она всегда оказывалась бессильной; впрочем, та все равно распоряжалась всеми делами- непосильное бремя для кудрявой Аннхен.

Выйти замуж для Аннхен оказалось почему то не так легко — но во время войны, когда в таком ходу были «военные невесты» — удалось почти. Если бы у Аннхен было время подумать, то она могла бы уже считать себя такой степенной вдовой, как Урсула — но «если бы» — не было. Колченогий уже во время войны пансион, обтрепывавшийся и тускневший от начищенных сапог нижних, высших и всяких военных чинов, гудевший сквозь все половики от добротных башмаков всевозможных партийных и иных чиновниц, приезжавших на одну ночь, но живших иногда и месяцами — весь этот дом, теперь уже как протертая, расползающаяся по ниточкам, посеревшая салфетка — внезапно — нет, не рухнул, как тот, рядом, а ринулся в ошеломительную неизвестность, вверх тормашками, стремглав, в авантюру, названия которой искать нечего, потому что его нет и не может быть.

У практиков, так же, как у романтиков, есть одно общее качество: их не собьешь с пути. Даже поставленные вверх ногами одни будут восхищаться неожиданным видом на небо, а другие — сбереженными подметками. Только этим можно объяснить, почему закачавшийся дом не рухнул, и Урсула, как глава, втянув еще больше голову в совсем уже надвинувшийся горб, стала еще ниже и меньше, несмотря на толстую шерстяную кофту — но устояла перед нахлынувшей в скучный, серый, но добропорядочный немецкий пансион оравой пестрых, непонятных, и безусловно криминальных ауслендеров.

Как это произошло точно, («кто первый . . . ?) — предистория, и в качестве таковой, значения не имеет. Зато очень важна вообще для всей истории одна предпосылка: «как» в то время вообще никакого значения не имело. Все делалось «как то» и выходило «вот так». Только и всего. Поскольку логика, целеустремленность и здравый смысл отсутствовали совершенно, философия была проста, как жизнь, а жизни фактически не было. Было: ужас, недоумение, страх, растерянность, неопределенность, неизвестность, крушение, бессилие, нищета («голый человек на голой земле . . .») — буквально голый, и на буквально голой земле! — отчаяние, безнадежность; было сколько угодно «без» и «не», и «ни», не придуманных, а самых настоящих трагедий, катастроф

и драм. Вот только это и было, пожалуй, в то время, и еще, конечно, любовь. Нежнейшая и легчайшая, грубоватая и простая, циничная и ласковая, понимающая и не рассуждающая, примирившаяся и тоскующая — всякая, как всегда, но в такие времена — острее.

Но не забудьте: одна стена дома обнажена. На ней даже тени соседнего дерева не качается: оно срезано снарядом, и пенек засыпан щебнем — тень не скользнет даже воспоминанием. Этот глухой, бесшабашный, таинственный и разбойничий дом — кукольный дом с тремя стенками, — сцена с открытым занавесом, и мало того — —

— Это ваша автобиография, конечно? — спросил один юрист у Демидовой, прочитав ее рассказ, героиня которого покончила с собой.

— Нет, я еще жива — ответила она со смешком, но без улыбки. Пожилому юристу логика чужда не была, но это вот к чему: никаких автобиографий здесь нет. (Двойное, подчеркнутое отрицание — прекрасная особенность русского синтаксиса!) Но есть кусочки их: и тех, и этих, вашей и твоей, нашей и моей тоже. По принципу калейдоскопа: клак! — поворот трубки — и самые разнообразные, разноцветные кусочки складываются в никогда не бывший, неповторимый, единственный рисунок — из разных других. Клик! — они звякнули, рассыпались — и сложились снова — совсем в другое.

Да, вы сказали именно эти слова. (Только не тогда, не в том доме, а в другой стране, в другом городе, и совсем другим людям...). Слова — ваши. И — да, мой дорогой, ты сделал именно это — только для другого, и по другим причинам даже... но это был ты — и не ты, вы — и не вы, я — и не я.

Как же иначе рассказать о нас?

И еще: это пустая, обнаженная стена. Стена, на которой может отразиться — нет, не тень сломленного дерева, а может быть даже то, что еще будет. Извилистый путь к какой нибудь точке — который пройдет и фрау Урсула, и сидящий сейчас у нее в столовой чахоточного типа юноша — не чахотка, нет, просто клеймо концлагерного номера на руке — до того, как он станет банковским директором в Менхеттене, или... такой же путь к согнувшемуся деревянному кресту того, у кого на груди еще видны сейчас дырочки от только что снятого с мундира Железного креста такой то степени... Вот именно, ведь это пустая стена, не занавес, а экран. Конечно, для него надобно расстояние. Тогда мы не видели его — в глухую, тоскливую, тревожную осень, под дождем, страхом и голодом. Но и тогда, и теперь на нем тени, тени, и мы — тенями...

«Авдотья Петровна, Авдотья Петровна!
Сыграйте нам вальс: «Незабвенное время» . . .
— Есенин сказал. И его не забудешь.

* * *

«Горсточка эмигрантов!» — Ну нет, это можно было сказать во времена Французской революции. С некоторой натяжкой еще, может быть о первой русской эмиграции после Октября. Но теперь эмиграция перестала быть осколками какого то класса, бедной иностранной колонией в немногих городах. Теперь она — международный фактор, с которым надо считаться всем. Кто может поручиться за то, что не станет сам эмигрантом?

После Второй мировой войны эмиграция шла не только из Советского Союза, но из почти всех стран Восточной Европы: Югославии, Чехословакии, Румынии, Польши, Болгарии, а из Венгрии даже дважды; из Восточной зоны Германии, из Балтики и Израиля, из Алжира, Кореи, Индии, Тибета, Индонезии, с Кубы и из Китая. По разным причинам (бегство, но не всегда от коммунизма), но именно по тому, что по разным причинам, — не миллионы, а десятки миллионов уже, а не горсточка людей! И при всем различии рас, причин и обстоятельств — судьба их одинакова: потеря родины и близких, своего места в жизни, пересадка в чужую обстановку, страну с другим климатом, часто чужим языком, обычаями, требованиями — и необходимость приспособиться — или погибнуть. К этому можно еще прибавить, что даже если у некоторых сперва остается надежда, то после каждой эмиграции, длящейся свыше пяти лет, возвращение становится более, чем проблематичным. Разрывается не только жизнь, но и связь с прежней, создаются разные пути, и люди, идущие по ним, станут чужими, потому что изменились по разному. Если же эмиграция длится целое поколение — то о возвращении могуе думать только очень недалекие — или совершенно далекие от реальной обстановки люди.

Дайте себе пожалуйста труд задуматься над этой массой. Вот ветераны эмиграции — старая русская интеллигенция и дворянство, казаки, солдаты, купцы и институтки. Всегда почему то забывается, между прочим, что Белые армии состояли далеко не из одних офицеров и великих князей; — полуграмотных людей, твердо разбиравшихся однако в понятиях добра и зла — в них тоже было достаточно. Но те, кто построили себе фермы, развели кур, стали фабричными мастерами — не привлекают особого внимания. Популярность — всегда прожектор: полковник за рулем такси, князья — лакеи, и вообще — «ам слав». Многие сделали себе в эмиграции европейские, даже мировые имена в

разных областях культуры, науки, и неотделимы теперь от национальной жизни чужих стран. Но ветеранов — остатки, последние могикане — сколько их еще наберется? — и становится все меньше. Валовое изгнанничество, переселение началось после Второй мировой войны. Опять таки с Востока: как ни ловили советские охотники за черепами своих «подрабных» (от слова «раб»), как усердно ни выдавали их союзники, разбиравшиеся в чем угодно, кроме действительности — их миллионы. Пусть среди них только горсточки честных и верных калмыков, упорно продолжающих считать себя русскими и заставившими признать это наконец и иммиграционные власти, живописных кавказцев, насчитывавших и у себя на родине небольшое племя, энергичных северян — балтийцев — но зато миллионы гоноровых поляков, безудержных югославов, магнатных и в простонародье венгров ... А вместе с ними в Германию хлынули судетские, чешские, югославские, венгерские немцы и пруссаки — изгнанники в своем же отечестве, так же, как несколькими годами позже во Францию и Бельгию потянулись сотни тысяч алжирских французов, бельгийских и французских «африканцев», индокитайцев, в Голландию — краснолицые плантаторы с Цейлона, Явы, Борнео, Гвинеи — в Англию, кроме своих «колониальных» англичан люди всех оттенков кожи, от желтого до черного, в Индию пришли замкнутые тибетцы, китайские купцы и нищие, и миллионы этих разнородных разноплеменных толп хлынули в Америку и Австралию ... Что делается в Африке, откуда — и лучше раньше, чем слишком поздно — придется эмигрировать всем европейцам? Что будет в Америке, с ее негритянской проблемой? До сих пор в Европе только Скандинавия и Швейцария играют пассивную роль. А если Советскому Союзу придет в голову занять половину Швеции или Норвегии для своих баз? Так же, как были заняты Балтийские государства, вся Восточная Европа, половина Германии и Кореи, и прочая, и прочая? Век революций и атома — век эмиграции тоже. Что ж, если уж в Библии говорится, что каждый человек — странник в этом мире. Но таких — не «горсть».

Пессимизм не при чем: просто печальная действительность. И не к чему обманываться: возвращаться незачем. Старшее поколение становится старым, и даже если возвращение станет возможным, то воспоминания прошлого будут проектироваться совсем на другое настоящее — чтобы еще раз потерять все. Молодежь или денационализируется на Западе, или воспитывается крепкими родителями в традициях опять таки этого прошлого: сохраняется вера, язык, национальное лицо — прекрасно, создается преемственность, но — но все это опять таки чуждо другому такому же поколению, выросшему на родине в совершенно иных условиях.

Да, эмиграция — международный фактор. И нет, пожалуй, ни одной страны в мире, застрахованной от того, что в ней не может произойти ничего подобного... Может быть Ллойду следовало бы ввести новое страхование — на случай эмиграции? Во всяком случае, следовало бы преодолеть непонятную, но совершенную уверенность человека, что вот именно его план жизни нерушим и неприкосновенен, и с ним никогда такого не может случиться. Это уже не страус, прячущий голову в песок, а строящий себе гнездо в этом песке под клювом, в полной уверенности, что его никто не заметит, и он не полетит кувырком — как полетело старшее поколение. Был человек учителем, земледельцем, актером, чиновником, офицером — а потом — чем пришлось. Переучиваться обычно не бывает ни времени, ни возможности; прежде всего оказывается за бортом интеллигенция, если не знает языка данной страны, или вообще никакого другого, а многие профессии, связанные с имуществом, поскольку оно погибло — отпадают вовсе. Но как бы то ни было — у старшего поколения появляется младшее. И родители снова, упорно и слепо, воспитывают своих детей, не задумываясь над тем, что и у них может перемениться жизнь. Новый темп, новый стандарт, новая эпоха! Но это не одни холодильники и космические полеты. Это прежде всего — зыбкость почвы под ногами, сыпучий песок, на котором мы строим свой дом, вместо прежней скалы. В девятнадцатом веке родители могли строить планы не только для детей, но и для внуков, им оставляли наследство: землю, деньги, культуру. Но и столетние фирмы и замки, и крестьянские дворы оказались преходящими ценностями. А культура... в тюрьмах и лагерях при диктатурах и в бедности культурные люди погибают чаще, разменивают таланты, опускаются на дно скорее. Да, у них духовные запросы, их труднее удовлетворить, им тяжелее примириться. Но сплошь и рядом они не могут отстоять для себя в жизни самые элементарные требования, которые пусть и в других масштабах, но отстаивают для себя другие. Разве только из-за утонченности? Может быть, излишняя чувствительность? Нет. Опускаются из-за неприсособленности к жизни, неуменья, несамостоятельности, недостаточной выносливости и выдержки. Вот главное, чему надо учить... не только детей эмигрантов. Больше, чем когда либо в наши дни в силе библейское: все мы странники на этой земле... Мы, конечно, в особенности: для нас солнце всходило в одной стране, а заходит в другой, и ветер не возвращается на круги своя...

* * *

Что ж — как будто здравое и не лишенное некоторого смысла рассуждение из прекрасного двадцатилетнего далека в будущем

— спроектированное на голую стену Дома Номер Первый, — в прошлом. В том прошлом, которое было тогда настоящим, люди никак не могли еще осознать себя историческим фактором. Когда человек кричит и мечется, ему не до спектрального анализа, и попадающие в гущу исторических событий не всегда заботятся о них, если не пытаются руководить ими.

Но в доме Номер Первый не было ни одного вершителя чужих судеб. Каждый был занят только своей.

* * *

— Через лет двадцать — сказал Юкку Кивисилд, потягиваясь так, что даже в этом кресле с высокой спинкой его голова запрокинулась назад — мы, балтийцы, станем таким же пережитком для Запада, как древние египтяне, что ли. Ну да, сохранится несколько культурных обществ, полтора десятка стариков и полтора идеальных юноши. Будут хранить и пестовать свои воспоминания. Еще несколько ожесточившихся политиков будут делать вид, что они что то делают в чужих приемных. А какой нибудь государственный секретарь в лучшем случае только сморщится, если ему напомнят, что когда то были где то такие страны, которым его страна гарантировала свободу и независимость. В худшем же случае — никак не сможет понять разницы между Ливаном и Латвией, или Эстонией и Эквадором, по той простой причине, что и то и другое для него — одно неизвестное. Но будем справедливы. Вы считаете себя интеллигентным человеком. Я — тоже. Что нам обоим, вместе взятым, известно, скажем, о Кении, если ни вы, ни я там случайно не были? Ровно столько, сколько о древних ацтеках. Почему же мы возмущаемся американцем, который уверял недавно, что венгр — это цирковая профессия? Если эта война уничтожит заодно и детскую болезнь человечества — национализм, который так расцвел после Первой, то нет худа без добра. Но сомневаюсь. С одной стороны — империи отжили. Во владениях испанского короля никогда не заходило солнце. Верно. Но и порядка и покоя тоже никогда не было. Вполне понятно, что маленький народ в маленькой стране скорее все благоустроит, чем один, пусть и великий, но в огромном и многонациональном государстве. Кроме того, факир в Лапландии так же невозможен, как езда на оленях по джунглям. У каждого народа, племени даже свои, дорогие сердцу и обусловленные всей его историей и природой обычаи. Зачем их ломать в угоду другим? И чем те лучше? Я понимаю — национальное лицо, язык, культура, и прочее. Но раньше смеялись над лоскутной импе-

рией — Австро-Венгрией. А теперь все страны превратились в одеяло из сплошных лоскутков, и каждый из них мнит себя балдахином. Паневропейские штаты — вот что я мыслю! А то человек столько занимается своим национализмом, чтобы не сказать хуже, что быть человеком ему просто некогда. И результаты... и вот в результате мы кричим. Мы — балтийцы, или вы — судеты, или кто вы по этой самой лоскутной национальности, — не знаю. Вырваны с корнем, и понятно, что закричишь. Но потом эта боль пройдет. Если чему нибудь научимся, — то не озлобимся, а посмотрим шире, и поймем, что были мы все, со всей своей историей — только ничтожной горсточкой песчинок, и вся эта вопиющая несправедливость, причиненная нам — мутная капля в море, только и всего. Сейчас то, что я говорю — теория, конечно. Сейчас я могу только кричать, пожалуй. А вот лет через десять — двадцать — надеюсь, что уже не теоретически, а с полным сознанием, проникнусь этой мыслью, и так будет легче — и правильнее. Или — еще до того.

Юкку рассуждает вбок от хозяина, смотрит в окно — стекла моет только дождь на этой мансарде, они такие же серые. Чуть пониже, через улицу, видна совсем темная крыша Дома Номер Первый, где Юкку Кивисилд — один из обитателей «гроба» — крохотной каморки на самом верхнем этаже. В «гробе» покатый потолок, и вдоль кровати можно пройти только боком к узенькому окну, у которого стоит стул. Под кроватью — склад второго обитателя, Яниса Лайминя: мешки с луком, который он привозит за полторы тысячи километров с севера. Вечером, если оба дома, то вторая перина с кровати расстилается на полу, на кровати спят по очереди. Днем в комнате сидеть трудно — печки нет. Янис усиленно занимается торговлей, а Юкку пока присматривается ко всему. Сырой и темноватый «гроб» — только остановка на пути, а ночью можно и согнуться.

Юкку приходится порядочно гнуться во всех каморках «богемного» этажа — он почти два метра ростом, широкоплечий, двигается легко и уверенно, легко входит к любому в жизнь, как к себе домой. Ему нравится это — быть выше, чем другие, отсюда и привычка закидывать голову назад, отбрасывать светлые, чуть вьющиеся волосы с широкого лба, шлемом. Недаром каждый человек почти с первого взгляда называет его «викингом» и Юкку принимает льстящее прозвище, как должное, чуть кивая головой. Руку он протягивает редко — только тому, кто ему нравится. Остальным только кивает, усмехаясь чуть-чуть. Глаза у него небольшие, но очень внимательные, пристально и цепко схватывают и запоминают надолго. Сейчас, среди обычно измученных, страдальческих, хмурых лиц особенно поражает его улыбка («на нее, как на диван, ложиться можно» — скажет потом Берта) —

...и потому, что от нее светло,

и потому, что ею я согрета! — декламирует Оксана, перефразируя Анненского, которого она не знает, но зато песенку Вертинского.

Оксана живет в каморке напротив, вернее, на кровати, прилепившейся к широченному подоконнику довольно большого чердачного окна — «просто настоящее ателье» — расхваливает фрау Урсула. На подоконнике же — крохотная печка для брикетов — влезает ровно два с половиной — краски, кисти и картонка, в которой две кружки с отбитыми ручками и погнутая кастрюлька: буфет. У кровати косо полулежит мольберт и портреты каких то, судя по бездарности, отдаленных теток. Эти портреты достает «тевтон» — голубоглазый белокурый Ганс, и Оксана замазывает их зелененьким фоном повеселей, а затем рисует букеты или вазы с цветами: маки покупают охотнее всего. Невероятно, но вот покупают же немцы... и откуда у них только стены берутся среди этих развалин, чтобы на них картины вешать! Может быть именно потому, что стен осталось так мало, ими дорожат больше...?

Ганс, не устоявший перед вишенными глазами и темными косами вокруг головы — Оксана не одному парубку кружила голову — достал краски ей, а цветную тушь- Юкку Кивисилду. После того, как Юкку изобразил его «Парсифалем», польщенный Ганс повел его знакомить со своим, ревниво охраняемым источником: эта мансарда напротив. Дом цел, хотя сильно пошарпан снарядами; стекла выбиты, и очевидно, некоторых внутренних перегородок нет, но никто не живет, как ни странно. Когда Ганс и Юкку поднялись по шатающейся лестнице на чердак, под самые стропила, и из-за погнувшихся балок мелькнула черная тень в монашеской рясе, подпоясанной красным шнуром — Юкку чуть свистнул даже от удивления, сразу узнав его. Поэтому он не удивлялся больше, когда хозяин, тяжело опустив широкий рукав на костыль, прихрамывая прошел вперед, толкнул сколоченную из неструганных досок дверь — и в большой чердачной комнате, разгороженной несколькими блеклыми ширмами, в глаза сразу бросились старинные кресла, и пузатый бидермейеровский комод с парчевой дорожкой, на которой с застывшей улыбкой сидел бронзовый Будда.

У окна лежали на козлах доски, и на них — цветные стекла, краски, груда серебряной бумаги. То, что получалось из этого, было расставлено вокруг Будды — всевозможные расписанные стекла: в жирных черных контурах светящиеся от подложенного серебра орнаменты и древние рожи каких то, византийских что ли, уродов.

— Увлекался мальчиком этим занятием, а теперь вспомнил — сказал хозяин, — и представьте себе, их покупают для подарков. Вот ведь неистребимая традиция наших немцев, в особенности

сейчас перед Рождеством, когда нигде ничего нет. Иногда меняю даже бауерам на сало...

Он умолчал, что около пузырьков с красками стояла старая, драгоценная пишущая машинка с готическим шрифтом. Незаменимый инструмент для выделки не менее красочных официальных документов! Самые важные немецкие учреждения пользовались этим шрифтом, и вот пожалуйста, какое угодно: брачное, метрическое, военное свидетельство... Любую печать можно вырезать по образцу из сырой картошки — производит прекрасное впечатление, и куда важнее настоящей, поскольку той — нет. На документы люди раньше редко обращали внимание, теперь от них, или хоть от каких нибудь, часто зависит жизнь. (Американские эмпи, агенты советских военных миссий на каждом шагу...)

Хозяин опустился в кресло напротив Юкку, и молча и внимательно разглядывает его, картинно запахиваясь в рясу, потом, все еще опираясь одной рукой на костыль, вынимает из кармана резную табакерку, нюхает привычным движением из нее белый порошок и любезно протягивает ее Юкку.

— Между нами... пожалуйста! Ганс рассказывал мне, что вас зовут Викингом. Я заинтересовался, и теперь понимаю, почему.

— А я вас сразу узнал —, медленно говорит Юкку, спокойно отводя протянутый кокаин. — Нет, вы меня не знаете. Но я редко забываю лица, в особенности такое, как ваше. — Он еще замедляет слова, будто ощупью находит их, одно за другим. — Это было летом в Гиссене — да. Смешно — шел проливной дождь, когда я попал в город, который зовут «Гиссен». Я только что удрал тогда из лагеря, решил отправиться сюда. Пробирался по всякому — на крышах, буферах, ну как теперь люди ездят. Устал, давно не ел — словом, вряд ли чем нибудь отличался от серой, жалкой толпы. И поезд, неизвестно откуда и куда, стоял, и на перроне сплошной стеной стояла эта толпа — и вдруг она расступилась, сжалась, — и тогда я увидел вас. Тогда у вас были два костыля подмышками, серая куртка, — и такой ледяной, невидящий взгляд, такая сила в этом презрении и к собственной, и к чужой жалкости, что мне стало сразу стыдно как то, и я подумал: вот, у этого поучись, это из тех, настоящих людей, которые не сдаются...

Ганс удивленно поднял голову. Викинг, признающийся в своей слабости! Да он стоит среди них всех, как скала, и еще улыбается при этом.

— Потому что есть и другие — еще медленнее продолжал Юкку, тоже невидящим взглядом смотря в окно. — В сорок первом, когда нас освободили немцы, пошел в подвалы местного НКВД, Кайка искать, племянника моего, семнадцать лет ему

было, когда забрали. Кряжистый был, первым силачом в классе считался, — а потом наверно, пожалел о своей силе, — был бы послабее, не вытерпел бы столько. Видно ведь было, как мучили — «теломеханикой» это у товарищей называется. А среди них всякие были, русские и украинцы, азиаты, еврей один, и наши эстонцы, Теннисен, например... Интернационал. Это бестиальное зло никакими географическими границами не ограничивается. И пусть мне не говорят ура-патриоты и тряпочные интеллигенты: вот этот, мол, народ, жесток по натуре. Жестокость именно в натуре, а не в национальности... У меня, как видите, скандинавский тип, так многие «фазаны», как у нас нацистов называли, заглядывались... их плюгавый истерик должен был хоть окружать себя северной расой, чтобы расистскую теорию проповедывать. Вы заметили, что Гитлер и Геббельс были ее ходячим опровержением? Не будь Гитлер фюрером — в его еврейской бабушке не было бы в то время никаких сомнений. Так вот, привязался один фазан — уж очень я ему понравился, завербовать хотел в какой то там штандарт. Сам невысокий, рыжеватый, прыщеватый, очень узкие губы, как ниточки, а глаза улитки — крохотные, выпуклые, щупающие и липкие. Пригласил меня однажды к ним на «Бунтер Абенд» — пестрый вечер. Хотел очевидно проверить, гожусь ли для них, я по наивности думал, что просто вечеринка с попойкой — от скуки и ради наблюдений отчего не пойти. Оказалось, что они отгородили от зала барьером возвышение, вроде сцены, за которым мы сидели за столом. Напротив в углу поставили нечто вроде виселицы, на которой висел человек на собственном члене, а в залу выпустили несколько голых женщин и озверевших догов-кобелей, которые их насиловали... Простите, о таких вещах не следует говорить вслух, рассказы о пытках считаются предосудительными, их замалчивают. Надо же пощадить наши бедные нервы, и спрятать голову в песок, — ах, ах, пожалуйста, не надо ужасов! Мы никогда никаких ужасов не хотели, Боже сохрани, мы всегда старались их не видеть, мы ничего, ничего для них не делали, кроме того, что не делали вообще ничего для того, чтобы этого не было, да и как мы могли, мы, маленькие люди могли только трястись и бояться, нас нужно только пожалеть за то, что мы такие несчастные!... Простите. Я наговорил лишнего. Но все таки, не горячась, а совершенно спокойно, разрешите задать вопрос: всякая диктатура держится на штыках или пистолетах, как хотите. Это аксиома. Но почему не аксиома то, что ни один штык, ни один пистолет сам по себе держаться в воздухе не может? Почему всегда забывается о том, что диктатура держится не неделю, а годы, десятки лет только потому, что находится очень много — повторяю — очень много людей, которые, и притом нередко с удовольствием, с охотой держат в руках эти самые пистолет или штык, и пулемет вдобавок?

Да, держат по разным причинам. Одни потому, что хотят просто держать власть в своих руках, другие потому, что будут всегда на стороне сильного, третьи хотят добиться своих маленьких целей, четвертые просто из страха за себя самого и семью. Одни отдают приказы, другие их исполняют, третьи пишут о них в статьях и романах, как приказано, четвертые пашут или льют сталь, как им приказано. Формы разные, но суть одна, — поэма или космический полет, «теломеханик» или инженер — все держат пистолет в руках, и сменяют его только на пулемет во время войны в защиту этой самой власти! И все это вместе называется пресловутой любовью к родине, и всякое иное действие считается изменой и предательством!

— Что же вы сделали? — выдавил хозяин.

— Много не успел — процедил Юкку тоже сквозь зубы, и отвел потемневшие глаза от окна. — Я сидел с краю, и помню еще, как полетел стол со всеми бутылками, когда я поднял его... не заметил, что один гестаповец стоял позади меня — только потом, когда пришел в себя, то увидел, что у меня весь затылок в крови — он меня рукояткой револьвера очевидно стукнул. Почему они тогда решили, что я был просто пьян — не знаю. Единственное, что я выпил за столом — была рюмка коньяку. Но я догадывался, что если из меня для них ничего не вышло, то они просто приберегут меня до следующего такого развлечения — но уже по ту сторону барьера. И ушел. Потом был в добровольном Латвийском Легионе, вместе с честными немецкими солдатами бился против товарищей, но если мне случалось встретить «фазана» один-на один... несколько таких случайностей удалось устроить. Честно не могу сказать все таки, чтобы я сделал, если бы пришлось решать: остаться в лесах, как многие из нас, и вести войну дальше, пока не убьют, — или уходить с немцами. Это решение с меня было снято — я был сильно ранен и в последние дни войны меня увезли без памяти. ... Но этому учиться я не буду — совсем раздельно закончил он после паузы, отодвигая коробочку с кокаином.

Вот откуда эти синяки на бледном, породистом и строгом лице «монаха». Кокс? Мальчики? Раны? Страх и бегство в сумасшествие любой экзотики? Надо познакомить его с Оксаной. Она простая и яркая, как ее маки, хороводится с мальчишкой только от нечего делать, под руку подвернулся. Оксане надо и кусочек души тоже, или хоть что нибудь, бьющее на воображение, а не примитивное тевтонство. Ганс славный парень, но слишком молод и глуп.

— Спасибо. — Хозяин чуть поднялся на костыле и протянул только сейчас руку. — Меня зовут граф Рона. Я разбился с самолетом на восточном фронте. Тогда, перед Гиссеном, только что вернулся домой — и замок как раз занимали американцы. Здесь

у меня был дядя, антиквар. Он погиб при налете, квартира внизу разгромлена, это его дом ... а рясу дал мне один францисканец — очень теплый домашний халат. Спасибо за эту встречу.

«Эту?» — подумал Юкку, крепко пожимая ему руку. Вернее, обе. Одна из славнейших германских фамилий, недаром такое лицо. А кокаин он бросит. Споткнулся только, но не свихнется. Снобирует больше ...

— Моему графу — мягко улыбнулся он — я всегда приносил лучшую рыбу из улова в подарок, а он потом всегда покупал именно ту мою картину, которую я сам считал лучшей ... Я рыбак и художник, граф, в нашей Балтике люди занимались чем угодно, не теряя связи с землей или морем. И с парусом, и с сетями я управлюсь не хуже моего отца, а это уже много значит, поверьте! А живопись ...

Он встал, подошел к доскам у окна, нагнулся, попробовал кисточку, тушь, взял кусочек картона, и зажал в чуть прищуренный глаз фигуру хозяина в кресле, почти незаметным движением набрасывая штрихи.

— Вы развлекаетесь этим белым ядом — продолжал он ровно, нанизывая слова на штрихи, как на нитку — а многие пьют даже древесный спирт, хотя известно, что от него ослепнуть можно ... Я живу напротив, в притоне разбойников у мещанской хозяйки, где в одной комнате делают фальшивые документы для ни в чем неповинных людей, а несколько квартирантов занимаются грабежом американских складов, и от них кормится бывший красавец и бывший адьютант бывшего главнокомандующего одной из армий, один профессор энтомологии, один бывший контр-разведчик, несколько просто стерв, и три настоящих поэта, не считая других людей ... Нет, пожалуйста, закуривайте спокойно, это мне не мешает, а если скрутите и мне сигарету ... спасибо. Интереснейшая жизнь, если понимать юмор, философски мыслить и любить стихи ... или краски, что почти одно и то же. Эти три условия, по моему, необходимы для молодости души, а она нужна для жизни, и эта единственная молодость к тому же, которую мы можем сохранить ... В этом доме живет и одна принцесса, иначе не назовешь. Я ее зову по эстонски — «кунингатютар» — королевская дочь, чтобы не ослабеть от ее настоящего имени — очень уж оно у нее нежное: «Таюнь» — сокращенное от Таиса. Чуть седеющая уже принцесса. Представьте, я встретил ее молниеносно первый раз в Берлине, на вокзале Цоо, перед самым налетом, осенью сорок четвертого года. Шел мимо и вдруг вижу даму: летнее платье, в котором можно пойти на любую гарден-парти, шляпка с вуалькой, белые перчатки и такие ножки в туфельках, что я просто встал столбом. Она не могла меня не заметить, и через несколько минут спросила, что мне собственно

нужно. Я говорю — ничего, совершенно ничего. Просто посмотреть — глазам не верю. Знаете, тогда — Берлин в развалинах, все серое, и вдруг явление из другого мира. Пусть не молодая, но прелестная женщина! Невероятно! Она улыбнулась и сказала, что это — психологическая контр-атака: противопоставление действительности, чтобы не дать втянуть себя в душерубку. Кроме того, она ездила недавно в этой же шляпке и перчатках на восточный фронт. Да, полдюжины белых лайковых перчаток в этой вот сумке из крокодиловой кожи, на которой она спала, как на подушке в вагонах и на полу, как попало в пути — но когда являлась во все командные пункты на фронте — то ей ставили самые невозможные печати на самые невероятные пропуска — ей надо было вызволить контуженного сына — несмотря, вернее, только смотря на парижскую шляпку... Вы себе представляете малиновую вуальку на фоне отступающей уже армии?... А сейчас мы встретились опять, и она была босиком, в веревочных туфлях на этих самых ножках, в бриджах с заплатанными коленками и самодельной сумкой. Лил страшный дождь, мы встали в подворотне — я и она со своей компанией — один по виду седой музыкант, другой — внезапно постаревший юноша, а третий на цыгана смахивал. Я ее сразу узнал. Что они делали? Читали стихи. Вслух, с горящими глазами. Я позавидовал. Совершенно бездарен в поэзии. Пение люблю, о красках не говорю, это моя настоящая жизнь, а вот стихи... культуры не хватает. Но люблю тех, кто их любит... К нам приходят иногда чужие и просто спрашивают: а где тут поэты живут? Кунингатютар тоже художница, между прочим.

— Мы живем вне времени — тихо вставил вдруг молча сидевший в углу Ганс слышанные от кого то слова.

— Ни будущего, ни настоящего — кивнул головой граф и сразу спохватившись, принял прежнюю позу. — И прошлого тоже нет.

— Благородный напиток некоторая горечь не портит, граф, только придает особый вкус... но вы глубоко ошибаетесь. Именно в такое время легче понять очень важную вещь: неотъемлемость прошлого. По праву гражданской собственности различается два рода имущества: движимое и недвижимое. Но не по праву, а по существу, есть еще и третье, притом единственное реальное, и это — прошлое человека. Все остальное может быть уничтожено временем, катастрофой. Многое в жизни скользит мимо, рассыпается, утрачивается, снашивается, отнимается, или просто уходит, когда пришел срок. И вещи, и люди. Всякая реальность данного момента — свой дом, кресло, лодка — эта застывшая в формы действительность, даже какой нибудь угол, о который можно ушибиться, цвет, запах — осязаемое, видимое, чувствую-

щееся — вдруг ускользает или уносится стремглав, выбивается из под ног — и именно в этот момент пропадающая реальность становится, уже навсегда, совершенно неприкосновенной, незыблемой, непреходящей, до тех пор, пока жива память — своя или других. Пока они здесь, в руках, — вещи и люди могут исчезнуть. Но, как только исчезли, то остаются навсегда. Даже больше: можно сделать из кресла табуретку или лампу, пересадить сад по другому рисунку, а вот прошлое — единственная неизменяемая ценность. Конечно, можно приукрасить, из трех березок сделать аллею, но в конце концов за это время она может быть действительно выросла, и такие воспоминания для других только, свои глаза помнят без прикрас. Самому можно обойти грязные пятна, ямы, провалы, ошибки, неудачи — можно не вспоминать о них, раскаяться, даже забыть — но не изменишь же... В карете прошлого далеко не уедешь, правда. Да и не стоит ехать в ней дальше, с головой, повернутой назад. Но ее и не отнять никому, только с жизнью. «Из той же плоти мы, что наши сны и грезы, и наша жизнь — не более, чем сон»... Вас не удивляет, что Шекспир нашел эти тишайшие слова именно в «Буре»? Кстати, они вырезаны на замечательном памятнике ему: статуя Гамлета, вылитая из стекла, с черепом Иорика в руке, и на цоколе эти слова. Не знаю памятника лучше, разве что Русалочка на берегу моря к столетию Андерсена. Вот эти два всегда со мной тоже. Да, сначала трудно привыкнуть к такой мысли. Мы ведь хотим надежности, защиты, уверенности в чем нибудь. Любовь до гроба, твой или твоя навсегда. Смешно, но часто искренно. Пусть «навсегда» — только до завтра, но все равно, хоть мираж вечности. Что бы мы с ней делали, впрочем, если бы ее дали нам на самом деле? Страшно подумать. А за миражем мы гонимся, вырастаем в этом стремлении, внушаем, учим других, и без надежды на него пожалуй не могли бы ничего создать. Свой угол, близкие люди, свое творение — всегда рядом, теплое, успокаивающее, охраняющее... Но мираж вечности вечно ускользает, а мираж прошлого — это крепость. Незримая и нерушимая, может быть, спасающая иногда. Да, единственное недвижимое действительно имущество — это воздушный замок! Но жизнь состоит из парадоксов, и если к ним сознательно привыкнуть, становится легче. Я попробую перевести вам — представьте, две строчки стихов одного русского поэта, Гумилева, которого так любит моя принцесса: рифмы не будет, зато смысл:

«Что создадим мы впредь — на это власть Господня;
Но что мы создали — то наше по сегодня!»

— А ведь выходит, что и на все завтрашние дни тоже останется? Вот как этот ваш портрет. Готово. На память.

Юкку размашисто написал в углу: «В благодарность за Гиссен» — и поставил свою подпись.

— Когда вы снова войдете в портретную галлерею своего замка, граф — позовите меня, и я напишу ваш портрет во весь рост с этого наброска.

— Но ведь... это просто драгоценность! Викинг — можно мне называть вас так? Викинг, вы — громадный талант! И только две краски — ах так, на столе не было других — лиловая и желтая на сером картоне — какой импрессионизм, ничего реального, все угадывается — под моей монашеской рясой кажется, латы поблескивают...

— Рыцарские латы, граф.

«И нужно же было придти балтийскому рыбаку вот сюда, в этот полуразрушенный дом, на протекающий чердак, чтобы напомнить мне о них — подумал Рона, сжимая губы. — Нужно было чудесному художнику взяться за лиловую штемпельную краску, которой я делаю за сто марок печати на подложных метриках, чтобы купить за три метрики пакетик кокаина — ни одной понюшки больше теперь! — чтобы напомнить мне тот ужасный день на вокзале в Гиссене, когда я еле шел, и вокруг все рухнуло, и мама умерла для меня в тот самый день, хотя она умерла уже раньше, и единственное, за что я держался тогда, было... да, наш легендарный замковый вяз...»

Он снова увидел его с осенней листвой, посреди громадного двора позади замка, переходящего в парк за снесенной наполовину крепостной стеной. Вяз, посаженный знаменитым предком, триста пятьдесят лет тому назад, когда древнему роду грозила гибель, и вяз должен был выполнить завет: пока он стоит, род не прейдет. Теперь человек шесть не обхватят его. Вокруг посеревшего, совершенно каменного ствола, как башни, стоит кольцо дубовой скамейки, а тень от верхушки дерева — ее только издали, запрокинув голову, увидеть можно — достает до крыши замка. «Башенный вяз» — называли его крестьяне. Первая его поездка на пони верхом была вокруг него. А если лечь ничком на скамейку, чуть повернув голову вбок, так, что у самого лица окаменевшие куски серебристо зеленоватой коры в столетних бороздах, и листья чуть шумят над головой, — то этому вязу можно рассказать все — даже не нужно рассказывать, он понимает и так — и полученную несправедливо двойку, и первую любовь, и трагедию отца, поспорившего с Гитлером на свою гибель — его, сына, спасли только во время сломанные ноги и брильянтовый крест...

...как понимает вот этот, тоже могучий, с запрокинутой под потолок головой балтиец, умеющий брать в руки и сети, и кисти, и — и жизнь.

Юкку давно уже ушел с Гансом, а граф Рона продолжал сидеть и курил, упорно разглядывая грязные ручейки дождя на стеклах. Такой же серый, но приятный туман часто поднимался

с речки за тем лесом, справа от замка... и чавкала вода под копытами лошади на лугу. Когда сломанные кости окрепнут, он сможет снова сесть на лошадь. Наверное! И наверное всей Германии коммунистам не отдадут.

Flieg, Käfer, fliege! Vater ist im Kriege; Muter ist im Pommerland; Pommerland ist abgebrannt...

Сгорела земля... и жизнь? Нет, жизнь у живых остается еще. Надо только собрать, что еще осталось, и снова... Отца расстреляли за заговор 20-го июля, у матери было всегда слабое сердце. Да, костыли подогнулись, когда все это свалилось на него — и прохладный полусумрак антиквариата в Мюнхене, щекочущий дым дядющкиных сигар показался единственным прибежищем, как в детстве после шалостей. Дядя погиб при налете, все дела по наследству откладываются, может быть тоже все будет конфисковано, он остался без гроша... но что же? Может быть, сестра жива еще. И ему самому только тридцать лет — и он последний в роде. Вот у этих людей напротив, в этом сумасшедшем «пансионе» нет ничего, кроме потертых чемоданов, а если даже вырубят половину парка, то хоть картошкой засадить его, картошку позволят сажать победители, при всех обстоятельствах какой то клочок земли останется... нет, балтийский рыбак сам сплел бы сети, и кистей своих не бросит на берегу, только рукава засучит. Как он сказал: война для нас не кончилась! Только фронтов прибавилось... Викинг! Они, Рона, тоже из викингов — датский род...

(Он сажал картошку уже следующей весной, хотя и не в парке, и жил во флигеле бывшего управляющего; вокруг «башенного вяза» прохаживались, шаркая ногами по плитам, новые обитатели замка: американский лагерь для бывших офицеров югославской королевской армии. «Генеральский лагерь» — называли окрестные жители седых и седеющих людей в мятых пиджачках с цветными рубашками, срывавшихся с робкого взгляда на барский жест и расправленные по военному плечи. В коридорах замка стояли еще многосотлетние, несгораемые шкафы из резного дуба, лари и статуи; в комнатах с лепным потолком обитатели сидели на походных койках; разваренные макароны в солдатских манерках подогревались на электрической плитке; стратегические вопросы войны — бывшей и завтрашней — (в том, что она будет уже завтра, сомневались разве только в глубине души, но не признавались в этом и самому себе) — решались на скамейке под вязом...

* * *

«Но мы забежали вперед: вернемся к рассказу» — писалось в старинных романах. К ним же относится и другая мудрая сен-

тенция: «Но действительность выглядит иначе, чем ее описывают господа романисты». Совершенно правильно. Мы достаточно набегались, чтобы добровольно нестись куда то еще, хотя бы и вперед, в будущее. Виновата только экранная стена Дома Номер Первый, на Хамштрассе, и если на ней отразилось что-то, чего еще не было, но будет — то кто разберет тени будущего на голой пустой стене в серую, промозглую осень — грязный порог пугающей зимы...

Даже Викинг слегка передергивает плечами, спускаясь по выбитой снарядами лестнице из выстуженного графского чердака на улицу. Надо подумать о пальто. Пока что он небрежно делает вид, как будто только что вышел из дома за углом — стоит ли одеваться ради этого, и разве это настоящая зима? Но если делать вид часами, и в дождь, то не спасают никакие поднятые воротники, а «соседних домов» за углом просто нет на километры развалин — и становится неуютно. Викинг по привычке зажимает в прищуренный глаз голый угол стены, прикидывая, к кому обратиться: пожалуй, лучше всего спросить Разбойника, синеглазого латыша на верхнем этаже. Этот на все руки, а то Сашка-вор больше специалист по краже продуктов, поэты промышляют только махоркой, а молодой советский инженер, уже третий раз за три недели переменивший фамилию... («Штаб — ротмистр» — назвал его Викинг, интересно все таки, как нельзя скрыть породы: кто он на самом деле, неизвестно, но зато и видно, и удивительно: как мог такой «барчук» и вырасти, и оставаться в живых на сороковом году советской власти?)... Инженер занимается изготовлением... неизвестно, чего.

Впрочем, на первых же ступеньках дома вопрос решен.

— Фрау Урсула, мне нужно хорошее довоенное мужское пальто, на мой рост. Не найдется ли у вас знакомых?

Узелок волос на макушке взметывается вверх, и фрау Урсула сучит головой, как испуганная крыса.

— Разумеется, в виде большого одолжения мне лично... тянет Юкку, спокойно усаживаясь в ее лучшем кресле и вытягивая ноги на половину комнаты. Он знает, что Урсула очень осторожна в своих делах с унтерменшами (никогда нельзя знать, и лучше подальше...) — но потребованная в первый же день щетка для чистки костюма произвела впечатление. (Унтерменшы не то что без щетки, но и без костюмов обходились). Сейчас он смотрит на нее, чуть прищурясь, по обыкновению, и с обычной ленивой сдержанностью. И, как всегда, она действует неотразимо — на женщин в особенности.

— Пальто для «господина», разумеется, — добавляет он немецкую тонкость. Еще чего доброго вытащит какое нибудь задрипанное пальтишко из сундука!

— Не знаю, право... с деньгами теперь... не знаешь, как... — мямлит она, но быстро прикидывает уже взглядом его рост.

— Метр девяносто четыре — любезно подсказывает Юкку. — И кто говорит только о деньгах, дорогая гнедиге фрау! Кофе, может быть? Или сигареты? Масло, конечно...

Сейчас она не говорит ни да, ни нет, но пальто достанет, это ясно. «Очень хорошее», — говорит он еще, уходя. Цвет безразличен.

На площадке лестницы Юкку опять останавливается и соображает. Пальто обойдется в тысячу или полторы марок. Но есть чемодан кофе. Да, классический «чемодан дипи» — фанерный ящик с набитым замком, и набитый зелеными бобами. Юкку, согревшись в хозяйкиной комнате, усмехается даже на этом лестничном сквозняке. Американцы стали спешно организовывать лагеря для «дипи» — беженцев, набивая ими пустующие немецкие казармы и школы, и обильно снабжая диковинными (по мнению дипи) продуктами, одеждой и сигаретами. Кофе, разумеется, входило в каждый паек: экстракт в порошке, или просто зеленые бобы. Но в том лагерьке, куда он ездил недавно, единственным человеком, пившим в своей жизни кофе, была «Кунингатютар», работавшая там переводчицей, хоть и недолго. Остальные обитатели — из Смоленска и Харькова — не все даже слышали о нем.

— Экстракт я признаться, тоже никогда не пила, — смеялась Таюнь, — и сперва решила, что такой маленькой коробочки вполне хватит на мою кастрюльку. Сварила, попробовала — горечь такая, что в рот взять нельзя! Потом стала расшифровывать надпись на банке. Оказалось, чуть ли не на ведро воды ее хватает... Ну, а остальные мои подопечные — немудрено, что сперва бобы, как кашу варить пробовали — и выкинули, даже свиньи, говорят, не ели. Не удивляюсь. Ну, я сразу сообразила и говорю — давайте сюда, обменяю на махорку. Накопила целый мешок и этот ящик. Теперь они пошатались по окрестным немцам и узнали, что за кофе у немок все получить можно, так что только из уважения дают иногда щепотку...

Он оставил ей сигареты и взял ящик. В вагоне ящик повалился на бок, и было слышно, как застрекотали, перекатываясь, сухие бобы.

— Что это у вас? — невольно спросил кто-то.

— Кофейные бобы — спокойно ответил Юкку, и весь вагон загрохотал от смеха. Вот скажет тоже, юморист! Почему не золотые монеты сразу?

Надо будет дать парочку фунтов Разбойнику, в обмен на сигареты и масло. Хотя нет, сигареты дадут американцы за рисунки... Новые знакомства надо налаживать через парижанина...

кстати, зайти к нему выпить рюмку настоящего коньяку. Дорого берет, но зато не «автоконьяк»...

Юкку круто поворачивает в первую дверь в начале коридора. А масло Разбойник пусть дает натурой, а не своими подозрительными марками. Впрочем, какие тут подозрения — просто печатает продовольственные карточки, а это опасное дело все таки. Знай край, но не падай!

* * *

Владек-Разбойник организовал у себя отделение Латышского комитета. Где то настоящий комитет действительно существовал. Его печать и бланки у Разбойника, во всяком случае, были. Снабжал он ими с разбором, не меньше, чем за сто марок, и выбирал подходящих людей.

— Если из Ленинграда, скажем... так я его вроде как ингерманландцем сделаю! Что то нам, латышам, родственное. За рижанина сойдет — по русски правильно говорит, литературно. Опять же — если по польски хоть два слова знает — есть у меня приятели из польских комитетчиков. У кого восточный нос имеется — можно сказать, что он из рижского гетто бежал и скрывался — очень даже выгодно теперь выходит. Но если человеку достаточно рот раскрыть, чтобы «буйными витрами» так и повияло — то увольте! Мне в комитете за таких латышей голову свернут. Нет, тяжелый случай. Стойте, а может быть он еще во времена гетмана Скоропадского смылся? Не подойдет по годам? Ну, что нибудь придумаем!

Насчет того, чтобы придумать, Владек-Разбойник был непревзойденный мастер. В ярко-синих, наглых и веселых глазах загорался огонек, он встряхивал темными, теперь поседевшими кудрями, свистел, засунув руки в карманы — и выход был найден.

Сам он был личностью не менее оригинальной, чем его «подданные»: после гимназии в Риге, поступил в ремесленное училище, получил медаль на выставке художественной мебели — а затем начался фронт: два ранения, два Железных креста — и решил, что хватит. Дальнейшее руководилось вдохновением — и счастливой звездой. В зависимости от обстоятельств, — он был латышом наполовину — сходил и за русского, и за поляка, и за еврея, а при случае становился завзятым «фольксдейче».

Остальную войну он проводил в командировках — от одной части к другой. Иногда его искали с приказом об аресте полевые жандармы — тогда он оказывался в недосягаемых эс-эсовцах. Потом обнаруживалась очередная ошибка начальства — и он выплывал в Добровольном Латвийском легионе или отвозил казаков Краснова в Италию. Возил он кого нибудь постоянно: карманы его были набиты «маршбефелями» и продовольственными карточками (тогда без фальшивок) самого лучшего разряда. По ним он получал в самых крупных и самых мелких городах про-

дукты и обмундирование: в первом случае действовали совершенно наглое вранье и обоснованная надежда — что при таком громадном аппарате кто разберет — во втором — столичный вид и опять таки нахальство.

Получаемое загонялось частью на черном рынке, частью пропивалось или раздавалось добрым знакомым. Все было настоящее — не существовало только большинстве случаев тех групп, которые он «сопровождал» — во всяком случае, не в таких размерах — потому что из трех человек ему ничего не стоило сделать тридцать. «Нуль, — говорил он, — великая вещь!»

Кудри поседели в Праге; сперва его чуть не расстреляли немцы, за то, что власовская часть, при которой он был в то время, подняла восстание вместе с чехами. Он вывернулся, став немецким унтером в самый неподходящий момент, а именно следующий: немцы отступили, и чехи повесили его, как немца, причем за ноги, и разложив внизу костер. Это был самый серьезный момент в его жизни: костер горел. Но он успел рассмотреть проходившего мимо советского офицера — и возопил таким виртуозным матом, что тот, услышав своего, должен был остановиться. Владек стал разумеется, «остовцем». Вывернуться же из советской репатриации особого труда уже не составляло. Только думать обычными понятиями и категориями нормальных людей Владек-Разбойник перестал вовсе. Совсем и надолго. На всю остальную жизнь.

* * *

Да, если в углу голой стены написать сверху «пальто», — просто пальто, нужное каждому человеку в странах умеренного и холодного пояса зимой — и перевести его стоимость и возможность достать на сигареты, получаемые в обмен на карикатуры, кофе, получаемое в обмен на сигареты, масло, получаемое за кофе и полученное в свою очередь на фальшивые карточки, напечатанные за то же масло, кофе и сигареты — то получится довольно сложное алгебраическое уравнение, формула извлечения квадратного корня по никогда не существовавшим правилам — сложная формула человеческой жизни в сорок пятые годы нашего века в послевоенной Западной Германии.

Страшное время? О да.

Если взобраться на верхушку этой голой стены и взглянуть на него с птичьего полета, так сказать — то картина становится еще менее понятной для людей — к счастью, может быть — которые не имеют о нем ни малейшего понятия. Но представить его вкратце все таки нужно.

Страна — города, деревни, вокзалы, фабрики — в развалинах. Впрочем, некоторые — совсем недавнего происхождения:

занявшие страну войска взрывают оставшиеся еще заводы, или «демонтируют» их, что равносильно взрыву. Военные соображения тут разумеется, непричем — как при разрушении фабрики мыльного порошка, например — а причем проведение плана Моргентау; превратить страну в картофельное поле с козами в виде скота. Что ж — идея реванша не нова, и после «третьего Рейха» с гетто и прочим даже более обоснована, чем многие другие случаи разгрома побежденного победителями.

В стране, понятно, голод, причем — после долгого подголадывания во время войны. Но тогда давали по карточкам пятьдесят граммов жира в неделю. Теперь дается столько же — в месяц, но далеко не в каждый. Сигареты, мясо, овощи, фрукты — в минимальных количествах, но во время войны — были. Теперь дается только картошка. Остальное можно только «достать» у крестьян или имеющих с ними связи. Но не за деньги. Деньги почти так же обесценены, как во время пресловутой инфляции двадцатых годов после Первой мировой войны. Следовательно — начинается водоворот, называемый по праву «черным рынком», или, совершенно неосновательно — спекуляцией. Спекулирует человек, наживающийся на мошеннических махинациях и человеческой глупости.

А если он, вот хотя бы как сожитель Юкку, Янис Лаймигь, отправляется в трехдневный путь на буферах и подножках вагонов за центнером лука, привозит его, рискуя десятки раз свалиться под колеса, наткнуться на контроль и потерять все или даже угодить в тюрьму — и продает его за те же пачки сигарет, которые дают ему возможность другого обмена, чтобы прожить полусытым несколько дней — то подходит ли это к названию: «спекуляция»? (Не говоря уже о том, сколько бы людей заболело цынгой и другими голодными болезнями, если бы не могли достать пачки масла, головки лука или куска мяса без карточек). Нет, прежде чем осуждать спекулянтов, попробуйте поголодать сами — годами...

Следующее: эта разгромленная, разбитая и голодающая страна — отнюдь не пустыня. О нет, наоборот: в ней никогда не было столько людей, как сейчас. Коренное население вообще не в счет. Оно окапывается незримыми бастионами, сжимается в углах и подвалах реквизированных помещений, и не имеет вообще никаких прав, кроме одного: оно все таки хочет выжить. Может быть, об этом праве тоже можно быть разного мнения, но защищать его приходится от всех слагаемых, наваливающихся со всех сторон: полчищ победителей — что понятно, конечно; собственных разгромленных полчищ, еще не успевших попасть — или уже бежавших из лагерей — что понятно тоже; собственных беженцев из восточных областей; дальних родственников — иностранных немцев, которые бегут теперь в нескончаемых обозах,

кто с узелком, а кто на телеге — изо всех соседних стран, занятых восточными победителями; иностранцев, бывших раньше здесь в плену, или в рабочих лагерях, и пытающихся сейчас поскорее добраться до родных мест — на севере, западе и юге, пересекая страну во всех направлениях; союзников — иностранцев из всех стран, с которыми воевала — за или против — Германия, а с кем она не воевала, спрашивается, в эту войну? — которые, понятно, не могут вернуться сейчас на свою родину . . .

Это не десятки, не сотни тысяч. Это — десятки миллионов голодных, ободранных, измученных и мятущихся людей. Говорят они обычно только на своем языке. Продовольственные карточки у них бывают редко. Документы — еще реже.

По странным и только им одним понятным признакам, американцы устраивают для некоторых категорий обширные лагеря, и начинают снабжать их обильным продовольствием из своего котла. Одни за другим подъезжают грузовики с одеялами, консервами, хлебом. В чистеньком, из свежих досок бараке с центральным отоплением — остальной лагерь отапливается самодельными печурками — усаживаются хорошо одетые, сытые и курящие чиновники благотворительной организации. Они не знают обычно ни одного языка, кроме собственного, не говоря уже о географии с историей, и объясняются при помощи замысловатых анкет и переводчика, который обычно не знает толком ни одного языка. Это не мешает им — чиновникам УНРРы, ИРО впоследствии и переводчикам иногда тоже — давать просителям мудрые советы вроде:

«Если вам не нравится Сталин, и вы не хотите возвращаться под его власть — так что же? Выберите себе другое правительство . . .»

Или:

«Я спрашиваю о вашей национальности, а вы говорите: венгр. Но это — цирковая профессия!»

И обещания — чего угодно. Прежде всего, конечно, свободы — Америка, как известно, самая свободная страна в мире! — и безопасности . . .

Потом, в какой то неожиданный день к лагерю подъезжают другие грузовики. Советские. С пулеметами. Лагерь оцепляется. Людей, не желающих, по совершенно непонятным американцам (и увы, англичанам тоже!) причинам возвращаться на родину — отправляют именно туда, их бьют, стреляют, они прыгают из окон, режут себе вены, эмпи — страшная военная полиция врывается и в лагерные церкви, вытаскивает священников, детей, женщин . . . это — выполнение Ялтинского договора с «добрым старым Джо».

Люди разбегаются, если посчастливится, по лесам и горам. Кое где образуются шайки, которые грабят. Люди лгут, вдохновенно

и глупо, меняют имена, национальность. Воруют все, что можно — и у победителей, и у побежденных. И «спекуляция» от буханки хлеба до метрического свидетельства замыкает начатый круг, потому что — помните — именно это слово и было написано на самом верху стены голого, ободранного Дома Номер Первый, на Хамштрассе.

А стена не виновата в той формуле, которую на ней написали. Камни краснеют редко даже от крови — она сразу оборачивается ржавчиной, и еще реже — от стыда. В этом их несомненное преимущество перед людьми. Те, по крайней мере, должны были бы краснеть. Хотя... Кто, когда видел, чтобы краснели те, кому это действительно следовало бы? «Послевоенные преступники» — иначе — дипи — к ним вряд ли относятся.

* * *

— «Расскажите вы ей, цветы мои»... пропел Юкку вполголоса, привычно подгибая колени на пороге, чтобы не удариться головой о потолок.

— Викинг, сложитесь пополам, но не стойте в дверях, холодно! Садитесь хоть на пол, — бросила Оксана, не оборачиваясь, и сосредоточенно набрасывая последние мазки ярко красных маков на голубом фоне.

— Я пришел как заказчик, — объявил Юкку, осторожно примащиваясь в углу широкой кровати, занимавшей половину мансарды. Вторую половину занимало окно, вернее широкий, чуть ли не в метр, подоконник чердачного выступа, служивший столом; кастрюлька со вчерашними макаронами стояла рядом с керосиновой банкой для кисточек, зеркальце с отбитым углом среди чашек и прочего. Выступ около дымовой трубы позволил запихать туда крохотную печку, величиной с хороший словарь, а мольберт, упираясь в одеяло, косо нависал над кроватью. Если в эту мансарду входило два человека, то пола уже не было видно.

«Бесполая комната! — провозглашал живший напротив Разбойник, и лихо закручивая несуществующий ус, добавлял: — чего отнюдь нельзя сказать о хозяйке! Пылающее впечатление!»

Оксана действительно пылала, заливаясь ярким румянцем, от которого просто слезы наворачивались на сияющие вишенные глаза (Разбойник кричал тогда: «Осторожней, Оксана, косы загорятся!»).

— В сущности она не пылает, а тает — определял он уже в мужском разговоре с Юкку — на мой взгляд чересчур уж мягкая южная красота. Сперва как вишенка — устоять перед этими глазищами просто невозможно, брови себе будто кисточкой навела, ротик, как ягода, фигурка прелесть, косами задушить мо-

жет. На время конечно ничего, но потом неизвестно, как обернется: либо киевской ведьмой, Солохой, либо такой, знаете, угнетенной нацией, что ли. Жертвой вечерней. И тогда посыпятся слезы горошком, и притом много. В общем, повилика, обвивающееся растение, и ей нужно настоящего мужа, вокруг которого она виться будет, а не такого... тевтона. Парень Ганс правда видный, с голодухи и дранг нах Остен у него еще не прошел, но не надолго. Он ее угнетать начнет скоро, как только оперится, вернее, линять начнет. —

«Линькой» Разбойник называл своего рода карантин своих пациентов после операции, которую он над ними проделывал в виде одной, и притом порядочной, статьи дохода. «Дело не в медицине, а в химии!» — приговаривал он, вытравляя с помощью каких то кислот, а иногда просто вырезывая или прижигая раскаленным гвоздем пресловутый «эс-эсовский» знак подмышкой. В начале войны это определение группы крови ставилось в виде крохотной татуировки действительно только эс-эсовцам, как элитной группе, для скорейшего переливания нужной крови в случае ранения; впоследствии в «войска Эс-эс» зачислялись попросту все инородцы, так или иначе относившиеся к германской армии, в виде вспомогательных но не регулярных групп — балтийские добровольцы, казаки, — все, кто попадался не в меру ретивым фельдшерам. Клеймо стало после войны страшным знаком не только для настоящих гестаповцев, но и для всех остальных, попавших с ними как кур в ощип, людей. Операционная деятельность Разбойника пользовалась большим успехом. Пациенты благополучно выживали, а вместо клейма появлялась небольшая ранка или ожог, который через несколько дней начинал «линять», сливаясь с цветом окружавшей кожи. И победители, и комиссии по «денационализации» среди побежденных при всех опросах автоматически заставляли «поднимать руку», и пациентам оставалось только объяснить при случае, что они «ушиблись» совсем недавно этим, довольно необычным для ушиба местом. Ганс, попавший под самый конец войны в элитную группу за рост — он уступал только Викингу — и внешность («мой Зигфрид» — шептала Оксана), а кроме того, непроходимую глупость — отличался от других пациентов только тем, что решил пробыть в карантине подольше, каждый вечер уверял Разбойника, что зайдет к нему ночью поспать на полу, но появлялся только утром обычно, когда его выгоняла Оксана.

— За-каз? — деловито протянула она, в полоборота от мольберта. — Всерьез или в шутку? Мне брикеты нужны для печки, их Ганс вот за эти маки сторговал, сейчас кончу, пусть так мокрыми и несет.

— Разве я когда нибудь шутил с вами, красавица? Нет, я собираюсь освободить вас от чужеземного ига, и для начала, как

полагается, требую за это дань: нет ли кусочка юбки или вроде, но непременно чтобы шелк, а цвет от серого до синего через зеленый, в крайнем случае, и однотонный. Кусок мне нужен порядочный, для кашне к новому пальто.

— Купили пальто наконец?

— Еще нет, но будет. И такое, что без кашне не наденешь. Рисунок: русалка, выдирающаяся, хотя и безуспешно, из объятий спрута. Сексуальный ужас.

— На пальто?! Мама родненькая!

— Почти на пальто, потому что буду выпускать концы кашне. Чтобы били по нервам будущим заказчикам. Рисунок в виде наброска я вам дам, и не буду Викингом, если не принесу кучу заказов от знатных иностранцев.

— Мысль хорошая. Надо будет попробовать достать специальные краски для материи, говорят есть такие здесь. Но причем чужеземное иго?

— Объяснение следует, но оно произойдет не здесь, а в моей будущей комнате, в которой вы сможете рассмотреть меня во весь рост, а не согнутым пополам. Мне надоело сгибаться, я хочу расправить плечи, чтобы вы могли на них опереться. Белобрысые мальчики, считаю я, вам уже надоели. Поскольку вы покраснели, значит согласны.

Она замахнулась кисточкой, но он уже успел закрыть дверь. Нет, Ганса пора выставить, конечно. Не пропадать же такой с этим мальчишкой...

...— А Янису пора прекратить письма — заключил свою мысль вслух Викинг уже в другой комнате. — Он их пишет каждый день жене, оставшейся под Либавой, — пишет и каждый день сжигает в печке. И вам, дорогая кунингатютар, пора бросить расписывать водяными знаками бумагу для фальшивок Разбойника. Хорошо раз или два, но не до безчувствия. Он засыпется, как пить дать, и что тогда с вами? Я вот сейчас начинаю большое дело: отправляюсь пить коньяк к русскому парижанину, у которого связи с американцами на офицерском уровне. Это вам не негры с плиткой шоколада. План прост: сперва приобретение пальто и умопомрачительного кашне, затем офицерская месса, и какой нибудь кладовщик для отрезов подходящего шелка. Можно подкладочный тоже, поскольку другого не достанешь. А затем целые партии галстуков, кашне и дамских платков. Ручная работа. Вы, Оксана и я. Миллионерами не станем, но тысячи будут, и их сразу можно употребить на дело. Одеться вам надо, и переехать из этого притона, а там посмотрим.

— Ваши практические мечты очаровательны и соблазнительны, Викинг. Самое интересное в них то, что не можешь, а веришь...

* * *

Стукнула ручка, дверь слегка приоткрылась, и у самой притолоки, поверх дверного края, показалась маленькая белесая головка, быстро поворачиваясь во все стороны, поскольку позволял край двери.

— Простите, нет ли здесь кого нибудь из Балтики?

— Большой выбор даже — прогудел снизу Викинг, медленно поднимаясь с пола, где он чертил что-то Лизочке.

Так же медленно он выпрямился во весь рост, шагнул к двери, облокотился о ее верхний край, и прищурился в упор в голубые мигающие глаза, бывшие на одном уровне с ним.

— Вы случайно не из светлейших князей Ливенов, судя по росту? — спросил он.

— Если еще один великан, то я окончательно стану лилипутом, — пробурчал Разбойник, с обычной завистью поглядывая на монументальную спину Викинга. — Попробуйте войти все таки, в дверь дует.

— Нет, я не Ливен, я фон Трамм, — робко произнесла фигура, извилистым движением ныряя в комнату.

— Костя! — всплеснула руками Таюнь, бросаясь к нему. — Милый! Как вы . . . ?

Дотянуться она до него не могла, конечно, но Костя фон Трамм быстро сложился в три погибели, чтобы она могла его обнять, и смущенно заморгал, длинными и очень густыми, но совершенно светлыми ресницами. («Глиста, упавшая в обморок» — звали его товарищи по гимназии).

— Ну — с, теперь по порядку, — сказал Разбойник — и как полагается: откуда, каким образом, и что теперь? Вас я не знаю, но отец ваш по моему, профессором Рижского университета был? Ну да. Таюнь вы тоже знаете, повидимому. А это эстонский ловец душ и рыб заодно, Юкку, Кивисилд, по прозвищу Викинг. Раньше рисовал картины, теперь больше воздушные замки. Этот, который не наш, тевтон Ганс. Этот герой — Янис Лайминь, серый барон с Огера. Остальные обитатели — два поэта, бешеные канарейки: один молится на Блока, другой на Маяковского. Истерики разумеется, оба. Лизочку можно не считать, потому что она еще обычно под столом обретается, а кроме Таюнь, дам нет. Моя жена красавица, но не дама, а еще к нам относится дивчина напротив, которой только случайно нет здесь, красотка за тридцать. Пока все, кроме приходящих, которых не счесть. Комната считается моей, но вы думаете, что я здесь хозяин? Вообще мы собирались сейчас поесть что нибудь. У вас продовольственные карточки есть, между прочим?

— Ннет — еще больше смутился вошедший. — Я, видите ли . . . один из четырнадцати. Неправда ли, по мне не видно, что я был в армии?

Реакция на вопрос была разнообразной.

— Ах, Костенька, вы неисправимы, — вздохнула Таюнь. — Да от вас на десять километров немецким унтером несет!

— Но я постарался замаскироваться!

— Оно и видно! — Разбойник поперхнулся на следующем слове, и только непосредственная Лизочка высунула со своего наблюдательного поста под столом курчавую головенку, внимательно осмотрела ноги в разношенных солдатских сапогах, доходивших только до трети икры, широченные солдатские зеленые штаны, собранные гармошкой, узкие плечи в лиловом почему то пиджачке, кончавшемся выше талии, как испанское болеро, с рукавами еле до локтя, и не удержалась.

— Хи-хи, ты совсем смешняк!

— Новый житель, словом, — пожал плечами Разбойник. — Садитесь и рассказывайте. Но сперва надо пошамать.

Собрав все имеющиеся у присутствующих карточки (его еще не были готовы) Разбойник подсчитал: 30 граммов жира и целых 80-«лебенсмиттель».

— Есть «средства к жизни!» — громогласно заявил он. — И в активе еще целая банка пыльно-мыльного порошка (так назывался сыр) и кирпич солдатского хлеба. Предлагаю отрядить делегацию на кухню. Если ущипнуть Аннхен за то, что следует, то она даст нам своих восхитительных манных лепешек.

— Полную тарелку — мечтательно облизнулась Лизочка.

«Манные лепешки» — были верхом кулинарного искусства Аннхен. Манна варилась и застывала так, что ее можно было резать ножом. Но поддевать на лопаточку эти колеблющиеся куски и поджаривать их на сухой сковородке, так что они подпекались без капельки жира — хотя на него брались карточки — это вызывало восхищение перед кухонным артистом у всех, а не только у фрау Урсулы.

Янис молча встал, прошел в свою комнату, и тщательно разделил там запасы: на продажу одно, Оксане на ужин другое; вернувшись, положил на стол три головки лука и добрую четверть фунта шпека.

— Если поджарить, и промокнуть хлебу, то получится другая дела — деловито объяснил он на своем своеобразном русском языке. Ганс даже свистнул от восторга при виде сала.

— Ну что ж, нельзя отставать и мне — заключил Викинг. — Полбутылки самогона тоже найдется... в честь «четырнадцатого». Французских Людовиков вы все таки не догнали, Трамм, хотя мне не совсем понятно, почему.

Трамм сидел полусогнувшись на стуле, опустив руки между колен и тщетно пытаясь обдернуть пониже свое лиловое «болеро».

* * *

Когда 9 мая 1945 года Германия капитулировала, то война кончилась, но на одном клочке земли она все таки продолжалась: безнадежно и упорно, несмотря ни на что. Либава, или Лиепая по латышски, открытый порт Балтийского моря, отрезанный советскими войсками от остальной страны, — Либава продолжала защищаться, держась во что бы то ни стало, чтобы дать возможность уйти последним кораблям с беженцами, ранеными и войсками.

Части знаменитой 19-ой дивизии, Латвийский добровольный легион, части РОА — немцы, русские, латыши защищали подступы к городу, с каждым днем отодвигаясь ближе к морю. Каждый день к ним прорывались еще отдельные части, машины, телеги с беженцами. Каждый день из либавского порта уходили в море караваны судов. Радиостанции всего мира кричали о мире, о занятии союзниками побежденной Германии. А здесь, на этом последнем клочке свободной земли рвались еще снаряды, взрывались склады, и в городе, который за последние двадцать лет назывался «Спящей красавицей» (после Первой мировой войны Либава, как военный порт потеряла свое прежнее значение — порт был слишком велик для маленькой Латвии) — существовали только три ценности: спирт, табак и сало. Жизнь и все остальное не стоили ничего.

Только когда держаться дальше уже не было никакой возможности, когда советские войска вошли уже в предместье, когда горели все склады, а из порта ушли последние суда — горсточка последних защитников Балтики оставила город. Либава была сдана только 7 июня 1945 года. Месяц спустя после перемирия. И немногие могут рассказать о ее конце.

* * *

После первого стакана самогона бледно голубые глаза Трамма заблестели, он воодушевился и стал, по своему обыкновению, размахивать руками.

— Понимаете, надо уже уходить, до последнего держались, большевики уже на улицах, город в дыму — мы зажгли склады, а перед этим все тащили, кто что мог... осталось семь или восемь судов. И какие посудины! То ли пароходишко, то ли корыто — и как на воде держится, не понять. Капитан, старый, настоящий морской волк, сплюнул только и говорит: «Ну вот что, теперь в море выходим, так имейте в виду: снизу у нас — мины, сверху — самолеты, а вообще — шторма ждать надо, так и сами потонем. Против мин и самолетов нам делать нечего, кроме как Богу молиться. А на счет морской болезни, как вы есть сухопутные крысы, так средство имеется только одно: на-

питься до изумления. Спирт у всех есть? Не хватит, ко мне придете».

— Спирту было достаточно. Но первые сутки не до питья было. Капитан правильно говорил, и ведь не шли мы, а ползли, пешком скорее было бы... Кто на палубах был, половину поранило, так сказать, дополнительно, ну а кого и совсем, за борт потом... Но однако, кончилось. И налеты, и буря. Вошли в шведские воды уже и встречаем шведский крейсер. Красавец! Тут конечно сигналы, шлюпки, приглашает капитана нашей флотилии, так сказать. Встречаются на крейсере два моряка и происходит такой разговор, как нам потом капитан рассказывал: Швед говорит: он нашу флотилию заберет, приведет в шведский порт, там всех интернируют и передадут советским, конечно... Выслушал это наш капитан и спокойно отвечает: «Топите».

— Стрелять, да еще по крейсеру нам, понятно, нечем. На всей флотилии ни одной пушки — половина рыболовные суда. Подумал швед и говорит: ну хорошо, команду оставлю, то есть ее интернируют, а потом видно будет, только войска, которые на борту, будут сразу выданы, поскольку дружественный нейтралитет с Советским Союзом и прочее. «Топите» — отвечает капитан и смотрит на него в упор. Тут швед ударил кулаком по столу, отдал честь и говорит: чорт, мол, с вами. Я вас не видел и вы меня тоже. «И разошлись, как в море корабли», — говорит капитан, вернувшись. — Ну теперь все позади, кончилось. Идем в Киль сдаваться англичанам и можно вздохнуть свободно»!

— Ну, мы и вздохнули! Через несколько минут во всей флотилии ни одного трезвого человека не осталось. Так пили, как я никогда не видел. И вот, сколько то там спустя, входит в Киль, занятый англичанами, флотилия совершенно пьяных судов. Против всяких правил морского движения. Бочки там какие то, буи, срезали, суда идут и шатаются, а мы все — ей Богу, ходить уже не можем, больше на карачках ползаем. И желаем сдаваться, флаг белый выкинули. А англичане не берут. Мы им сигналим, а они хоть бы хны.

— Ну что же делать. Встали кое как на якорь, и вечером начали для развлечения иллюминацию. Палим в белый свет — из винтовок, пистолетов, ракеты пускаем — все, что было огнестрельного на борту. Англичане с берега на нас в бинокль смотрят и честное слово, какой то фильм крутят. А в плен не берут.

— Прошли еще добрые сутки, пока мы протрезвели окончательно, и тут оказалось, что спирт весь выпит, а воды ни капли нет. Про воду мы совсем забыли... ну, покрутились, и пришлось выкинуть сигнал: «Судно терпит бедствие». Тут и англичане смилостивились, дали еще время очухаться и взяли наконец в плен.

— На этом комическое интермеццо кончается, и начинается совсем другое. Привезли нас в лагерь, неподалеку от Киля. Ан-

глийский офицер, солдаты, все очень вежливо и хорошо, деревня в лесу, проволоки почти нет, — вроде стоим в летнее время на постое. Через некоторое время приезжает к нашему коменданту советский офицер, а тот ему заявляет просто: «Я с вами разговаривать не желаю». Мы свистели, хулиганили, машину советскую камнями забросали... уехал.

— Восьмого августа, через два месяца после нашего ухода из Либавы, утром это было. Просыпаемся — и вдруг: пулеметы, танки, лагерь окружен. И тот же советский офицер — к нашему коменданту: «А теперь, говорит, господин капитан, вам придется со мною разговаривать!»

— Английский офицер, который нам честное слово давал, что ничего не будет, тут же стоит — и в землю смотрит. Ну, началось. Одни успели с собой покончить, другие под грузовики кидались, на пулеметы шли... остальных — на грузовики, и раненых, и живых. В лесу, на повороте, с нашего грузовика и еще с двух, кажется, спрыгнуло несколько десятков человек. Стреляли, но четырнадцать ушло все таки. Вот и я в их числе...

Он уже перестал говорить, но его продолжали молча и внимательно слушать дальше — недоговоренное.

— Что же вы думаете теперь делать, Костя? — устало спросила Таюнь.

— А вот говорят, что у вас при УНРРе университет устраивают. Пойду туда, на философский факультет. Что же еще остается?

3

Утро рассветало медленно и тяжело, набухая дождевыми каплями, смешанными со снегом, шуршащими змейками сбегавшими по стеклу. В комнате Таюнь помещалась одна кровать, между нею и стеной можно было пройти только боком. «Второй гроб» — сказал Викинг, живший рядом. Печку заменяла допотопная немецкая перина, пожертвованная фрау Урсулой: за манеры Таюнь, и иностранную фамилию — Свангаард на настоящем паспорте. Фрау Урсула всегда хвалила себя за то, что разбирается в людях. Комнату достал Викинг, когда Таюнь в двадцать четыре часа выставили из лагеря, где она «гастролировала» два месяца переводчицей, после первой американской комиссии, носившей такое забавное название «скрининг» — чисто по советски. Вычистили же за то, что она чистосердечно и наивно, как оказалось потом, заявила, что сын и муж были на фронте, а где теперь — не знает; как и полагается балтийцам — с немцами, те освободили их в сорок первом году от тринадцати месяцев советской власти. По интеллигентской логике Таюнь считала, что во первых, защищать свои взгляды с оружием в руках — наибольшее доказательство этих взглядов, а во-вторых, — что быть убежденным антикоммунистом — не позорное клеймо на Западе, а наоборот. Но уже кратковременной работы в лагере, имея дело каждый день с УНРРой, было достаточно, чтобы понять что логика не имеет ничего общего с жизнью, и надо переучиться простым геометрическим понятиям. Если по Эвклиду кратчайшее расстояние между двумя точками составляет одна прямая, то в этом новом западном мире — или, может быть, только в Новом Свете? — кратчайшее расстояние составляет множество самых разнообразных, и больших кривых...

По этой ли кривизне вспомнилась сейчас эта маленькая сценка — с лебедями? Такая же иссера-серая, печальная история, как вот это утро, но будто есть в ней что-то, чего не надо забывать, что еще вырастет, станет чем то — ?

Смешно. К чему сейчас этот городок, куда она наверняка никогда не попадет больше, и кургауз, и лебеди? Может быть, для картины...? Но если на одном плане — лебеди, то на втором ...кто?

Таюнь высвобождает из под тяжелой перины руку, сразу коченеющую от холода и осторожно, чтобы не просыпать махорки, привычно свертывает самокрутку. Надо следить, чтобы горящие крошки не упали на перину... и так не хочется вставать в этот холод, идти в коридор, задевать локтями за стенки уборной — крохотного шкафчика просто, где тут же свешивающийся почти над судном умывальник со скупо падающей, прерывающейся струйкой ледяной воды, потом идти в их «общую комнату» — к Разбойнику, собирать кампанию для завтрака в столовой внизу. Если у кого нибудь найдется, можно подмешать к коричневой бурде хоть немножко американского экстрактного кофе, это было бы хорошо!

А лебеди снова вплывают в память — и снова тяжело падают на снег...

* * *

На панелях, часто просто кирпичной кладки, на мостовой, больше из булыжников, снег лежал неровно, сбиваясь в застывшие голым льдом лужи, примерзнув корочкой по краям обнаженных камней, сухих и тоже каких то голодных. Земля на дорожках парка, твердая и сухая, звенела и пружинисто подбрасывала ногу. На разбегающихся аллеях и полянах снег тоже лежал обманчивым слоем — чуть чуть припорошив рыжеющую серость высохшей травы и темные, скатанные трубочками коричневые листья — скупо, как будто и его выдавали по карточкам только. От этого бедного снега создавалась даже иллюзия весны: вот только проглянуть солнцу завтра, и сразу набухнут почки на деревьях, вытянутся прутья кустов с распускающимися листьями, может быть на проталинах покажутся уже первые стрелки зеленоватых подснежников, крокусов — парк ведь, наверно все это есть в нем весной.

Но это было иллюзией. Ветки сухо и твердо бились и шуршали на колючем ветру совершенно зимнего месяца в этих краях — февраля. А большое озеро на окраине парка, еще неделю тому назад в шорохе темных льдинок, в хрусте прибрежного льда — замерзло совсем, раздвинулось от белой пелены снега еще шире, закуталось в безнадежный сумрак на другом берегу, там, на загибе поворота куда-то вдаль. Конечно, это просто тени кустов прочертили берег, но озеро сразу придвинулось к темной каемке дальнего леса, замкнулось в пушистой, белой, всепоглощающей пустоте.

Может быть поэтому кургауз казался таким располагающеуютным. К нему вело от озера и главной аллеи несколько террас, с трех сторон, уступами. Ступени были пологими и широ-

кими, в каменных вазах по краям застыли комочки снега, но за верхней баллюстрадой распахивались стеклянные приветливые двери. Здание шло широким полукругом, с большим мезонином, комнатами для гостей. Теперь только избранных, конечно — военных, отдыхающих эс-эсовцев, важных комиссаров — если они случайно заглядывали сюда. Большая зала внизу со стеклянной верандой и подиумом для оркестра не отапливалась, и была заперта. Тоже застекленные двери отражали слегка запылившийся паркет, спускавшиеся до полу окна веранды, и вторые окна с гладью озера в них — перемежающиеся стеклянные загородки, охватившие пустоту и холод — может быть даже какой то страх от сдвинувшейся реальности.

Но по эту сторону, налево и направо от деревянной лестницы с перилами три комнаты с неожиданно низкими потолками и полукруглыми выступами фонариков еще хранили скупое тепло роскошных печек в зеленоватых изразцах с бронзовыми решетками в завитушках. На скатертях редко разбросанных столиков часто попадалась штопка, и они слегка посерели — но это даже больше подходило к тем блюдам, которые подавались двумя быстрыми, совершенно безразличными девушками в простых, картонно накрахмаленных передниках, старомодных, как в больницах. Может быть, они и раньше не были кокетливыми кургаузными горничными, но теперь все возможные улыбки и взмахи ресниц были давно отщелкнуты маникюрными ножницами, болтавшимися на тесемке в кармане.

Ножницы быстро кромсали во всех направлениях продовольственные карточки: пятьдесят граммов мяса, десять граммов жира, десять граммов «средств к жизни» (по буквальному переводу) манной крупы, для «сладкого» (это еще пять граммов сахару отдельно) или тяжелых серых макарон. Картошка, слава Богу, не засчитывалась и ее давали здесь даже достаточно. Даже горох, густой, зеленовато желтой мозаикой наполнявший тарелку почти до самых краев можно было попросить второй раз — без карточек. Других супов «из бычьих хвостов» — почему то ставшее классическим блюдо в военной Германии — вторично не просил никто. Эта коричневая, резко пахнувшая химией жидкость нередко оставалась даже нетронутой, только пачкались тарелки.

Пиво было немного светлее, но не пахло зато ничем, и ни вкуса, ни градусов в нем не было. Вкуса не было и в подгоревшем ячменном кофе, подававшемся по воскресеньям после обеда; к нему полагались «торты» ярмарочно розового цвета. Торты были сделаны по образцу рецепта, которым восхищалась каждая хозяйка: без масла, без яиц, без сахара, без молока — наверно и без муки, ее тоже заменяла химия, хотя «средства к жизни» отщелкивались ножницами из карточек довольно безжалостно за эту иллюзию. Но очевидно немцам, кроме еды, не о чем

было сохранять иллюзий. Предательское «как будто бы» остановившейся, застывшей, опустошенной жизни.

(...Этот рецепт застрял почему то занозой в памяти, и много лет спустя Таюнь вспомнила о нем снова и с неожиданной трезвостью взглянула на себя и вокруг: «паркет» в ее доме тоже не из дуба, а из линолеума, и дом без родины, без людей, и она без будущего, без мечты даже — пусть не химия, но тоже ведь — «эрзац», суррогат, подделка, иллюзия во что бы то ни стало, «как будто бы». И не немецкая военная еда, имеющая в конце концов какое то оправдание, а просто споткнувшаяся давно жизнь, в которой и оправдываться не стоит. Чем одно лучше другого? Но тут же одернула себя: нет! Хотя бы потому, что у «тортов» был такой холодный, наглый розовый цвет каких то несъедобных формул. А вот фламинговые ирисы, гордость ее цветника, «Песня Сольвейг», расцветающие розовато оранжевой зарей — это настоящее, это, может быть, единственное настоящее в жизни, и если хоть кусочек этого есть в ее картинах... нет, стоит посмотреть вокруг и вздохнуть совсем глубоко — тогда не колет больше на душе). Но это еще только будет потом, а пока...

...Мертвящая серость чувствовалась во всем, начиная со скупого снега в парке. Посетители кургаузного ресторана говорили мало и приглушенно, только о самых обыденных вещах, оглядываясь на соседей. Кроме «фельдграу» выздоравливающих раненых темновато серыми были пальто и платья остальных. Кроме старух в шляпках двадцатилетней давности, все женщины моложе носили темноватые кашне, повязанные вокруг головы тюрбаном, концами вовнутрь спереди, почти как форма. Выздоравливающие или гости жили в комнатах наверху, а остальные собирались к обеду, медленно появляясь из разных аллей: беженцы отовсюду, разместившиеся по окрестным комнатам, где можно было скипятить себе утром и вечером кружку воды, не больше. На ужин в кургаузе не хватало карточек — на ужин дома был хлеб с маргарином или без.

Однотонность не ограничивалась ежедневным круженьем по парку, кругами столиков, монотонным обменом полупоклонами с привычными уже, но незнакомыми соседями: «Разрешите взять соль?» «Это место свободно?» Комнаты, в которые расходились потом, тоже были похожими: продолговатыми или квадратными, но все с облезлыми креслами: кровать с периной, кушетка или диван, если на двоих, шкапчик, столик, всегда заставленный мелочами — работать на нем все равно нельзя, да и нечего... какие то картинки по стенам в тусклых рамках, безвкусные занавески, обезцвеченные стиркой. В комнаты, сдававшиеся беженцам, ставился всякий хлам, это было нудной обязанностью для хозяев, по наряду. Бывшие пансионы были теперь заняты организациями, служащими или ранеными, а комнаты сдавались в семейных до-

миках около парка, тоже однообразных, с единственно теплой кухней, средоточием жизни. Жильцы приходили в нее только за водой, и многие предпочитали не смотреть на хозяйский стол — одинокому человеку уже по одному количеству он казался пиршеством.

Впрочем, большинство хозяек все таки клали иногда на блюдечко несколько пончиков или кусок кролика «попробовать». Многословная благодарность и восхищение, а попутно обмен рецептами — были так же понятны и ненужны, как ответные подарки из сохранившихся еще остатков — салфеточка, ленточка детям, или немыслимая вуалька и помятый шелковый цветок, которые любили дарить немки — как раз для квадратной, могучей хозяйки, например, которая и раньше то никогда не носила иных чулок, кроме собственной вязки, для практичности.

В городке было два кино, одно с обтрепавшейся претензией на элегантность; фильмы шли или старые, или казенного военного образца с неизменным героическим содержанием, но скука выстраивала длинные очереди у входов. Когда то предполагалось даже устроить раковину и помост для оркестра в парке, но дальше площадки не пошли. Вообще все претензии на «курорт» ограничивались только живописным озером и действительно громадным, переходящим в старый лес парком, который был пожертвован городку старым графом. Впрочем раньше в базарные дни городок оживал не только в надежде на дачников и туристов, которым и показывать то было нечего, а виллы пансионов только еще строились. Сейчас от былого великолепия сохранились только крохотные каретки, на которых разъезжали окрестные помещики помельче и хуторяне. Для чужого человека съезд этих кареток на площади казался свадьбой, и он оглядывался в поисках невестиной фаты. Но ее не было. Да и лошади были не белыми в яблоках, а простой, добротной породы, гнедой и караковой масти, щеголявшие только хвостами.

Гимназии здесь не было никогда, только две основных школы и одна библиотечка, умещавшаяся в двух комнатах. У окрестных помещиков были свои библиотеки, а жители еще не успели настолько проникнуться цивилизацией, чтобы держать книги для вида. Одни недоумевали, а другие обижались даже, если новые жильцы спрашивали, не найдется ли чего нибудь почитать — и давали маленькую газетку на четырех страничках, выходившую раз в месяц с объявлениями о кроликах. Эстетические потребности жителей вполне удовлетворялись вазонами на окнах и цветами в садах и палисадниках.

Без психоанализа понять любовь к цветам у этих людей было бы трудно: и уж во всяком случае, не они были виноваты в том, что раз посаженный корень расцветал, скажем, изысканно пышным, до последнего увядающего мгновения царственным пионом;

для них пионы росли, как добавление к картошке, и клумбы перед домом полагались, как воск для полов и воскресная булка в праздник. Кроме того, цветы нужны для свадеб, похорон, иногда для больных — смутное, но обязывающее чувство неосознанной и легко заглушаемой тяги к красоте — крошечному избавлению от зла. Совсем молодая девушка, или старушка может еще помечтать или вспомнить, почувствовать цветок; в промежутке, в котором проходит жизнь, этого некогда делать, мысль сердца вытесняется копеечной мелочностью.

Цветы нужны были еще раньше и для «людей получше», которых ждал городок в виде хорошо платящих гостей, дачников. Теперь эти люди получше — пенсионеры, вдовы чиновников, директора и даже профессора явились в городок совсем без претензий, за которые они не могли теперь заплатить; большинство «бывших», а это было видно, несмотря на придавленную ободранность — вызывало досадное разочарование, просто обиду. Нашли, когда и как явиться! В войну, и беженцами!

Раздражало и то, что они рассказывали. Раньше восточные и северные области германских и загерманских земель были тем, что интеллигентные люди называют экзотикой: интерес к чужестранному, следовательно, не очень большой. Сейчас это были чужие, непонятные судьбы, свалившиеся обузой. Война была тяжелым, но понятным явлением: в конце концов, многие помнили еще Первую мировую войну, да и когда не воевали вообще? Так заведено, а дальше маленьким людям разбираться нечего. Но в навалившейся тяжести и помимо войны было много непонятного. Сперва это был онемеченный польский городок; все люди получше носили звонкие польские и немецкие фамилии, в окрестных имениях нередко с коронками и гордым гербом. Сейчас городок стал ополяченным немецким: настоящие — то есть чужие немцы презирали всех местных, а местные немцы ненавидели их и презирали всех тех, кто вовремя не успел перестать быть поляком: польская бабушка была не лучше еврейской. Судьба всех пограничных поселений, переходящих на несколько поколений то к одной, то к другой стороне была действительно нелегкой — непосильной вообще для скромных умов. Учитель и бюргермейстер должны были слушаться начальства, а ксендз скрывался за текстами Священного писания, как за решеткой исповедальни.

У пришлых же были свои мысли и мнения, они не стеснялись говорить о них, хотя бы между собой, но часто даже возвышая голос, что при их чужом акценте было даже вовсе неприлично. И к ним не прислушивались, смутно чувствуя, что не надо: ничего, кроме лишней сумятицы и вреда, лишнего знания о том, чего не надо знать, они не дадут.

Что ж удивительного, если мечта сохранилась только в лебедях, плававших в озере около кургауза: семи статных красавцах, изящно описывавших шеями реверансы у берегов и мостика через ручей, откуда им бросали — да, даже теперь — кусочки хлеба. Убедившись, что хлеб брошен весь, они заворачивали полукругом, и попарным менуэтом отправлялись дальше. На середине озера был небольшой островок; там стоял их домик, разукрашенный резьбой по приказанию покойного графа, подарившего их городу вместе с озером, парком и лесом.

Но если жить без мечты нельзя . . .

. . . Так как же, трактат о лебедях? Может быть, они всегда были здесь с тех самых пор, когда в озеро смотрелся только лес, камыши, ветвистые головы лосей? Тогда их наверно было много — пока где то, среди лесов не поднялся вдруг первый дымок костра, прозвенела первая стрела закутанных в кожи и шкуры людей. Потом кожа сменилась блеском лат, когда в лесу прорубили, протоптали копытами и скрипящими колесами дорогу, расчистили поляны, обтесали камни для замка — далеко, на затерявшемся в лесах холме. В замке кидали подачки в ров с зеленоватой водой, на башне крылом загибалось белое покрывало прекрасной дамы. Лебеди должны были признать, что она прекрасна, если позволяли себя ласкать иногда, и так же медленно, так же ускользающе серебрилась за ними струя воды, как теперь.

Но поляны расползались, дороги раздваивались, троились, людей становилось все больше, лосей все меньше, все чаще звучали рога, лай собак, и озеро бороздили теперь рыбачьи лодки тоже, неуклюжие и серые, сердившие лебедей. По корневищам лесных дорог, отполированных хвоей, катились, подрагивая, на огромных колесах кареты, рожки почтальонов выбивали веселую трель, а на развалинах старого замка выстроили графский дворец, белевший далеко вокруг, теперь уже среди полей. Через ров был переброшен твердый мост, а ров расширялся, загибался в пруды, в озерки у ручья среди баскетов и клумб. Нарочно, для лебедей, они знали это, и когда загорались вечером огни, к замковым лебедям прилетали гости с озера тоже. Их давно было запрещено стрелять всем, кроме самого графа — белый пенюар лебяжьего пуха, нежнейшее прикосновенье к атласной коже, он подарил невесте в день свадьбы.

Но стреляли раньше — тогда еще, когда на позолоченных блюдах подавали жареных лебедей на пирах. Не от этого их становилось меньше. Гораздо хуже был въедливый дым, пачкавший перья, гул и грохот железных вагонов, доносившийся до озера. К людям, поселившимся на берегу, еще можно было привыкнуть — они бросали в воду вкусный хлеб, но дым, застилавший солнце . . . Не мигая, лебеди презрительно смотрели в даль, печально и упорно затаивая тоску по тишине и чистоте, и все

чаще удалялись на островок, где теперь у них был свой дом. Может быть, они даже уже сами знали, что стали теперь бесполезным пережитком романтики среди людей и их химии, электричества и — пушек, тоже громыхавших вдалеке, швырявших тяжелыми ударами воздушные глыбы и густые облака мельчайшей пыли, пыли, пыли...

Эта пыль почти невесома — и тем более гибельна для воздуха, леса, воды, тела. Да и для души тоже, ведь и у нее крылья. Но все менялось вокруг — даже вода в озере — с тех пор, как появились сточные канавы. Только лебеди — о, они были неизменны, ни одно легчайшее перо не сдвинулось за тысячу лет, и гордая голова поворачивалась к рыбаку и рыцарю в шлеме, господину в цилиндре или котелке одним и тем же, до совершенства законченным поворотом, равнодушно принимая поклонение, как должное, спокойно ускользая в недосягаемую — рукой с берега — водную гладь, и так же затаивая в уголках глаз что-то, совсем уж недоступное никому, понятное только — редким теперь! пролетающим журавлям в осеннем небе. Но и журавлиные треугольники редели, и весною в гнездах все меньше укладывалось в сухих травинках крупных, продолговатых яиц, тяжело налитых жизнью будущих поколений. Лебеди не сдавались. Они просто уходили, отказывались от будущего, в котором не было места ни им, ни тысячелетним мечтаньям о сказочной красоте и недостижимо прекрасном.

Ну вот и осталось их семь — на замерзшем озере кургаузного парка захолустного мещанского городишки, придавленного к серым камням зловещей глыбой пылающей на горизонте войны, оглушенного непонятными истерическими воплями расизма, переходившего здесь в змеиное шипение, в то, на чем можно было сорвать бессильную злобу на тех, кто был еще меньше, еще беззащитнее, безответнее, еще обреченнее. За тех своих, кровных, кто должен был почему то умирать там, за горизонтом, непонятно и неотвратимо пропадать без вести, возвращаться калеками без рук, без ног. Из страха перед теми, пришлыми, кто, с каменными глазами и сытыми лицами над общелкнутыми мундирами щелкали каблуками, вскидывая руки: хейль Хитлер! — и топтали сапогом по самому больному месту; перед теми, кто стрелял в безоружных, но зато охотно и в любой момент. Это — мелкая, бессильная, подлая злоба, порожденная таким же страхом; удавленность душителей — качество исключительно двуногих. При пожаре или наводнении серна может спасаться рядом с волком, он ее не тронет.

Но гибель неизбежна, все равно.

Лебеди давно уже не улетали на зиму: они обжились здесь, в теплом домике, им прорубали полынью, если озеро замерзало в редкие суровые зимы, и стайка была очевидно слишком мала,

чтобы пуститься в дальний путь, а где уж там скликать окрестных лебедей, которых может быть и нет вовсе? Может быть, ласточки рассказали им о бомбовозах тоже?

На зайцев и куропаток охотились теперь не только присяжные браконьеры, которых было не так то уж много, а все окрестные парни половчее, и в первую очередь сами лесники: им все следы прямо в руки. При ста граммах мяса в неделю заячья тушка — желанный обмен в городке на что угодно. Поэтому лиса была, пожалуй, голоднее людей.

В феврале рассветает поздно, но задолго до того, как только еще чувствуется приближение холодного темного рассвета, она долгими ночами выбегала к берегу озера, и, попробовав снова и снова лед, стояла часами, поджав одну переднюю лапу. Около берега лед был совсем крепок, но дальше лежала предательски тонкая корка. Лиса изгибалась, ступая, чтобы быть легче, но зловещий хруст усиливался, тело уже взвивалось в прыжке назад, хотя в нос еще втягивался тяжелый сладкий запах, несшийся с островка... Только с каждой ночью расстояние между последним шагом и островком сокращалось. Каждой ночью она придвигалась ближе, и, если замерзнет и последняя полынья...

В эту ночь, последнюю для лебедей, она замерзла.

* * *

Дорожка позади кургауза вела вдоль озера на окраину парка, где перед широко раскинувшимся огородом леденели стекла длинной оранжереи и угловатая рябь парников. Сбоку стоял унылый двухэтажный дом с примыкавшими сарайчиками и курятником хуторского двора. Эти владения паркового садовника были настоящим хутором, в особенности теперь. Должность садовника передавалась по наследству — теперь уже внуку, рыжеватому некрасивому немцу, которого бюргермейстер три года подряд удерживал, как незаменимого специалиста от того, чтобы он сменил лопату на винтовку. Только в этот, четвертый год, ему пришлось все таки отправиться на фронт, где немедленно разорвало осколком почку, и он, скрюченный, похудевший и обозленный, вернулся уже безоговорочно домой.

У жены его руки и ноги торчали, как мослы, голубые глаза часто казались оловянными, а рыжие веснушки придавали лицу хитринку. Но напрасно: во всех случаях жизни, если вопрос касался не кормежки скота и детей или уборки, она очень обижалась если спрашивали ее мнение, потому что, раз у нее есть муж, то ей самой нечего думать. Однако, она не терпела никаких возражений в вопросе о Стасе — низенькой, четыреугольной и красной как свекла девке, которую, как нисшую расу — польку —

определили ей в помощь по хозяйству, когда муж уходил на фронт. Он вернулся, но Стася осталась, и на ночь ее запирали в чулан, чтобы не вышло греха. Стася считалась слишком привлекательной для окрестных парней, а безнравственность нисшей расы считалась порчей рабочего скота, и потому — преступлением. Поэтому каждый раз, когда Стася умудрялась все таки вылезть в окно, чтобы поблудить, ее на следующий день били, и она громко ревела.

Но в то утро похождения Стаси были забыты. Все — дети, хозяйка, садовник, две прибежавшие соседки и помогавший еще в хозяйстве какой то старик собрались на дворе. Отдельных слов не было слышно, только казалось, что они очень громко размахивают руками. Посреди двора стояла большая тачка, в которую раньше впрягали осла, и на ней, пушистой белоснежной грудой лежали лебеди с окровавленной грудью и шеей. Эта живая, теплая белизна, куда белее промерзшего снега в парке, казалась совершенно невероятной.

Таюнь, жившая наверху с мужем, приехавшим с фронта в отпуск, выглянула в окно, услышав крик, пробормотала «не может быть» — и накинув потертую уже шубку, сбежала вниз. Красавцы лежали, закутавшись в свои перья, как в перины, тяжелыми тушами. Она невольно запустила пальцы в эту мягкую нежность, в лепестки пуха, почувствовала приторный птичий запах, и только тогда разобралась в отрывистых восклицаниях вокруг: лиса не могла конечно всех съесть, но передушила всех, озеро замерзло (полынью надо было вчера прорубить побольше, но вот забыли . . .)

Все были искренно возмущены. Ну хорошо, одного бы ей хватило тоже, а тут — всех! И никто не слышал, как они кричали!

Как будто здесь, в полукилометре от озера, в наглухо запертом доме с плотно занавешенными от налетов окнами, в котором все, кроме Таюнь, ложились спать в девять часов вечера, можно было бы расслышать, если бы рядом убивали кого нибудь из прохожих, не то что всегда молчаливых птиц на островке . . . Конечно, бессмысленное, зверское убийство. Но как то неловко сказать, что лиса озверела: чем же это хуже тех, ежедневных убийств, о которых знали, но не говорили, а если, то только шопотом, — не говоря о войне?

Но волновались все, качали головами, размахивали руками. Может быть, из-за разочарованного вопроса: как же они не улетели? Ни один? Не могло же столько лис развестись в лесу, чтобы они все разом набросились на всех?

Старик заявил что пойдет еще раз, осмотрит следы . . . и надо проверить курятник. Как бы туда не забрались. Хозяйка заметила наконец, что дети выбежали на двор, одетые по домашнему: в двойных вязанках поверх шерстяного же белья, но без шарфов,

и погнала их на кухню, чтобы не простудились. Стася, с беспокойно округлившимися глазами и обычной виновато-глупой улыбкой, протопала вслед за ней. Садовник посмотрел на все еще стоявшую около тачки жилицу-беженку, и вспомнил, что жена, когда он вернулся с фронта, хвалила: другие мучаются со своими постояльцами, а их не видно, ни слышно, всегда вежливые, как настоящие господа, хотя сразу видно, что не настоящие немцы.

Вот и сейчас он обратил внимание на неприличную глупость вопроса, который мог задать только иностранец.

— Что же вы с ними теперь будете делать? Скажите, вы не могли бы... продать мне их? Я бы охотно купила их всех, и не только за деньги... пожалуйста!

— А вам они на что? — не удержался он.

— Шкурки — мечтательно произнесла Таюнь с заблестевшими глазами, — лебяжий пух — хотела было уже прибавить — «ведь это драгоценность!» — но подумала, что он сдерет за это лишнее и поправилась на ходу: — очень хорош... как мех. А кроме того, это ведь деликатес, на жаркое — вроде гусей! Серьезно? Вы никогда не слыхали?

Но он продолжал недоверчиво крутить головой. Придумают же люди — лебедей на жаркое! Шкурки — на мех! Ну, перину набить еще можно... и вообще, нечего зря разговаривать.

— Я ничего не смею с ними делать. У меня есть предписания.

— На живодерню — лебедей?!

— Нет-нет. Тут вы ничего не сделаете. Напрасный труд. Я не могу рисковать. Все должно идти по порядку. Закон!

...— Закон называется «ферботен»! Тупая и безоговорочная дисциплина! Жалеть запрещено, «ферботен»! Как в лагерях для военнопленных. Как в этих страшных лагерях смерти по всей Германии. Как в занятых восточных областях. Глупо говорить о культуре, садистов находится, как оказывается, повсюду много. Чекистов еще побольше, чем гестаповцев. Но остальные — миролюбивые, добрые, даже сантиментальные, культурные люди — что же они? Их то — большинство? Одних тошнит, другие отворачиваются, чтобы не видеть, не хотят вмешиваться и покорны. Потом больше всего придется расплачиваться именно им... и, конечно, не только немцы, с их привычкой к подчинению приказу. Русские анархисты по существу, а чем лучше? Та же стадность, и в кармане кукиш! Самомнения сколько угодно, но чего оно стоит, если человек не умеет в нужный момент сказать «нет», в большом или малом тому, что идет против его совести...

— И чего ты разбушевалась — лениво сказал муж, когда она поднялась наверх. — Ни с того, ни с сего. «Режет серп тяжелые колосья, как под горло режут лебедей» — это еще Есенин сказал. Вот их и зарезали. Только и всего. И никакие не немцы, а лиса.

— Все равно, я... за этих лебедей... других выращу, вот увидишь!

* * *

Почему лебеди не могли улететь — неизвестно. Но Таюнь не знает еще и другого, и может быть, хорошо даже: успеет еще узнать, что той же весной, тоже в полузамерзшем, предвесеннем лесу, где то под Псковом, в крайней избе разваливающегося села было найдено утром шестеро немецких солдат с седьмым — переводчиком — все с перерезанным горлом. Изба стояла на отлете от села, партизанам было легко до нее добраться. Переводчику было восемнадцать лет с небольшим, звали его — Свангаард, а русские прозвали Васильком, очень уж синие у него глаза были. Он и глаз раскрыть не успел. Только синие тени прочертились под ними сразу, кровь впиталась в воротник полушубка, которым покрылся, и лицо побелело, вмерзаясь в смерть.

— Лебеденок мой! — вскинулась Аленушка, бывшая учительница в селе, когда ей сказали. Бежала, запыхавшись к избе, подгибались ноги. Немцы стояли долго, многие полюбили Василька, а она — больше всех. А немцы уходили уже, некому было больше гоняться за партизанами или жечь село в отместку. Только и удалось, что похоронить — Василька отдельно, под березкой, настояла Аленушка, сама наспех на коре крестик вырезала — место узнать? Нет, у нее внутри оборвалось что — то — ледышка врезалась. Кто из села ушел в партизаны, на Восток подался — знала тоже. Ну, а она теперь значит — на Запад. Не все немцы страшные, а свои вот... все. Собрала пожитки в мешок за плечи, и...

Потом наткнулась на русских из латышей, те ее с собой, как «латгалку» взяли — рукой подать из Пскова до Латгалии с коренным русским населением в Латвии... теперь она живет в балтийском лагере около Гамбурга, даже болтать по латышски научилась, и чего только не навидалась за это время — городов, людей, смерти...

Иногда, когда совсем синие тени на снегу лягут — вдруг вспомнится — белое лицо без кровинки, вытекла вся кровь из лебеденка... так называла про себя потихоньку, после того, как он объяснил ей, что его фамилия — «Свангаард» — значит: «Лебединый страж».

— У мамы моей совсем красивое имя — прибавил он: настоящее имя — Таисия, или Таиса, а зовут все почему то: Таюнь. Вот как тебя вместо Елены — Аленушка.

Это имя тоже запомнилось. Легкое, как перышко, — на него, кажется, дунуть можно. Может быть, мать — тоже здесь? Найти ее и сказать? Но найти нелегко, а сказать — еще труднее...

4

Поход начался с русского дома, называвшегося просто «Номер Пятый —» — все знали, где он. Золотая цифра на полукруглом стекле тяжелых ворот сохранилась, а два верхних этажа провалились вовнутрь. Изнутри и снаружи их усердно подпирали новые обитатели. Днем они мотались по городу, устраивая что-то, собирая слухи, или валялись на нарах, сколоченных на скорую руку в нижних комнатах вокруг небольшого зальца, устроенного под церковь. Кто-то сколачивал доски, или прибивал бумажные цветы к иконкам. На нарах ожесточенно курили махорку, закрутки часто ходили в круговую, и нередко читались стихи — свои и чужие. Долго жильцы не задерживались, растекаясь по лагерям, частным квартирам. Оставаться на одном месте было голодно и небезопасно — повсюду шла охота советских миссий за людьми.

По ночам они нередко сами выходили на добычу, под предводительством священника. «У меня на груди крест! —» говорил он убедительно, подхватывая рясу, — хотя насколько бы подействовал этот крест на эмпи, не стеснявшихся выволакивать и священников из алтарей в лагерях, когда шла облава — было невразумительно. Но в соседних развалинах была масса балок, черепиц, кирпичей — прекрасный материал для починки дома. Конечно, грабеж. Конечно, на улицу не то что ночью, но и вечером после восьми часов уже не разрешается выходить. Но что делать, если и за деньги ничего нельзя достать, а кроме того никаких денег нет?

Улицы не освещались, даже если фонари не были разбиты. На улицах плотно лежала тяжелая, глухая ночь. Нередко под напором дождя и ветра обрушивалась какая нибудь стена, торчавшая одиноко. «Визг пилы в темноте совсем незаметен» — подбадривал себя священник, взбираясь на остаток чьей нибудь крыши и всматриваясь в темь: не затрещит ли поблизости американский джип — тогда работа останавливалась. Но, если что нибудь грохнет вниз . . . в такую ночь кто услышит?

Сашка-вор еще днем присмотрел комод, стоявший в оставшейся половине комнаты на третьем этаже виллы. Другая половина пола и наружная стена лежали в кустах заросшего сада,

среди ослепших каменных львов. В таком комоде старинных бабушек, решил про себя Сашка, непременно что нибудь есть! В следующую ночную эскападу он перебрался с крыши, где выворачивали балки, подтанцовывая на гнущихся досках пола, и дернув комод от стены, грохнул его вниз. До утра пролежит... А утром он встал пораньше, и перемахнуть через кружевной забор виллы не составляло никакого труда на рассвете.

Комод был построен прочно: только задняя доска треснула, но увы — он был пуст. Сколько ни шарил Сашка-вор, единственной добычей оказалась только маленькая деревянная книжечка. Записная, с золотым обрезом и пожелтевшей атласной бумагой, а все листы чистые. Деревянными были коричневые резные крышки, скрепленные потертым кожаным корешком. Совершенно никчемушная вещь для Сашки-вора, и только с досады он сунул ее в карман, посмотрел при свете на торчавшие сверху доски пола, откуда сам чуть было не сверзился с этим комодом, растуды его, и горько сплюнул.

— Вот вам книжечка старинных бабушек, — сказал он несколько дней спустя Таюнь, — в подарок от меня.

Сашка-вор славился своими лихими набегами на американские склады; сперва через забор, а когда протянули вторую колючую проволоку, — умудрялся проникать в них под землей, через канализационные трубы, и насчет подарков был прижимист — нелегкая работа, чтобы зря разбрасываться. Таюнь поняла, конечно, что за «книжечку старинных бабушек» он себе выговорит при случае что нибудь, но все таки была тронута и обрадовалась прелестной старинной вещичке. Пальцы так и тянулись поглаживать резьбу, пока Сашка-вор жаловался. Сколько трудился, сам сорваться мог, а комод подвел, сволочь! Хорошо еще, что батюшка не заметил, а то влетело бы ему! Балки и кирпичи — это теперь ничейное, и для святого дела, можно сказать, для церковного дома, а комод — уже чистый грабеж. Хотя какому хрену он теперь нужен...

Поход начался из дома Номер Пятый в Дом Номер Первый на Хамштрассе часов в шесть вечера, но казалось уже, что ночь, от густо серого, пополам с дождем, снега. В поход двинулись неугомонные поэты. У одного до сих пор сохранился потрепанный томик Тютчева, который он таскал с собой по всем фронтам. Четыре поэта дружно топали почти час, добираясь до Хамштрассе с заманчивой вестью: на одной улице, недалеко отсюда, их всех сегодня ждут на чтение стихов и вообще рассказов!

— Какой то бывший князь и американские секретарши — сигареты, значит, будут!! — восторженно уговаривал Таюнь и Викинга голубоглазый блондин в стоптанных буцах, славившийся тем, что мог читать всего Есенина наизусть.

— Почему «бывший»? — сразу возмутилась Таюнь. — Это вот вы бывший монах, а он, кем родился, тем и останется. Не вы ему княжество давали!

— Я не совсем монах, я только послушником был, потому что из монашеской семьи. Дед мой монахом был, и отец, пока не расстриглись...

— Ну хорошо, а обратно как? Сейчас уже семь...

— Часики вы бы лучше спрятали, неровен час... обратно ногами. Может быть, там переспим, или просто двинем назад... не впервой, и местность глуховатая... доберемся! Погода какая — всю жизнь мечтать о такой! — произнес поэт действительно мечтательным тоном, чтобы рассмешить остальных.

Пошли, конечно. Не сидеть же весь вечер дома, стуча зубами по углам, или набившись все в одну комнату, когда фрау Урсула выгонит из столовой, потому, что хотя та не отапливается, конечно, но света жечь зря тоже нечего! Да и любопытно — литературный вечер!

Адрес каждый из четверых поэтов знал на свой лад, и плутали поэтому долго. Деревья гнулись под ветром, не разберешь — уже парк или еще сады наглухо закрытых вилл, разбитых или полуразбитых, только кое где полоска света в ставнях. Промокли, замерзли, но все таки нашли и ввалились в неожиданно светлую, большую комнату с разными стульями и такими же пестрыми, веселыми, разными людьми. Таюнь бросился в глаза один высокий, темноглазый, и еще один седой, с бородкой клинышком типичного интеллигента, — они распоряжались. По хозяйкам — их тоже было две — сразу заметно, что они — из другого мира: причесаны, подкрашены, одеты, как американки, а кто — не разберешь. Угощают горячим крепким кофе и солеными орешками из маленьких баночек. Маленькие уж очень эти баночки! — горестно вздохнула Таюнь, борясь с последними остатками приличия, чтобы не съесть сразу все. Кофе пили на ходу, из разных кружек. Темноглазый уже устанавливал стулья полукругом, и можно было внимательнее всматриваться в лица: кто будет читать, и что?

— Это — Демидова, — подсказывает ей, примостившись, как всегда сбоку пани Ирена, ее соседка по комнате в Доме Номер Первый. — Помните ее сказки? Я познакомилась с ней в Берлине, и она рассказывала, что сперва очень боялась: как новые читатели, «оттуда» отнесутся к ним... А потом к ней приехал с фронта незнакомый офицер, просить сказки для фронтового журнала — мол, все зачитываются... И теперь вот этот Лампион — его почему то все Лампионом зовут, голубоглазый поэт, который вас больше всех уговаривал отправиться сюда — имя у него такое заковыристое и старинное, что никто выговорить не может — так когда он в плену был у немцев, достал как то ее сказки,

и все наизусть выучил ... нет, каждому хоть когда нибудь сказка в жизни нужна, поверьте!

Читали по обрывкам бумажек, кое кто с рукописи, стихи наизусть. С места, или выходили к столу, стоявшему под лампочкой, болтавшейся на шнуре без абажура. Темноглазый руководил собранием, предлагал высказаться, обсудить после каждого чтения. Как хотелось всем говорить — отметила про себя Таюнь, как были все благодарны, взбудоражены совсем другим, а не тем, что оставалось за стенами, откуда они пришли.

Стихи запоминались. Совершенно ошеломил всех темноволосый, темноглазый юноша, казавшийся то стариком, то мальчишкой. Он уверенно вышел, прищелкнул пальцами и голосом опытного актера декламатора объявил: «Из киевского цикла»: Камаринская.

В небо крыши упираются торчком!
В небе месяц пробирается бочком!

На столбе не зажигают огонька ...
Три повешенных скучают паренька ...

Всю неделю куралесил снегопад,
Что то снег то нынче весел невпопад!

Не рядить бы этот город — мировать ...
Отпевать бы этот город, отпевать!

(Иван Елагин)

Ему не просто аплодировали после потрясенной паузы, — кричали, и восторженно гудел за спинами всех Викинг. Дикое, невероятное сочетание разудалой Камаринской с панихидой, с отпеванием города ударило даже по их, давно уже притупившимся нервам. Все остальные стихи побледнели перед настоящим, большим талантом мастера вот так сразу, без перехода.

Были и прозаические отрывки. Таюнь хотелось чтобы после страшного напряжения от «Киевского цикла» Елагина Демидова прочла бы что нибудь фантастически-умиротворяющее, — но в ее рассказе вставал совсем недавний, разгромленный, разбитый Берлин. Запомнилась только маленькая сценка: в подворотне разбитого налетом дома какая то торговка выставила несколько горшочков тюльпанов — и вот они цветут среди развалин, в золе, в обожженных камнях и никого кругом нет, нет и самой торговки — тоже убило, наверно. Таюнь, как художнице, особенно бросались в глаза такие мелочи.

Пачки американских сигарет хозяева протягивали отовсюду и все курили с упоением. Но и без сигарет взволнованная радость от неожиданной близости незнакомых раздвигала посветлевшие стены комнаты. Когда чтение кончилось и все зашумели и раз-

бились на группы — все показались по новому хорошими и близкими.

— Простите, это вы — Демидова? — услышала Таюнь за спиной и обернулась. Высокий молодой блондин с сияющей улыбкой подошел к Демидовой и широким жестом отмахнул всех окружающих. — Та самая? А вы помните . . . ?

Он встал в позу, еще шире отвел руку — так предлагают королевство, по меньшей мере, — и звонко начал:

«Была весна в нормандской деревушке,
Когда поет и плачет океан,
Где в воскресенье дети и старушки
В старинной церкви слушают орган . . .

Таюнь невольно улыбнулась тоже. Вот стоит усталая, заостренная от худобы, с сумасшедшими глазами измученная писательница — и ей роскошным жестом подносится лавровый венок. Потому что если человек, много лет тому назад прочитавший сказку, может декламировать ее наизусть сейчас — после войны, бегства, потерь — то это может быть только лавровым венком, и она значит действительно заслужила его.

На глазах у Демидовой были слезы. Кажется, и у Таюнь тоже. Им предложили всем остаться переждать рассвета, но не одни поэты решили идти.

— Если будем ждать, впечатление побледнеет — сказал за всех Викинг. — Такие картины надо уносить с собой сразу. Ничего, что половина первого ночи. Мы уж слишком привыкли не соблюдать правил, а одним арестом больше или меньше — и не в таких переделках бывали. Прощайте, дорогие хозяева — какими же словами сказать вам спасибо?

— «Была весна»! — откликнулся молодой светлый голос.

— «Была весна!» — убежденно повторил Викинг, и все счастливо рассмеялись в холодную, шуршащую дождем темь. Двери виллы захлопнулись, и Таюнь подумала почему то, что даже днем, при свете ее наверно никогда не удастся найти, как заколдованный дом.

Глаза нащупали темноту. Шли дружной колонной посреди мостовой, с полной уверенностью, что никаких джипов не встретится — а развалины с арками пустых окон валятся не все сразу и вообще только изредка.

— Ну вот помолчали и хватит, — бодро сказал Викинг, переходя к Таюнь и подхватывая одной рукой ее, а другой пани Ирену. — Теперь, кунингатютар, очередь за вами. Что вы не писатель и поэт, это мы знаем, хотя какой художник не поэт, если он только не психопат? А идти нам еще добрый час. Расскажите что нибудь совсем необычайное, подстать этому вечеру. Заберитесь совсем подальше. Не война с бегством, а такое уж далекое,

что и не верится больше, что это было. Трудно представить себе например, что я мальчишкой из песка замки строил, хотя и теперь это приходится делать... Расскажите о себе — ведь тогда не вы были, а совсем другая, которой мы не знаем, а та вот слушала нянину сказку при лампадке... была у вас такая няня в Балтике?

— Да я балтийка по любви больше — откликнулась Таюнь, и так же неожиданно, как будто бы за ниточку ухватилась, покатился клубок, развертываясь все дальше, перемахнув через столько лет в совсем другое, совсем невероятное теперь былье.

— В Балтику я попала случайно, а полюбила навсегда. Девочкой жила совсем далеко, в Симбирской губернии, там было у нас небольшое именьице, и им заведывал старый папин денщик. Папа командовал где то полком, и приезжал редко, маму я помню либо за роялем, либо с распущенными волосами в полутемной спальне с мигренью. На туалете у нее всегда был флакон духов из толстого матового стекла, высокий и узкий, в нем в зеленоватой жидкости стояли стебельки ландышей, и весь флакон обвивали матовые стеклянные ландыши. Ландышевые капли она тоже всегда от сердца принимала. Так и осталась в памяти — увядающим колокольчиком, так и называла я ее: мама-Ландыш. Я всегда старалась говорить при ней тихо, и мне кажется, все любили ее. Не знаю, чем была больна, умирала тихо и долго. Я очень рано выучилась читать, и моей настоящей школой была наша библиотека, мама и не подозревала, что я все ее новейшие французские журналы тоже после нее перечитываю. Главное мое занятие, как себя помню было вот это чтение на двух языках, а второе — скакать на неоседланных лошадях по степи.

— Если уж заниматься психоанализом прошлого... первый поворотный пункт был у меня лет в десять, когда я, начитавшись Вальтер Скотта, вышла в сад, и вдруг увидела совсем другими наших лебедей на озере. Кусты за ними виднелись, на фоне зари, как замковые башни. Очевидно, моя двухплановая живопись именно в этот момент и зародилась. Рисовать я всегда любила, но вот в этой картинке, которую потом всю зиму повторяла в вариантах, мне первый раз захотелось не только изобразить, а сказать этим что-то.

— В революцию мне исполнилось четырнадцать лет. Мама-Ландыш только что тихо умерла, и я возмутилась, услышав, что Адриан, денщик наш, перекрестился и сказал: «Отмучилась, и слава Богу, что дальше не пришлось!» Первый раз мне пришлось столкнуться с тем, что и в несчастьи свои хорошие стороны могут быть. Ну куда бы ей в ту завируху, которая началась тогда? Когда стали жечь имения, Адриан одел меня казачонком, чтобы безопаснее было, и стал разыскивать отца по всем полкам. Как мы с ним колесили по фронтам гражданской войны — описать

невозможно, но в конце концов нашли. Тогда белые армии уходили уже в степи... об этом много написано, и лучше, чем я могу рассказать. И забылось, и многого не понимала — помню только, что чуть ли по несколько суток приходилось с седла не слезать. Вот тут на какой то стоянке и попался мне Огонек — его все Огоньком звали — корнет князь Геннадий Карачаев — веселый, молодой. Мне шестнадцать, ему двадцать два, весна, тополя в почках пахнут сладко, или акация — не помню уж что, только солнце — в глазах и на погонах, и все вокруг в этой солнечной пыли. Влюбились оба сразу. А отец наверно предчувствовал уже, или вообще сломился... форма на нем обтрепалась, сам посерел, складки на лице залегли от губ, разжимал их с трудом, молчал больше, и рукой только махнул: «Может быть хоть он останется, чтобы тебя сберечь». Вот и все напутствие было, полковой священник нас тут же обвенчал, я попрежнему в гимнастерке и бриджах, обручальное кольцо один офицер со своей убитой жены снял и мне подарил, а Огонек потащил меня в походную кузницу. «Ну, говорит, Таюнь, теперь держись! Только это у меня от матери осталось, с собой ношу все время...» и вытаскивает не браслет, а старинное запястье, кованое золото с бирюзой. Его в их роду невесте на руке на всю жизнь запаивают. Звенья раздвигаются вверх, а снять невозможно. Я так три дня и ходила с закатанным рукавом — все любовалась. А потом снова поход, и на семнадцатый день после нашей свадьбы налетели красные, и отца, и Огонька убили, а меня в ногу ранило, но навылет, кость не раздробило... Тот же верный Адриан похоронил его вместе с отцом, а мне листочек принес, в кармане у Огонька нашел, обрывок бумаги со стихами, и начинались они так: «Таюнь — легковейное имя, как вздох, как упавший цветок... Пойдешь ты путями иными — не будет пути на Восток...» Что дальше было — не помню, обычный любовный бред, а кончалось так: «...Но даже на том берегу — Таюнь, твое светлое имя высокой звездой сберегу!»

Он меня первой и назвал: Таюнь, не нравилось ему полное имя — Таиса. Долго я хранила этот обрывочек, а браслет, как видите, до сих пор на руке. Не снимается. Сколько раз было искушение пойти к ювелиру и дать разрезать, снять. Но всегда думала: ну что же, проживу на него несколько недель — и заплачет моя звезда, что не сумела уберечь... А тогда я как окаменела. Лежала на тачанке, куда то меня везли. Под конец пропал и Адриан. А я с остальными в Константинополь. Там дала какая то дама мне юбку и блузку, и стала я разливать варево на кухне у грека. Чад, чесноком воняет, глаза у всех масляные, и говорят так громко. Про меня думали сперва, что я немая, у меня, как у папы под конец губы вроде судорогой свело, разжать было трудно, да и не хотелось. Даже когда хозяин этой харчевни при-

жал меня в угол, и я поняла, наконец, чего он от меня хочет — так тоже молча дала ему по морде разливательной ложкой, которую в руках держала, и выскочила, чтобы не возвращаться больше. Вещей все равно никаких не было. Очень хорошо помню, как ходила по улицам, останавливалась, пыталась о чем нибудь подумать. Деваться было некуда, и ни одной мысли в голове не было. Вышла на какой то бульвар — и вдруг слышу крик, из-за угла выскакивает пара лошадей в мыле, коляска и в ней двое, вожжи волочатся, и кучера сбросило, когда лошади понесли. Ну, понятно, я метнулась к ним, схватила одну под уздцы и повисла, а другой глаза рукавом закрываю. Так и остановила. Дама в коляске в истерике, господин слезает, еще потный от страха, сует мне в руку какие то деньги, и я только вижу, что подходит кто-то еще, высокий, в щегольских бриджах — и больше ничего не помню, упала. — Прихожу в себя — лежу на диване в отельной комнате. Тот же высокий сидит в рейтузах и рубашке напротив за столом и курит. Глаза голубые, вид наглый, но видно что русский и офицер сразу. Впрочем это у меня еще надолго осталось: все мужчины, хоть и в штатском, казались переодетыми военными. Увидел, что я глаза открыла, налил мне вина и говорит:

«— Ты русская? Откуда умеешь с лошадьми обращаться? Как тебя зовут? Ела сегодня что нибудь?

И вот тут на меня нашел приступ такой злой гордости, как от пружины выпрямилась. Даже помню, как больно было губы разжать — от жары видно спеклись, но ответила так высокомерно, как могла только:

«— Меня зовут княгиня Карачаева.»

— Боже, как он хохотал! Хлопал себя по коленям, и ржал, как жеребец настоящий! Я его убить была готова, и только потом поняла, какой смешной ему показалась. Ну, конечно, пришлось объяснить что и как — в гражданскую войну еще и не то бывало. Так начался новый поворот в жизни — встреча с Николаем, и я была ему благодарной за то, что он для меня сделал, как ни издевался при этом. Прежде всего, отвел меня в ванную, велел выбросить юбку и блузку, надеть приличное платье и белье, которое сам купил, отвел меня в парикмахерскую и устроил в комнатке на верхнем этаже той же гостинницы. На следующий день осмотрел меня со всех сторон и взял с собой, в цирк. Он был лихим наездником в своем гвардейском полку раньше, а теперь выступал в цирке. Ну, когда я до седла добралась, то показала ему, как скачут! Только к арене привыкнуть было трудно, без простора, но номер у меня получился хороший, а он, хоть и давился от смеху, но в афише меня поместили как «принцесса-казак» —, как я ни протестовала, только фамилию не позволила

ставить. И я имела успех, так что Николай выторговал мне приличную плату, это он умел.

— Из гостиницы я скоро переехала. Николай не протестовал, он был отчаявшимся, но вместе с тем расчетливым человеком. Женщинами был избалован до-нельзя, ну а мне заявил просто, что хочет немного освежиться и поучить меня любви, но заранее предупреждает — без последствий и без претензий с моей стороны. Учил меня еще и пить, и даже кокаину попробовать дал, но вместе с тем строго смотрел, чтобы я не пошла по рукам, и вообще не распускалась — а то не смогу выступать, как следует. Словом, это была недолгая, но жестковатая школа. Мне все это немного льстило даже, но я его вовсе не любила. Окаменение душевное продолжалось, только одно казалось самым важным: держаться во что бы то ни стало, не упасть снова — ни с коня, ни на улице, как тогда. К чести Николая нужно сказать — те деньги, которые мне господин в коляске на радостях в руку сунул — он не тронул, это тебе, говорит, на черный день, не падай с голоду на улице! Мне часто конфеты подносили, подарки, и приглашения, конечно тоже были, но Николай серьезно заявил, что свернет мне шею и выкинет из труппы, если я с кем нибудь пойду, и после представления я сразу уходила в свою комнату, сняла у одной милой старушки-француженки. Так шло полгода или больше — времена года для меня в Константинополе перепутались, а весной случилась настоящая сказка . . .

— Весна в Константинополе для семнадцатилетней девушки, о которой печатаются большие афиши, каждый вечер аплодисменты, цветы, подарки . . . все сверкает такой весной. О будущем я не думала, конечно, все мы сидели на чемоданах и ждали переворота в России, коротенькое мое прошлое было каким то жутким провалом, и только совсем на краю, «на том берегу», маленький робкий огонек светился — звезда Огонька, и все в ней: он сам, мама-Ландыш, отец . . . Как вспомню — наваливается черный камень и душит, и знаю, что такой же камень у Николая, хоть он и не говорит никогда о своем, и у других всех, и держаться надо . . .

— В ту весну я снова принялась рисовать. Купила себе мольберт, краски — в таком городе, как Константинополь только слепой художником не станет. Утром поработаю с лошадьми в манеже, а потом отправляюсь: Золотой Рог, мечети, уголки базара — уж очень волнующие сочетания красок были. Один рисунок базара так торговцу понравился, что он мне коврик за него подарил . . . И твердо помню, как засинивала тень на белых камнях в какой то улочке, где устроилась с мольбертом под стеной, когда за спиной раздались шаги, кто-то прошел, остановился, и сказал по французски:

— Очаровательный эскиз . . . я хотел бы его приобрести.

— И это, конечно, был . . . !

У пани Ирены, подпрыгивающей слегка сбоку, вдруг блестят глаза на съежившемся востроносеньком личике, и Таюнь сразу становится досадно. Ну, к чему вспоминать? У каждого было свое, но все молчат, а она целый роман рассказывает. И вот эта пани Ирена, сколько ей лет, не разберешь — видно, как встрепенулась. Наверно тоже какой нибудь свой роман вспомнила, у каждого своя весна была, и свой «он» или «она», и так это обыкновенно, хоть и кажется чем то особенным каждому . . .

— Потому что у каждого — свое. — Юкку направляет и поддерживает ее и голосом, и взглядом, и крепче придерживает за локоть. — Не останавливайтесь, кунингатютар. Продолжайте. Это чудесная сказка и дайте нам увидеть вместо этого мокрого снега весну в Стамбуле. У нас тоже были, и может быть, даже будут весны. Их хранить надо, они греют не только память.

Юкку, как всегда, во время находит слово. Таюнь стряхивает холодок и снова уходит — кажется в века, так далека эта солнечная весна от промозглой декабрьской ночи. Хорошо зарыться в далекое солнце, блеснувшие глаза, позолоченное воспоминание, укрыться им. Был ли Джон на самом деле таким, как помнится? Сколько раз потом рисовала его по памяти, — лицо менялось, становилось все красивее, пока не стало совсем мечтой . . . а таким ли было на самом деле?

— Первая моя встреча с настоящим англичанином — говорит она — можно сказать, по классическому образцу. Молодой джентельмен, прекрасно одет, безукоризненные манеры, Джон Рендалл, Итон и Оксфорд, хороший французский язык с таким милым акцентом. Он повел меня в кафе и я конечно, подарила ему эскиз. Когда мы встретились еще раз я рассказала ему —, вкратце, свою историю. Рассматривал он меня в вежливым любопытством, как редкую экзотику. Прэнсесс рюсс из цирка! В цирк стал приезжать очень часто, к моему номеру появлялся в ложе, присылал цветы. Я влюбилась сразу, разумеется, даже Огонек потускнел и отодвинулся. От Николая сразу отошла. Впрочем, он не обращал тогда уже большого внимания, у него было два увлечения сразу . . . по принципу: бей ворону и сороку! Все от меня отодвинулось, кроме работы и Джона. Он прекрасно ездил верхом, мы часто катались по утрам, чтобы промять лошадей. Исследовали город, как он выражался, часами пили кофе на турецких базарах. Джон работал в британском посольстве — вернее, состоял при нем, для меня у него всегда было время. Рассказывал об Англии на мои вопросы — по Диккенсу и Вальтер Скотту, и был приятно удивлен, что я их знаю. Я научилась с ним очень многому, и прежде всего — сдерживать свои чувства. Как бы мы ни смеялись — а мы столько смеялись вместе! — но когда он

говорил, что я очень «смешная маленькая лэди», то я видела, что это всерьез, и старалась стать тем, что называется лэди — без кавычек. Вот в этом в сущности все и заключалось. Наш роман был совершенно платоническим — несколько поцелуев и никаких объяснений в любви. Он звал меня «Тай» — поскольку вряд ли мог выговорить мое имя, и его представление о «принцессах» было конечно совершенно другим, но все таки сдерживало от простой интрижки с циркачкой — это я поняла потом. Сейчас, когда во время этой войны пары сходились чуть ли не в первый день встречи, это покажется смешным, но ведь тогда прежний мир у таких, как я, только что рухнул еще, а у него и вовсе нет, английский мир стоял еще нерушимо, и это было вполне естественно. Конечно, я ему нравилась, и может быть это и стало бы настоящим романом, но весна продолжалась недолго, и конец тоже был по классическому образцу. Мы часто уславливались, что я приеду к нему на чашку чая — ее подавал настоящий английский батлер, сам пол-герцога! — а после этого Джон отвозил меня в цирк. У него была небольшая вилла с замечательной обстановкой, которую он купил у какого то дипломата. И когда я однажды приехала, то чай был сервирован, как всегда, но в холле уже стояли желтые как седло чемоданы, и Джон был настолько взволнован, что даже обнял меня, усаживая для объяснений. Утром в посольстве была получена телеграмма, и с ним случилось то, что всегда может случиться со всеми симпатичными английскими джентельменами: он стал лордом. Лорд Ферисборн, семнадцатый пэр Англии, только что скончался, а поскольку детей у него не было, а Джон приходится племянником, то необходимо сегодня же вечером ехать в Англию, на похороны, вступать во владение поместьем, и... и продолжать ту жизнь, к которой его подготовили и Итон, и Окфсорд, и в которой конечно, не найдется больше места и времени для таких забавных и очень смешных маленьких лэди — понятно.

— Ну, знаете...

— Подождите, Викинг! Не забудьте, что в ту весну, вы наверное только что родились — и это был еще другой мир, дорогой мой. Вот ваш отец был рыбаком, говорите вы. Ну, а если бы он женился на какой нибудь певичке из портового кабака — что сказал бы ваш дед, и все окрестные рыбаки? Как бы она справлялась с хозяйством? Скажете: научилась бы в конце концов? Возможно. Но выдержать годы такой борьбы и ломки — для этого нужна большая любовь во всяком случае.

— Как будто бы ваши лорды не женились на кафешантанных певичках и раньше!

— Бывало. Но я уже сказала, что для этого нужна была большая любовь — не только у певички.

— Да по происхождению вы ничем ему не уступали, в конце концов! Как бы то ни было, но вы были княгиней и дворянкой по рождению!

— Против этого есть магическое слово для каждого англичанина: «континенталь». Все, что ни на острове — это «континенталь», и значит, второй сорт, если не третий. Конечно, если бы мы встретились в обществе, и я жила бы, как полагается лэди... конечно, если бы телеграмма пришла месяца на два, три, позднее — или если бы он был лордом с самого начала, и любовь ко мне была бы единственным потрясением, единственной ломкой в его жизни... Но этого всего не было, и я прекрасно поняла. О Боже, как это было больно... физически больно, до рези в горле, до комка в груди. Не помню, как пила чай, и батлер выносил в холл все новые чемоданы, и я старалась понять, почему Джон говорит о каком то адвокате... Каждый из нас наверно расставался с кем нибудь — знаете, как это... говоришь, и не понимаешь, не веришь, что это действительно навсегда... конечно, он обещал писать... даже приехать... откуда? Из замка — в цирк? Смешно.

Наверно никогда еще я не джигитовала так, как в этот вечер. Николай потом схватил меня в уборной — ну, говорит, ты сегодня просто чорт знает что выделывала. Публика бесновалась. А у меня истерики не было — только снова окаменелость. И через несколько дней никак не могла понять, почему ко мне явился какой то француз с бородкой и долго объяснял: лорд Ферисборн очень торопился перед отъездом, но перевел на мое имя свою виллу. За нее заплачено за год вперед, а вся обстановка принадлежит мне. Хорошо, что Николай зашел как раз во время, он быстро сообразил, в чем дело, и помог. На виллу я не переехала, конечно, как он меня ни уговаривал, да и содержание ее чересчур дорого бы стоило. Но при помощи того же адвоката подписала опять какие то бумаги, виллу снял бразильский дипломат, купивший и всю остановку. Я себе только один ковер оставила, на память. Сумма получилась порядочная, я купила на нее своих лошадей в цирке в полную собственность, и еще осталось в банке. Николаю сделала подарок, но он уже собрался жениться на американке — и притом без особых средств, представьте, она работала в американском Красном Кресте, и этот жеребец влюбился в нее по настоящему! Я была очень рада его лирическому настроению. Запоем работала и запоем читала — все, что могла достать из английских книг. Тогда и начала учиться по английски, чтобы свободно совсем можно было читать. В каждый замок входила со своим милордом, каждый рододендрон в парке видела, как цветет, в каждом тумане бродила... а потом мы поехали в турнэ, Константинополь кончился — действительно навсегда. Но одно осталось все таки, на всю жизнь, как бы смешно

это ни казалось теперь. Именно теперь, когда вся жизнь почти уже прожита, и если через всю ее лейтмотивом прошло, то поверьте, значит, было чему. Вот это ожидание. Сперва — большое. Потом стало угасать, съеживаться, забиваться в какой то уголочек. Но остался, и до сих пор теплится, как свечка, маленький огонечек: малое ожидание. Иногда, в самые разные моменты жизни казалось: а если бы мы сейчас встретились, то — то что, собственно? Чтобы я сказала? Что бы он сделал? Мимолетная встреча в молодости, какой то пустяшный для него подарок молодой женщине, попавшей в несчастье. Если он вообще помнит об этом — милое воспоминание — и — как ее звали? Какое то экзотическое имя . . . Мы вряд ли бы даже узнали друг друга. Ведь целая жизнь, разными путями пройдена, прожита, наполовину забыта уже. Но женщины помнят дольше, Викинг, — никогда не забывайте об этом! Женщины помнят такие маленькие жесты, как вот эта ваша рука, протянутая, чтобы я не споткнулась в темноте . . . И представьте себе, что много раз в жизни, когда мне казалось, что я спотыкаюсь, я чувствовала поддерживающую меня руку — как тогда, в Истанбуле, и много раз, когда добивалась чего нибудь — хоть малого, но мне то приходилось большие препятствия преодолевать, чтобы добиться чего нибудь — мне всегда хотелось, чтобы он увидел это, понял . . .

— И вот почему, когда сегодня этот молодой блондин с такими сияющими глазами стал декламировать Демидовой ее стихи «Была весна!» — совсем другая встреча, ничем не напоминает, и все таки — вы видели ее глаза? Может быть и она вспомнила — о таком же.

— За то и ей, и ему, и вам, кунингатютар — спасибо за сказку. Пусть приснится всем дальше в холодную ночь!

— Викинг скоро совсем стихами заговорит . . .

Но этому голосу никто не ответил. По лестнице, коридорам дома шли ощупью, каждый в свое логово, и все таки, долго согреваясь, натягивая на себя все, что было, курили в темноте, грея руки у тлеющего кончика подаренных американских сигарет, и в тяжелой, холодной, темной ночи дома звенело еще по разным углам ускользающей в сон улыбкой: «Была весна . . . !»

5

Потом, в том далеком будущем, которое только мерещится на голой стене Дома Номер Первый — вряд ли кто нибудь из тех, кто переживает эту осень и зиму сорок пятого-шестого года в разных германских городах, лагерях и деревнях, в частных домах — схожих чем то неуловимым при всей своей разности — вряд ли кто нибудь вспомнит это время иначе, чем иссера-серую, холодную, дождливую, промозглую, безнадежную осень. Может быть поэтому все постараются как можно скорее забыть о ней.

Даже те, для которых время года — не только календарь и другое платье, а нечто ощутимое, осязаемое, входящее в жизнь и управляющее ею, движущее ее по ходу извечного цикла. Может быть, для этого необходима связь человека с природой. Ее не обязательно терять и при городской жизни, если только не дать отравить себя опустошенностью цивилизации, лишающей способности иначе мыслить, чувствовать и поступать в зависимости от того — наливаются ли почки на деревьях или падают последние ржавые листья в мокрую грязь. О да, осень — самое красивое время года вначале, даже тогда, когда среди серого камня не видно ни одного позолоченного дерева. Небо то все таки есть, поющее осеннее небо сияет над любыми домами. Но есть и глухая, поздняя осень, последняя уборка, отметание угасшего великолепия, последняя болезнь перехода к мудрой, старой зиме. И всякая осень опасна, если человек не успел, не сумел завершить полагающегося ему цикла, застигнут врасплох, не собрал плодов, и у него пустые руки, если у него нет ни силы, ни надежды, и он не смог защитить себя от надвигающегося холода. Холод может быть очень чистым, очень ясным, но он безжалостно требует ответа на поставленные вопросы. Они становятся слишком важными даже для тех, кому свойственно отмахиваться от них — нет, не удастся, их тоже позовут к ответу: с чем ты пришел? Босиком, когда завтра пойдет — или сегодня уже идет снег? С голыми руками, которыми надо хвататься за холодное мокрое железо — ручку двери или ключ в дом? Или у тебя нет ни дома, ни крыши над головой, и тебя сечет ветром, снегом, дождем? Все гордые птицы улетели на юг, и звали с собой — где же

твой полет, твоя мечта, твоя тоска — та тоска, которая одна только и дает крылья?

Осень так же хороша, как и весна, как и все, вечное для нас — хороша и золотая, и серая тоже, но осень опаснее других времен года, она проникает вглубь, раздирает душу, и если у души нет крыльев, чтобы подняться навстречу ветру — если нет ответа на вопросы — осень губит сдавшихся, поникших — опавшие листья . . .

Но нет, не только опавшие листья — вот эта горсточка людей в унылой столовой с закапанными окнами над выщербленным двором со вздыбленными плитами, где даже от рухнувшего сбоку дома не стало светлее — настолько он безнадежен. Да, они одеты во что-то с чужого плеча, сборное, перешитое из одеял и шинелей, или в облезлые старые шубки и пальто, проделавшие всю войну на городских фронтах — под налетами. Да, у них выпирают кости на лице и плечах, западают глаза. Да, они врут и изворачиваются с подложными — и никто не считает подложными фальшивых документов! — и такими же продовольственными карточками, они покупают или меняют на сотни марок шоколад и лук, топят железные печурки всем, что придется — и не знают, что им делать дальше, мечутся ошеломленно, стремглав или исподтишка — да, все это так, но: это не только то, что стало в двадцатом веке уже привычной, обыденной трагедией нищеты: беженство. Трагедией, потому что для многих бегство значило: рисковать головой, — и многие сбрасывались под откос. Обывательщиной — потому что горизонт у многих уходит в спасенные, протащенные чемоданы — и остается в них, в каких то вещичках, вытаскиваемых из потрепанных чемоданов и через двадцать лет, когда эти чемоданы в который уже раз засовываются под те же железные кровати погнувшихся меблирашек, с примусами, крошками хлеба на столе, замазанными кастрюльками (дырявая подметка, подштопанные перчатки, бантик на закрученных локонах) — во всей той нищенской, хлопотливой, пустозвонной, болтливой и болтающейся, непосильной и неудавшейся эмитрантской жизни, где нибудь в трущобах больших столиц мира, приютивших и такую рвань, наряду с прочей.

Или у многих тоже — потрепанные чемоданы выбрасываются на чердак или в мусор, ноги на толстых подметках ступают тяжело, но твердо, карманы начинают оттопыриваться — на боках, щеки отвисают и появляется уверенный басок или гудящая шарманка: да, иногда даже основательно устроились —, упорядочили жизнь, сыты, обуты одеты — чего же еще? «Чего же еще» не было и в выкинутом чемодане коренного, неизменного, твердолобого обывателя — с головой профессионального боксера.

О нет, эти — и не те тоже. Эти странные, сидящие в столовой случайного Дома Номер Первый люди, непонятные тем,

кто, так или иначе, крушит их судьбу — могли бы гордиться своей настоящей трагедией — если бы трагедией можно было гордиться. Потому что они поверили — так или иначе, потому что они пошли на смерть — так или иначе — потому что их обманули — так или иначе, и не раз, и не два, а снова и снова, и сломленные крылья это значит — разбитые груди, а это уже не просто отмершие листья, сдутые ветром — хотя они падают тоже.

Конечно, очень трудно разобраться в истории, когда рушится мир! Конечно, может быть в ней и не стоит разбираться, если надо спешно решать важные, насущные вопросы! Конечно, что значит чья то большая или просто очередная ошибка, параграф договора, недомыслие какого нибудь премьер-министра, приказ генерала (и в результате еще сколько то там погибших, или еще раз отчаявшихся людей) — если зато достигнуты желаемые результаты в другом. Конечно, почему же вдруг политика должна быть без ошибок, когда они есть повсюду и везде? Примеров много . . .

Ну вот хотя бы этих двух, за столиком у окна, выхватить наудачу — они замечательны только тем, что таких — десятки, а то и сотни тысяч. Они пьют сейчас самогон, подбавляя его в толстые стаканы с оранжевым, отвратительно-сладковатым «лимонадом» — сплошная химия, и на много хуже простой воды. Платон и Владимир. У Платона — высокий лоб. извилистые губы, плечи в разлет, и еще чувствуются на них споротые капитанские погоны. Волосы он привычно откидывает назад, как когда то густую гриву студента. Отец его был ветеринарным врачем в Иркутске, кажется, а он приехал в Москву во время революции — поступать в университет, на математический факультет. Ходил с красным бантом еще в гимназии, с упоением читал революционную литературу, начиная с «Буревестника» Горького и кончая Марксом, весь подгнивающий винигрет левонастроенной русской интеллигенции, и несмотря на то, что первые указы Ленина ошеломили его («лес рубят, щепки летят» — было только некоторым утешением) — он с академическим интересом усердно подковывался коммунистической идеологией. Так же академически, со стороны, вступить в партию еще не решался, хотя чуть-чуть не вступил. Потом, когда отца загнали в лагерь и сгноили на севере — было уже поздно. Но он стал к этому времени специалистом по сложной и мало кому понятной экономической профессии — и жил неплохо, умело выворачиваясь из щекотливых положений — с одной стороны. С другой — в душе — наступило горькое разочарование от обманувшей «свободы», и глаза понемногу раскрывались — хотя он усердно (жить то все таки надо!) — старался зажмуривать их. На войне ему, за высшее образование, сразу дали офицерский чин — для тыловой должности. Воевать

он не мог никак, попав очень быстро в окружение, а потом в плен. В плен сдался охотно: пропаганде о немецких зверствах не верил, как всякой пропаганде вообще — но немцы могут стать избавителями от коммунизма, по крайней мере. Плен тоже продолжался недолго, удалось устроиться в рабочую роту из умирающего с голоду лагеря военнопленных — и Власовская армия показалась окончательной избавительницей от всех бед после рухнувшей было веры и в немцев. Гитлер наделал множество преступных ошибок, но их можно будет исправить, ведь стоит только воткнуть в землю палку с национальным флагом, и пойдет — ну, может быть, не совсем весь народ, но большинство таких же, как он, так же обманутых Сталиным, и, может быть, даже самим Лениным . . . поверил.

Но Власова обманули. Сперва Гитлер, потом союзники. Власов выдан Москве, и такие, как Платон, понимают, что возврата нет — не то, что эти несчастные, которых выдают теперь пачками, если они не сами собираются «ехать домой». Нет, с него лагерей достаточно. А союзники, вместо того, чтобы двинуть сразу на Москву, и раз навсегда освободить мир от худшей еще опасности, чем Гитлер — союзники рушат на каждом шагу мелькнувшую было мечту о великолепном сияющем видении действительной победы над всем долголетним злом. Ходят слухи о каких то страшных договорах, заключенных в Ялте . . . охотятся за людьми. Жутко непонятно и жутко страшно все, и верить больше некому, и не во что.

Это очень краткая, простая, обыденная биография, и в самой обыденности ее и заключается весь трагический ужас, потому что таких, как Платон — сотни тысяч, миллионы — десятки миллионов. А судьбы людей потрясают только, когда они единичны. Чем больше к ним прибавляется нулей — тем неотвратимее они сами становятся нулями — ничем.

Владимир — другое поколение, моложе лет на двадцать. Он родился накануне революции. Стал, как все, пионером в школе, потом комсомольцем — почти, как все. Верил, не рассуждая, непогрешимой партии, самый прямой путь был — в партию, тем более, что беспартийным, как он видел, было труднее устроиться и в институт, и на хорошее место. Он стал кандидатом, потом получил членский билет. Делал все, что полагалось, иногда даже проявлял активность. К концу тридцатых годов стал задумываться над некоторыми вещами — как же так? Ответ получил во время ареста — за знакомство с одним капитаном, с которым часто выпивал. За искреннее недоумение на допросах (как же, член партии, всегда все исполнял, вины за собой не знает) — лишился почти всех зубов и попал в «стоячку» — выволокли на какие то сутки замертво — потом на Колыму, в лагерь. Но там как то сторонился таких же, как он — недоумевающих и предан-

ных коммунистов, несмотря ни на что надеявшихся, что если Сталин узнает, то недоразумение выяснится. Наглая злоба урок и «сук» отталкивала тоже. Владимир был простым, но по существу здоровым нравственно человеком, и если бы не казенный атеизм, опустошавший чуть ли не с колыбели, то вырос бы добрым христианином, как большинство — не успел только. Но в лагере нашлось несколько «бывших» людей, интеллигентов, — и они научили впервые думать. Когда во время войны его выпустили, «чтобы загладить вину» в батальон смертников — сам постарался в плен: с коммунизмом теперь покончил навсегда. Но немцы действительно оказались врагами — в лагере умирали с голоду так же, как и на Колыме. Призыв Власова потряс его, как Христос Воскресе! Он пошел в школу пропагандистов, он испытал такое чувство подъема, как никогда в жизни, он слепо верил генералу, сказавшему настоящее слово, и все власовцы и красновские казаки казались ему действительно братьями, «крестоносцами» (где то услышал это слово) — и он впервые пошел в церковь.

Но Власова обманули. Предали. Те же американцы, присылавшие тушонку и танки советской армии. Капиталисты, помогавшие коммунистам. Это было выше его понимания, и никакой самогон не помогал разобраться в непонятном. Даже больше: ни один человек, которого он спрашивал теперь — вот тот же Платон, интеллигент, притом свой, или латыш — Владек-Разбойник, лихой парень, но жулик, или полковник, тоже здесь в доме, — он писал с Власовым Пражский манифест, или старичок-парижанин, старый эмигрант — никто, никто, никто не мог ответить на вопрос: как же так? Почему? За что? Почему обманули, предали снова?

И таких, как Владимир, тоже миллионы — ненужных нулей для истории.

«Только мы то — не история...» жалобно скулит что-то в душе Платона из Иркутска, Владимира из Воронежа, Таюнь Свангаард из Риги, Оксаны из Киева, «Лампиона» из Астрахани и пани Ирены из Польши, Демидовой из Литвы, и Юкку Кивисилда из Эстонии, старичка из русского Парижа, и фрау Урсулы даже, и сколько их, сколько — не счесть. «Мы люди... просто».

«Человека забыли» — сказал Чехов. И такой тяжелой оказалась эта коротенькая, как аксиома, фраза — конец грустной пьесы о разоренном неуменьем самих же хозяев человеческом уютном гнезде — тяжелой глыбой свалилась она в самую гущу миллионов жизней, прокатилась по всей стране — через все границы...

Разве только в Советском Союзе могли быть такие Владимиры и Платоны? А «тевтон» Ганс из Восточной Пруссии, эс-эсовец за рост и неспособность рассуждать? А, может быть даже, безымянный «Иван», охотящийся за ним? У старичка-парижа-

нина в эту осень ноет грудь, простреленная в Первую мировую войну, и нога, раздробленная под Перекопом, когда он так же исполнял свой долг офицера в гражданскую войну, как... как граф Рона, встретившийся рыцарем на костылях Юкку в Гиссене. У одного Георгий, у другого Железный крест — оба на крови.

— Когда я во время войны перечла «Развеянные ветром» Митчель — сказала Демидова, — то эта книга как то перекликалась с «Белой Гвардией» Булгакова, которую считаю, наряду с «Солнцем мертвых» Шмелева лучшими книгами, написанными о революции. Как все знакомо и близко до боли, и понятно до слез! Лишний раз убедилась, что гражданская война и конец эпохи, который всегда наступает с ней — повсюду одинаковы.

Да, но сперва, чтобы понять это, надо самим увидеть мертвое солнце, или шелковый абажур в теплой комнате, отгороженной от заснеженной улицы — Киева ли, или другого города — только тонкой стенкой, через которую слышны выстрелы за окном, треск ломаемой двери. Тогда — да, самый воздух войны — между Севером и Югом, или чем нибудь другим — становится близким и понятным, и видишь людей и через сотню лет — вчерашними.

— Ну, а через сколько то лет потом, в какое нибудь новое мирное время — наступит же когда нибудь такое? В другой стране, если снова будет война, «простая», или гражданская — самая идейная, и потому самая худшая из всех — то тогда те люди, которые тоже поверят и будут обмануты, которых предадут и они все потеряют — поймут они тогда — вот нас? — сказал Платон.

— Никто не понимает... — У Владимира убежденность пьяного и он, уже не стесняясь, подливает самогон в стакан из вынутой из кармана бутылки. От слегка лиловеющей сивухи оранжевый вначале, а теперь бледно желтый «лимонад» в стакане стал совсем опаловым и не менее опасным.

— Спрашивается, для чего? — ввернул Юкку, подсаживаясь к обоим и похлопывая себя по карману. — Поллитра имеется, господа товарищи, притом первач. Бросьте разбавлять этими помоями, от них еще на тот свет отправишься. Вот я вас не понимаю, признаться, и вопрос для философов... кстати, где наш Один из четырнадцати? Ему бы для диссертации тема: почему человек, животное общественное, и имеющее для общения все данные и средства, половину свой жизни пожалуй занимается тем, что старается, и притом тщетно, быть понятым окружающими, близкими и дальними? Мать не понимает ребенка, муж жену, или наоборот, и каждый — каждого. Комедии, драмы, трагедии — все из-за того же. Нужно, следовательно, изобретать не атомную бомбу, а новое средство человеческого общения и понимания. Прежде всего — психологию, разумеется, а потом поучиться хоть у австралийских дикарей телепатии. Я могу не верить тому, что

говорите, но тому уж, что думаете, должен буду поверить! Многое бы тогда разъяснилось . . .

— Это вы в Австралию собираетесь, и с политики на телепатию съехали? — устало, как все, что он говорит теперь, заметил Платон, лениво разглядывая Юкку. Неужели этот молодой гигант еще такой несокрушимый? Что ему помогает — море за спиной или кисти? Ведь и не таких ломало . . .

— Я, дорогие мои, — начал Юкку, разваливаясь, сколько мог на стуле и осторожно вытягивая ноги — от политики не так давно правда, но зато раз и навсегда отказался, и вам советую.

— А еще интеллигентный человек, — съязвил бывший полковник за соседним столиком, писавший Пражский манифест, и обернулся к ним. — Политика, дорогой Викинг — кстати, это ваше прозвище, или действительно фамилия? — политика вошла в нашу жизнь, хотите вы этого или нет. И хлеб, который вы едите, и самогон, который пьете — нет, спасибо, мне рано еще днем начинать, — это тоже политика, или результат ее, что одно и тоже. Наши деды и прадеды могли позволить себе роскошь предоставить ее своим королям и министрам. Настоящим и будущим они интересовались, поскольку сами не были министрами, только в отношении планов для себя, своих детей и внуков. Им они строили будущее, и если были разумными людьми, то прочно, и могли быть уверены, что и у правнуков, не то что детей, это будущее будет, если сами только не подкачают. Нам же для себя и завтрашний день построить трудно, не говоря уже о детях, а о внуках забыть надо. Зато вся наша жизнь — политика. А вы говорите — отказаться. Как же вы это себе представляете? Уши заткнуть, глаза зажмурить и голову в песок спрятать?

— При всей моей длинноногости на страуса я все таки не похож, но прежде, чем отказаться, скажу вам, что я сделал: оглянулся, вот что. На эту самую политическую историю следовало бы чаще оглядываться. Революции и войны не первый раз случаются. Была великая французская? Была. Участь французской эмиграции до Наполеона или скажем Людовика Восемнадцатого вам знакома? Была великая бескровная в России? Была. Участь так называемой старой русской эмиграции знакома вам? Ознакомьтесь, кто не знает. И тогда увидите, что лучшие силы этой эмиграции, на всех уровнях, политикой занимались меньше всего, если вообще, зато и добились многого. А те, кто трещал о каких то партиях, программах и прочем, искренне или от нечего делать — все кончали тем, что либо проваливались с треском, либо погрязали по уши в дрязгах и интригах за какое то призрачное водительство. Я — эмигрант молодой, то есть недавний. Моя страна погибла — для меня во всяком случае. Боролся я за нее честно, с оружием в руках. Удалось уйти — мое счастье. Подстрелили, но не ухлопали товарищи. Знаю, что в Эстонии долго еще

будут партизанить по лесам те, которым терять больше нечего, а уйти невозможно. Может быть и я, если вспомню о них ночью, то завою, но помочь не могу. Если в сороковом году высокие наши гаранты в Лондоне бросили нас на произвол судьбы, дав советчикам захватить Балтику, так чего же ожидать от них теперь, когда они — союзнички Москвы? Надежды никакой. Значит, я предоставлен самому себе и свободен, как рыба в море. Смерть монарха освобождала каждого от присяги — помните? Нашего президента убили тоже... А то, что от своей страны я унес с собой, ношу в себе, в крови и в душе, в костях и мыслях — это я обязан действительно сохранить и не изменять никак. Но к политике мое эстонство — можно так сказать? — никакого отношения не имеет. Уеду ли я в Австралию, или в Канаду, но в Германии вряд ли останусь. Слишком мало здесь ненаселенных мест, пустынь нету, лесов тоже. Разве что в крайнем случае на море, к фризам на острова подамся, рыбу ловить. Но до того все таки постараюсь за океан. Что и как буду делать — не знаю. Мне тридцать лет, я здоров, и простреленный бок не помешает пойти на первых порах ни в матросы, ни в рыбаки, или лес рубить хотя бы. Сперва, чтобы отработать свой переезд, оглянуться, примениться к местным условиям. А потом найти такую работу, которая давала бы мне возможность писать картины тоже, чтобы вот моя, эстонская живопись не пропадала бы заграницей, поскольку она — это моя работа для моей страны, мой вклад, а большой он или маленький — это уже не от меня зависит. Но зато от меня зависит использовать мои силы, сколько их есть, а не зарывать свой талант в землю — или в бутылку. И поучиться чему нибудь можно всегда и везде, вот даже у тех же австралийских дикарей телепатии — полезная вещь! Раньше богатые люди платили большие деньги за свои путешествия, а бедные с трудом получали стипендию, чтобы поехать заграницу учиться. Теперь это нам ничего не стоит, потому мы и без копейки денег заграницей. Так в чем же дело? Сидеть на чемоданах и возвращения ждать? Чуда? Чудеса бывают тоже, верю, только ждать их бесполезно. Если случится — так будет. Если же нет — то распылять свои силы на мышиную суетню, программки и партийки, собрания и резолюции — извините, я не о личностях говорю, а вообще — мне это не только смешным, но каким то унизительным даже кажется, жалкой попыткой с негодными средствами. Имеете вы такую возможность, чтобы из-за границы подойти с большой силой к границам своей страны, или взорвать их извнутри и совершить великий переворот? Нет? Ни одна эмиграция еще такой силы не имела и не будет. Так чего же стараться зря, и свои силы не только в землю зарывать, а на ветер пускать?

— А вы не допускаете, что если удастся разъяснить...

— Если...! Не забудьте, что переворот — это всегда война в малом масштабе, а может быть и в мировом... и какое дело Джону из Вашингтона до моего Таллина, скажите? Он повоевал уже, и хочет только одного: домой. Понятно вполне, и упрекать его за это нечего — сами бы сделали на его месте то же самое. Ну допустим, что сможете разъяснить ему настолько, чтобы он оставил вас в покое, а не выдавал бы Москве — и то уже будет хорошо. И дальше объяснять можете, отчего же нет. В этом объяснении — задача всякой эмиграции, и французских маркизов, и наша. Вы думаете, что я не собираюсь объяснять всякому встречному и поперечному? Разумеется. Лет через пять нас начнут слушать — раньше не услышат, не мечтайте. А лет через десять начнут задавать вопросы. И если еще двадцать лет пройдет в таких объяснениях, то скажут нам наконец: мы вас слушали и поняли, но вы говорите о том, что было двадцать лет тому назад, а за это время произошли разные другие события, народилось новое поколение, и там и здесь, и вы уже не знаете ни новых условий, ни жизни... за выслугу лет пожалуйте звание профессора истории — нам не жалко, языку у вас мы тоже поучиться можем, но вообще то вам пора уже на покой... а дальше мы сами справляться будем — и без вас.

— Перестаньте, Викинг! Вас послушать, так одно остается — повеситься!

Викинг удивленно приподнял брови. Ах, эти славянские интеллигенты!

— Почему? никак не понимаю. Почему мы должны непременно приходить в отчаяние, если дадим себе труд посмотреть на вещи здраво и трезво? Сами же проповедуете, что без политики в жизни не обойтись, а в ней чувства играют правда большую роль, но не главную. Я вполне согласен с Демидовой, которая говорит, что если еще нет пушек, которые сами бы стреляли, а стреляют из них все таки люди, и всякая диктатура держится не на штыках, а на тех людях, которые держат эти штыки — то люди играют не меньшую, а может быть даже большую роль, чем эти штыки и пушки... Принятие во внимание чувств еще не исключает трезвости оценки. Не спорю, что произвести операцию над собой — отсечь от себя или зачеркнуть, пусть не все, но некоторые идеалы — это больно, невыносимо больно. Да, не кривите губы от такого старомодного слова, как идеал. Все равно без него не обойтись, если вы считаете себя человеком. Но с некоторыми идеальными понятиями приходится расстаться, — может быть нашему поколению только. Преданность родине — идеальное понятие, неправда ли, все равно, выражается ли оно в «за веру, царя и отечество», или иначе. Но если родины нет — и не будет долгое время — то этот идеал отпадает.

— Ну, а если родина позовет? — спросил Владимир.

Викинг хотел что-то видимо сказать, глаза у него блеснули, но он еще больше прищурил их и сдержался.

— «Простит вашу вину» — как это говорится — это вы хотите сказать? — процедил он сквозь зубы. — Вы забываете, молодой человек, что я — балтиец. У нас было, правда, несколько сот коммунистов — но все они сидели в тюрьме — или в Москве, куда им и дорога. Нас просто раздавили, и я отступил вместе с другими. Но, если бы я был русским, то поверьте, для меня был бы вопрос только в том, прощу ли я своей родине то, что мой народ наделал на ней, а не в моей «вине» с советской точки зрения! Нет, я не из тех, кого можно «позвать». Сейчас — некому. Потом — будет поздно для нас.

— Что же остается? — почти крикнул Владимир. — Сдаться без боя?

Викинг усмехнулся.

— Сдать в архив ваш пафос, прежде всего. И попробуйте сражаться не за тот идеал, который рухнул, а за собственную жизнь — она тоже никогда еще не давалась без боя. За то, чтобы дать что нибудь другим — и близким, и просто людям. Вы спрашиваете, что остается, когда рушится само основание, на котором построен был мир? Остаются прежде всего — люди. Если их у вас нет — найдите. Люди всегда найдутся. И не забывайте о себе — потому что ради собственного достоинства вы обязаны думать о себе тоже, и только достигнув независимости можете дать что нибудь и другим. И есть еще и мир, и солнце. Дается все это даром, но если вы берете и не даете ничего взамен, оставаясь пустоцветом — горе вам!

— Правильно значит, заметил ваш Один из четырнадцати — улыбнулся Платон — что же еще остается нам, как не заниматься философией, и смотреть в корень вещей?

— Корни должны давать побеги, не забудьте — усмехнулся Викинг, вставая и расправляя плечи, и в такт мыслям улыбаясь Демидовой, сидевшей дальше у окна. У нее в стакане была налита густо коричневая жидкость — подболтала, себе значит нескафе в лимонад — и она быстро писала на узких полосках шершавой бумаги. Определенно сочиняет что-то — подумал Викинг, когда она подняла напряженные, обдумывающие глаза и встретив его взгляд, улыбнулась в ответ.

Еще дальше сидело двое. Эти не жили в Доме Номер Первый, но заглядывали иногда, и Викингу, как всегда, хотелось подойти к одному из них, невысокому человеку с круглой головой, круглыми плечами и почти немигающими, холодными до дна глазами, и, не говоря ни слова, бить его тяжелым кулаком, сокрушительными ударами, долго и на смерть, чтобы не встал больше. Это дикое желание появилось у него как только он увидел его в первый раз, и только потом прошел зловещий слух, что он повиди-

мому чекист, вылавливающий для Смерша людей. Второго, с которым он постоянно был вместе, новые эмигранты тоже определили сразу: прохвост, партиец и карьерист. Своих они узнают, наметался глаз! В его присутствии разговоры затихали сразу — от обоих несло мертвечиной. Только второго не стоило даже бить — и руки подавать тоже, хоть он и старался при случае разыгрывать из себя рубаху-парня, не выпуская притом собеседника из присматривающихся, хитрых и хамоватых глаз. Надо заслонить от них Демидову, на всякий случай.

Викинг шагнул к ее столику.

— Пишите — или записываете?

— Вот именно — улыбнулась она облегченно — хотелось записать. Слышала на днях историю... знаю обоих действующих лиц. Вы, между прочим, тоже. А настроение у меня сегодня то ли от этой истории, то ли вообще, самое элегическое... ах Боже мой, рояля нет. Села бы и играла «Осеннюю песнь» Чайковского или такое же вроде — всегда можно найти выход в музыке: все растворяется, и каждый звук, то ли серебряным молоточком кует, то ли колокольчиком звенит, не песня, не музыка даже, а мельчайшая серебряная пыль сухого чистейшего снега просеивается сквозь все, что накопилось — и очищает его, и — все проходит. А так — получилось вроде стихотворения в прозе, самой неловко.

— Я только что согласился, что философия — это пожалуй единственное, что нам осталось. Прибавлю еще — лирика для поэтического народа. Элегия у вас, говорите. Я вот не поэт, а какие бы сейчас сказочные туманы рисовал бы...!

— Оксана достала же краски, и рисует. Неужели вы не можете?

— Оксана свои маки и подсолнухи на продажу малюет, а настоящие картины тоже сейчас не станет... И не отстоялось у нас еще как следует пережитое в душе, и наше безвременье слишком шатко, чтобы создать что то довлеющее в себе, могущее остаться... а элегию можно прочесть?

— Да, только если узнаете, то молчите, конечно. Но на вас можно положиться. Кстати, Викинг, откуда вы так прекрасно по русски говорите?

— Вопервых — мать моя русская — из сентов, знаете, из Печерского края. Во-вторых, самые близкие приятели по Академии русские были, и первую любовь Ниной звали... а в третьих если я не ловил рыбу и не рисовал, то забирал охапку книг подмышку, — а у меня в охапку много наберется, и все подряд, от доски до доски... читал порядочно. Ну — ка — давайте. Бумага у вас я вижу тоже поэтическая — все буквы расплываются. Надо вам будет приличной достать. Ничего, почерк я разберу, а вы покурите пока. Почему название такое «На самом берегу?» У самого края берега, а за ним уже — ничего?

Он придвинул к себе листки, а Демидова благодарно закурила настоящую сигарету и подумала, определяя в который уже раз («чисто по бабьи» усмехнулась про себя): «золото, а не человек»! Но самый глубокий литературный и психологический анализ не скажет, в сущности, ничего другого ...

А через несколько столиков Платон опять пьет с Владимиром — хотя, когда они не пьют, и откуда берется только ... Умные глаза у Платона, серые и мягкие, и можно поверить пани Ирене, что такие взглядом целовать могут ... но она просмотрела, что лоб слишком скошен, а губы слишком извилисты — как и руки. Бедная пани Ирена! Нет, может быть дать ей прочесть это «стихотворение в прозе» и посоветовать поставить точку, заторопиться на вокзал, к поезду, который пойдет куда угодно, только подальше, от того края туманного берега, где она все еще стоит сейчас — и притом одна? Лучше не звать человека, если стоишь в тумане — и знаешь, что никто не услышит ...

«Этот снег за окном скользит и кружит, как воспоминанье — читает Юкку. — В двух шагах еще видны танцующие хлопья, а дальше уже вплетаются в дымку ласковой, обволакивающей метелицы. Кажется — стоит только сделать эти два шага, и вот за следующим — уже белый дом с теплыми блестящими окнами, ступени крыльца, и санки остановились сразмаху, тряхнув бубенчиками, и кто-то поддерживает за локоть, стряхивает с шубки снег, сцеловывает с губ веселые снежинки ...

Прости, милый, мое элегическое настроение. За окном — грязные развалины чужого города, белого дома нет, да и не было вовсе, а снежинки с губ сцеловывают только глупые влюбленные, неправда ли? Но надо же о чем нибудь поговорить ... Мой поезд идет через час, твой позднее, и вот видишь, мы случайно встретились, и уже все сказали друг другу ... Ах, эти разговоры мимоходом после долгих разлук! Сперва — чудесное спасенье: бомба падает рядом, пулемет дает осечку, петля снимается с шеи, и поезд идет дальше по рельсам, что иногда — тоже чудо ... А о самом главном, о том, чем мы действительно живем — ни слова, или вскользь, чуть-чуть, краешком — и уже мимо. Потом, когда нибудь потом, когда все уляжется, успокоится — и забудется, наверно ...

«Но надо же о чем нибудь поговорить! Если о себе нечего рассказывать, так хоть — ну вот историю этой пары напротив нас. Видишь — они тоже чего то ждут в этом мерзком пустом кафе. Тот же столик с кружками тошнотворного оранжевого пойла, пепельница с окурками. Год тому назад эта женщина выглядела иначе. И его плечи тоже прямее откидывались назад, и улыбка была другой тоже. Год тому назад они встретились. Тогда тоже шел снег, но казался декоративным на фоне пожариц, такой необычный в Берлине, и сразу столкнувший их обоих, как хлопья.

С неба падал не только снег, но и бомбы. А после налетов особенно хотелось жить. Может быть, именно поэтому... Может быть, он тоже сцеловывал у нее снежинки с губ на прогулках по «берлинскому Колизею», но одно несомненно: это было счастье. А знаешь — «Счастье человеческое хрупко. Счастье человеческое бьется — да хранит его высокое Небо!» Но ведь небо горело тогда... и вот где то, на какой то машинке был сухо отщелкан приказ: его штаб переводится на Куришер Гафф... Знаешь эту узенькую желтую полосочку на самом верху карты? Рыбачьи поселки, одинокие виллы, желтые дюны, растрепанные сосны, и ветер, балтийский ветер!

«После разбомбленного Берлина, черной гари, ржавого железа — белая вилла на самом берегу, окна из стекла, а не из картона, ковры на полу, а не в свертках в погребе — островок уже утонувшей жизни. Вилла стояла на самом выбеге сосен к морю, и казалось, что война шла так далеко... о войне напоминал только телефон и взрывающийся иногда рев мотора приезжавшего автомобиля. Можно было бродить по дюнам, слушать ветер, несущий клочья шершавой пены, кричать любимое имя... может быть, он действительно посылал его — ветру? А вечерами у камина... может быть, он действительно слышал поцелуйный шопот? Письма он писал, во всяком случае. Письма приходили в бомбящийся город, и среди налетов, пожарищ и дыма из их строчек вставала белая вилла. Еще немного подождать, неделю, несколько дней еще, и он устроит, она сможет приехать, они будут вместе. В белой вилле на самом берегу.

«Ожидание катастрофы не меняет ее неожиданности. Линия фронта дрогнула и сломалась, армии покатились и заметались одна в тылу у другой. Телефонная линия была прервана. Курьеры не возвращались. В пустоте неизвестности резко заскрипел песок под шинами автомобиля. Скорее, скорее, через минуты они будут отрезаны! На столе осталось письмо с недописанным «люблю». Дым недокуренной сигареты бродил в воздухе, неуверенно нащупывая что-то и приникая к окнам. Скоро в них может быть заглянут другие люди, распахнут двери, затопчут ковры. Или дом ахнет от удара, удивленно осядет и поднимется огненным столбом к испуганным соснам. Погибли музеи, дворцы и церкви, города и миллионы жизней. Можно ли жалеть о брошенной вилле?

«Счастье человеческое хрупко». Да, вот сейчас, когда они, через год почти, встретились снова, то — это не встреча больше. Почему? Ах Боже мой, причин много, они всегда печальны, и не все ли равно, почему. Конечно, если что нибудь может потеряться так, так стоит ли горевать? Но ведь важно иногда не то, что мы теряем — а что это для нас значит. Знаешь, если спросить сей-

час ее — какую из потерь ей жаль больше всего — то она ответит: «Белую виллу, в которой я никогда не была. На самом берегу» . . .

«Нет, снежный менуэт за окном настраивает меня чересчур элегически. Прости, милый. Мне уже пора на вокзал. Вот видишь, в этом зеркале на стене пустого кафе тоже больше нет никого — только снег за окном».

Викинг сложил листки, и протянул их Демидовой вместе с начатой пачкой сигарет.

— Это вам вместо гонорара. Что ж, если нет рояля . . .

— Я уже сказала — элегическое настроение. История, конечно, самая обыкновенная, случается почти с каждым. Описать можно по разному, и у меня совсем не вышло так, как хотелось. Но все таки: ведь и такие встречи, какими бы тривиальными они ни были — искренно переживаются, и оставляют след. Вот в этой трещинке все дело. Человек говорит, поступает как то — и стоящий рядом с ним не понимает, почему, откуда горечь, жесткость или еще что нибудь берется, а если знать — то оказывается, что ниточка протянуласть и какой нибудь вилле на самом берегу, которой в сущности и не было вовсе, но если бы . . . «если бы» очень много значит в жизни. Иногда и ломает ее.

— Вы говорите хуже, чем пишете, но зато умнее. И хорошо, что иногда ставите вопросительные знаки . . . Юкку не нужно было даже следить за взглядом Демидовой, чтобы узнать Платона. А «она»? Сама Демидова? Таюнь? Не хотелось бы, чтобы кунингатютар . . . Оксана? Та не станет мечтать о вилле. Пани Ирена? Наверное. Бедная пичужка. — Дайте ей прочесть — закончил он вслух — и отправьте на поезд!

6

Дом Номер Первый — навес у дороги, остановка на пути, открыт и дождю, и ветру, а больше всего — сквознякам. В нем не задерживаются долго, и никто не думает оставаться всерьез. Вся беда в том, что никто из обитателей не знает, что ему делать и как жить дальше, потому что совершенно неизвестно, что будет. Можно, конечно, попробовать устроиться в какой нибудь лагерь. Большинство дипи и попало туда. Упорно говорят, что потом из этих лагерей будут вывозить за океан, в канцеляриях и теперь уже записываются, строчат бумаги, придумывают бесконечные легенды, перевирая каждый раз старое вранье: где родился, что делал, был ли в армии, а если, то в какой? Без вранья обойтись невозможно. Как сказать, например, что ты из Харькова, Одессы, или, чего доброго, из самой Москвы, и не хочешь обратно, а наоборот? Оксана из Киева у немцев на кухне работала, когда город взяли. Вместе с ними и уехала, потому что отца чекисты давно уже в лагерь забрали, а мать с голоду умерла. Значит, Оксану могут с остальными остовками отправить домой, а если она не хочет, то за ней будут охотиться, ее будут выволакивать в грузовик, вместе с другими, упирающимися, хватающими за руки, бросающимися на колени и под колеса...

...и немудрено, что Оксана, так же, как, и тем более, лейтенант Витя из соседней комнаты — лейтенантом он был и в Красной и во Власовской армии — приютились в Доме Номер Первый и сделали себе удостоверение Юрьевского комитета. Старичек-парижанин, продающий настоящий коньяк по рюмкам, делает удостоверения в комнатке внизу, с печатью и фотографической карточкой. Старичек-парижанин — интеллигент, у него старомодные понятия, и хотя он прекрасно понимает, и жалеет, но форма должна соблюдаться: надо поручительство человека с настоящим паспортом, что тот, мол, знает Оксану или лейтенанта Витю по совместной жизни в Литве, Болгарии, Латвии. Балтийские страны лучше. С балканскими еще неизвестно, как, а вот аннексию Балтики союзники почему то не признают, слава Богу. Балтийцы же — народ крепкий, и русских среди них оказывается так много, что они себя даже эмигрантами там не считали.

Мы, говорят, меньшинством были, а не колонией, мы, мол, коренное население Прибалтики. Счастливцы!

За «эстонцев» ручается обычно Юкку Кивисилд, он же Викинг, за «латышей» — Таюнь, часто являющаяся с целым отрядом «крестников». Специалистка по «полякам» — пани Ирена, соседка Таюнь слева. Пани небольшого роста, бывшая пепельная блондинка. Теперь в жидковатых волосах больше пепла, чем блонды, лицо втянуто, вжато в быстро снующую птичью головку: слишком выпуклые глаза и острый нос. Глаза тоже бывшего голубого цвета, и смотрят ступенчато: сперва прямой быстрый взгляд, потом поверх головы. Будто сперва в очки, а потом поверх стекол. Но очков не носит. Губы часто испуганно улыбаются невпопад; сжиматься им приходилось чаще. Руки прозрачно белые, узловатые, очень маленькие и быстрые. На мизинце тяжелое, не по руке, видимо суженное из мужского перстня кольцо с громадным, в сустав, топазом. Камень заинтересовал бы знатока — в нем странный огонек. Она не снимает его, кольцо срослось с рукой, как узел на вене. Эти узлы у нее раскинуты на руках, многоточиями, и видно в многоточия ушла и вся остальная жизнь.

Пани действительно из Варшавы, по фамилии — Самбор — старое, хорошее имя. Кажется, была в немецком концлагере, и у нее никого нет. На редкие вопросы предпочитает отмалчиваться, смущается, снует головой и растерянно улыбается. Говорит вообще немного, но старается присоседиться к кому нибудь, жмется к людям. К Таюнь прилепилась, говорит с нею больше, чем с другими. «Пани Ирена» — назвал ее впервые Викинг, с оттенком почтения в голосе. Таюнь еще удивилась — почему, но Викинг — он все подметит! — услышал однажды, как Таюнь, пожав плечами, сказала: «Это для меня китайская грамота!» — и подхватил:

— В таком случае обратитесь к пани Ирене. Да, серьезно. Она до Конфуция в оригинале добралась, и такие тонкости китайской живописи мне однажды объяснила, что когда я следующий раз в музей пойду, то ее в чичероне возьму — есть чему поучиться у этого надтреснутого колокольчика...

— Да ну? Вот бы не подумала.

— Это потому, кунингатютар, что вы думаете, как и большинство людей, по первому взгляду. А думать надо всегда со второго взгляда начиная. Советую взять себе за правило. Причем заметьте, китайский ей вообще был нужен, как дыра в неводе, значит совсем по любви, и за это уважения еще больше. Французский она тоже знает, но это у такой, как Самбор, меня не удивит, хотя имения свои они давно потеряли, повидимому. Она мне кажется в телеграфном агентстве в Польше служила, китайские известия переводила, зато наверно и в концлагерь по-

пала. Больше я не расспрашивал — я всегда жду, пока мне сами скажут — особенно в наше время...

* * *

Может кто нибудь, из прекрасного далека, оглянувшись на Дом Номер Первый, или ему подобные, — или, по своей счастливой судьбе, только познакомившись по рассказам — скажет с благородным негодованием; что же это за сборище? Накипь из сточной канавы, не человек, а дробь его! Кого ни возьми — все сплошь нравственные калеки и уроды. («Мое уродье» — говорил, между прочим, и Викинг, только ласково).

«Сумасшедший дом» — выражение такое же избитое и неправильное, как и то, что человек ест, «как птичка». Птичка, простите, съедает в день не меньше собственного веса, а ни один человек даже пуда в день не сожрет, хотя минимум три весит! И в сумасшедшем доме могут раздаваться самые неожиданные выкрики, правда, но порядки в нем, заметьте, есть, и суровые притом.

Нет, это не сумасшедший дом, хотя нормальных людей в нем нет, конечно.

* * *

Мысль о литературном вечере в Доме Номер Первый пришла, конечно, Разбойнику. До сих пор он изворачивался благодаря двум своим качествам: счастливой звезде, сиявшей над всеми его, не только двусмысленными, но и многосмысленными начинаниями, и силе собственного убеждения, что все сойдет с рук. Он сразу бросался в глаза — и играл на этом — яркой сединой, резко схватившей прядями темные молодые волосы (от костра в Праге, над которым его повесили за ноги), и вдохновенными, тоже яркими синими глазами. Врал он тоже вдохновенно, и это обессиливало даже официальных лиц. Услышав восторженные рассказы поэтов о литературном вечере в американской вилле, он задумался, и через несколько дней громогласно объявил в столовой:

— Господа товарищи! Мы тоже не лыком шиты! Вместо какой то там виллы, адреса которой никто толком не знает, у нас здесь есть открытый дом. Предлагаю начать разъяснительную кампанию американцам, чтобы они поняли, кто мы такие. На комиссиях много не поговоришь, в лагерях тоже. А здесь так сказать, нейтральная почва. Все пойдет под маркой фрау Урсулы, как она немка, и получит за это три пачки сигарет. В крайнем

случае полкартона — пять. За это мы занимаем столовую с двух до шести. За вход с посетителей — сигареты. Со своего брата, дипи, добровольные пожертвования — начиная с двух. Со знатных гостей — унровцев — пачка. Таким образом мы окупим зал, а остаток поделим пополам. Половину Демидовой, половину мне, как организатору, тем более, что мне надо будет расплатиться с помощниками, которые будут разносить объявления, и писать их.

— А разве выступать будет только одна Демидова? — послышался голос.

— Только она, плюс выступления с мест, иначе времени не хватит. Вообще за то, что она пишет, я сигарет не дал бы. Но ее «Дипилогическая азбука» — это вещь. Произведение краткое, ясное и скандальное. Как раз то, что нам нужно. Поэзией унровцев не прошибешь, слезами тоже, но можно попробовать юмором, хотя бы висельника. Родился же у них Марк Твэн — значит, должны понимать.

— Разбойник, — сказала Оксана, поправляя выпадавшие шпильки из тяжелых кос, замотанных вокруг головы — с таким вечером и сесть можно. С чего вы взяли, что американцы поймут наш юмор? И места в этой Азбуке есть такие, что за них очень просто в тюрьму угодишь. Вообще — опасно. Сколько людей я знаю, которые страшно обиделись и грозились разнести Демидову! Ей, кажется, и окна били даже в том сарайчике, где она живет. Я смеялась, правда, но все таки... Подала она нас, как на тарелке, а нам сейчас с властями откровенничать нечего. После такого чтения — и откуда вы возьмете таких, которые по русски понимают — прикажут оцепить дом, и всех нас на грузовики, в советскую миссию выдадут. Нет, как хотите, а я побоюсь придти, да и многие другие тоже наверно.

— Волос в ваших косах Оксана, длинен, а ум . . . ! Настоящих американцев, чтобы по русски понимали, конечно нет. Но старые эмигранты и вообще другие, которые как то примазались, есть. В комиссиях они сидят тоже и нас с вами регистрируют. Надо их просветить, что и к чему — авось в следующий раз на наши липовые документы сквозь пальцы посмотрят, если Азбуку вспомнят. У меня есть идеи на этот счет, и вообще дело решенное. Объявление я написал, пояснения буду давать сам, и Демидову обломаю, чтобы выступила. Сигареты ей тоже нужны, и все время поджимать хвост нечего, иногда и нахрапом брать жизнь надо!

Насвистывая победный марш, Разбойник удалился, решив заранее, что шум, раздавшийся за его спиной, ничем иным, кроме «восторженного гула толпы» быть не может.

* * *

— А вы шикарно устроились — сказал Разбойник, оглядываясь.

Демидова жила на задворках скромного семейного домика в предместье. Сарайчик с одним низким и широким окном был построен еще в доброе мирное время, из толстых досок.

— И тепло как!

— Ну да, целый месяц обклеивала стенки. Посчастливилось достать клейстер с бумагой в академической типографии, и вдобавок еще мучным супом развела, мне читатели принесли суп из лагеря, а пани Ирена научила: китайцы, говорит она, из бумаги все делают, стенки тоже. Вот один слой на другой и клеила, пальца в два толщины вышло, и щели все пропали.

Стенки сарайчика пузырились кое где, но макулатуры видно не было — поверх ее была голубоватая оберточная бумага большими листами. Демидова очень гордилась наклеенными на нее листьями дикого винограда, сорванными в соседнем саду за забором: настроение и уют! Печка была очень старой, но чугунной, и держала тепло. Рядом лежали в картонках припасенные дрова — обломки из старых развалин и кучка брикетов. У стены стояло ведро с водой, около окна некрашенный стол с двумя табуретами, у второй стены железная койка, застеленная соломой под серым солдатским одеялом. Половина окна была выбита, и вместо стекол подмазано зеркало.

— Это окно били? — подмигнул Разбойник.

— Одно и есть. Но я увидела где то... комод с зеркалом. Ящики вытащила на растопку, а зеркало пригодилось вдвойне. Все таки стекло, и смотреться можно местами, где амальгама не облупилась...

— А как вы в академическую типографию попали?

— Ее мы с пани Иреной нашли. Пошли посмотреть — может быть, какая работа все таки найдется, я ведь всю жизнь по типографиям провела, тянет, и русский шрифт искала, чтобы мою Азбуку издать, а в академической, сказали нам, все шрифты есть. Пани иероглифами китайскими заинтересовалась — представьте, тоже были, и ей сразу за то уважение и почет. Она им несколько дней помогала разбирать, — во время войны все шрифты в кучу свалили. Заплатили пустяки, конечно, но зато старой бумаги нам дали — сколько хочешь. Из обрезков мне и Азбуку набрали и отпечатали. Продается хорошо, вся разошлась уже, не все же ругаются и стекла бьют, многие от души смеялись, для них я и писала...

— Относительно Азбуки и я пришел. Но сперва другое дело: вот вам еще три парашютных клина, по пятьдесят марок, как всегда, итого полтораста. И еще два клина по двадцать марок, потому что они не белые, а рябые, но вы что нибудь да сделаете.

Портфель Разбойника походил на бочку, опадавшую, пока он выматывал из него длиннейшие косые клинья парашютного шелка. Каждый клин был из пяти-шести частей, метра полтора внизу, сантиметров тридцать вверху. Все швы были прошиты вдвойне тонким крученым шелком. Парашютный шелк был в большом ходу, — из него шили белье, платья, блузки. Демидова часами сидела с пани Иреной, тщательно распарывая иголкой нитки, чтобы потом ими же шить и вышивать гарнитуры белья на продажу.

— Белья вы мне дали прошлый раз три гарнитура — считал Разбойник. — По триста марок — итого девятьсот. Двести, скажем, за шелк — семьсот с меня... Вы за неделю сколько гарнитуров белья наковыряете?

— Три, иногда три с половиной, если порется быстро и вышивки поменьше...

— На сигареты значит хватает.

— Я махорку курю, дешевле.

— Так вот вам сигарета, и теперь к главному делу перейдем. Я устраиваю вечер с вашим выступлением и моими пояснениями. Гонорар — сигаретами. Думаю, что будет много, а если махорку предпочитаете — я откуплю. План у меня такой...

Разбойник, блестя глазами и широкими жестами, пояснил однако только половину плана. Суть ей нечего знать. Настоящая же его идея заключалась в том, что он решил обработать несколько человек из УНРРы. Скоро, говорят, она преобразуется в другую организацию, и та будет по настоящему ведать переселением за океан. Сам он еще не решил, будет ли, и куда переселяться, но связи — это все, и новые заработки всегда возможны... а как к ним подойдешь, к такому начальству? Самогоном не угостишь, а явиться просто, и скажем часы поднести — так и выгнать могут. Тут же дело чистое: литература. В крайнем случае — возмутятся, но простят, а в худшем...

— К скандалам я отношусь философски — сказала Демидова. — Тем более, что попрошу Викинга рядом со мной встать — поостерегутся морду подставить. Сперва я очень расстроилась, что многие не поняли. Но я скажу несколько вступительных слов именно для тех, кто не понял.

— Публику подберу, не беспокойтесь. С разбором, не каждому свободный вход. Значит, договорились. А вы бы еще кого привлекли к этим парашютам, пусть глаза себе портят, а вам половина за идею пойдет...

Когда он ушел, Демидова задумалась, и не заметила, что на махорочной самокрутке навис тлеющей уголек корешка. Уголек упал, прежде, чем она, ахнув, смахнула его на пол, — и в белом парашютном шелке лежавшего на столе клина осталась аккуратная круглая дырочка с коричневыми краями. Хорошо еще,

что попало в самый узкий угол — а то чистый убыток! Горестно поругиваясь, Демидова рассматривала дырку — и вдруг ее осенила вдохновенная идея. Края дырки были как оклеены тончайшей нитью, слегка выпуклой бежевой корочкой. Ну да, ведь это искусственный шелк, и от огня... подшился сам собой, никогда такого тонкого рубчика иголкой не сделать. А что, если...

Демидова схватила ножницы, отрезала узкую полоску шелка, порылась в ящике стола, вытащила длинный гвоздь, вбила его в кусочек палки, и открыв дверцу топившейся печки, принялась сосредоточенно поворачивать гвоздь в огне, чтобы он раскалился. Потом осталось только провести раскаленным гвоздем по краям полоски шелка — чтобы получилась подрубленная лента, сама собой собиравшаяся в сборки.

— Открыт новый секрет производства ! — торжественно объявила Демидова остывшему гвоздю, за неимением других слушателей. — А еще говорят, что поэты непрактичны! Из таких оборочек сколько воротников сделать можно... ! И на блузки...

Надеть белую шелковую блузку было бы не только первой стадией воспаления легких, но и полной безвкусицей при окоченевших руках. Из-за этого пришлось со вздохом отказаться и от «моцартовских» манжет, которые так хотелось сделать. Но воротник к платью вышел такой, что Оксана, которую Викинг подхватил все таки, как она ни упиралась — только ахнула, и тут же начала соображать, что если дать кусочек шпека Демидовой, то может быть, она согласится сделать ей такой же...

В столовой пансиона на Хамштрассе набралось столько людей, что Разбойнику пришлось «Удалиться в альков», как он сказал, и открыть дверь в смежную комнату фрау Урсулы, выставив ее на кухню за еще одну пачку сигарет. Лучшие стулья он вытащил в первый ряд, усадив почетных гостей из УНРРы. Остальные разместились, как могли, сидя и стоя — всем было интересно послушать.

Демидова волновалась немножко, когда Разбойник потряс заливчатым колокольчиком, тоже заимствованным у фрау Урсулы, и объявил, что программа начинается.

— Мне бы хотелось сперва сказать несколько слов в свое оправдание — начала она и взяла лежавшие на столике листки, исписанные лиловым карандашом. — Вот письмо, полученное от одного читателя, который пишет, что обращается от имени многих других. Из какого лагеря передали это письмо — почта ведь теперь почти не ходит — так же безразлично, как и его фамилия, хотя он подписался. Но важно то, что он пишет. «...когда я прочитал ваш рассказ, то не мог поверить просто, что его автор и автор 'Дипилогической азбуки' — одно и то же лицо. Как вы могли в этой Азбуке так посмеяться над нами! Очевидно, вы

сами не видали страданий и у вас спокойная счастливая жизнь, но это не дает вам еще права . . .»

— И так далее . . . Демидова положила листок на стол. — Повидимому, это не только мнение одного автора письма, потому что он его только писал, а другие выбили стекла в сарайчике, где я живу. О вкусах и взглядах не спорят, но фактические данные следует уточнить. В эту войну у меня умерла мать, пропал без вести муж, сестру увезли во время советской оккупации, брат убит на фронте, а две мои дочки погибли при налете . . . Живу я пока что в сарайчике и подголадываю, как все. О «счастливой спокойной жизни» при таких обстоятельствах пожалуй говорить не приходится. Но я считаю, что все время плакать невозможно. Один наш большой поэт сказал, что «смеяться вовсе не грешно над тем, что кажется смешно», и никакого греха я в этом не вижу.

Она говорила спокойно и ровно, без нажима, и Викинг, столбом подпиравший потолок у стены за нею, одобрительно качнул головой. По залу пронесся легкий шум, и наступила неловкая пауза — нелепо же аплодировать человеку, только что заявившему, что он потерял всех своих близких?

— Браво! — крикнул на весь зал Викинг, мгновенно схвативший положение — так руля держать, Демидова! Кип смайлинг!

«Зал встал, как один человек, и устроил автору долго не смолкавшую овацию!» выскочил вдруг вперед тоже нашедшийся Разбойник, и все действительно, последовали его команде, как отдали честь. Аплодисменты были слышны, как потом уверяла фрау Урсула, через весь коридор на кухне, где посуда так звенела, что он должна была посмотреть, не разбились ли стаканы.

Демидова побледнела сперва, как ее роскошный воротник, прикусила губы, но удержалась.

— Спасибо, — поклонилась она залу, когда слушатели, все еще аплодируя, стали усаживаться, — ну а теперь давайте примемся за мою пресловутую Азбуку. Поскольку атомная бомба, расщепив атом, разрушила также многие азбучные истины, то приводимые ниже размышления отнюдь не претендуют на полноту, ибо, как сказал уже Козьма Прутков, нельзя объять необъятного.

— «А» — сказал, снова выступая вперед, Разбойник, решивший стать конферансье.

— А — Ауслендер — откликнулась Демидова, садясь за столик и беря рукопись. — Представитель чрезвычайно многочисленного племени, наводнившего Германию в период начала нашей эры. Говорили ауслендеры с туземцами, а иногда и между собой на особом наречии, состоявшем главным образом из двух слов: «никс» и «гут». При помощи этих слов и жестов они упраз-

днили всю грамматику, а письменности у них вообще не существовало. Наиболее характерные черты племени ауслендеров: 1) небритый, лохматый, растерянный и голодный вид; 2) полное безразличие к господствовавшему тогда в Европе понятию «ферботен». Там, где каждый порядочный немец уже остановился в священном трепете перед «ферботен», ауслендер только начинал разворачиваться; 3) к числу лучших нравственных качеств ауслендеров относится их поразительное единодушие в борьбе с внешним врагом, который назывался «немец»; 4) все ауслендеры стремились вернуться на родину. Для того, чтобы УНРРе стало понятно, почему ауслендеры хотели, но не могли, а Дипи могут, но не хотят, будущим историкам придется написать не мало томов. Пока это непонятно никому, кроме Дипи. 5) В отличие от других завоевателей Европы ауслендеры ничего не приобрели, но зато теряли постепенно все: дом, родину, близких, вещи и документы. Движимое имущество заключалось в чемодане, а недвижимое в жене, детях и престарелых родителях. 6) Немцы дружно презирали ауслендеров и без различия пола и возраста шли на них единым фронтом под лозунгом «ферботен». Но ауслендеры не сдавались. К концу войны их засилье в Германии было настолько велико, что в центре Берлина, на Александерплатц было очень трудно найти берлинца германского происхождения.»

— На Александерплатц — пояснил Разбойник — было второе отделение берлинской профектуры для иностранцев. Я первый раз спрашивал, как туда пройти, у тринадцати людей подряд. Все оказались иностранцами и все отвечали: «никс ферштеен!»!

«Однако, конец войны оказался гибельным для этого племени. Через несколько недель после перемирия ауслендеры исчезли, переродившись в ДИПИ.

«В» большое — бомба. Человеческое изобретение, сводящее на-нет не только все остальные, но и самого изобретателя. Бомбы бывают разные, но наибольшим успехом пользуются атомные. Не потому, что они сделаны из атомов — это еще можно было бы стерпеть, а потому, что начинают разрушение именно с них.

«б» маленькое — «бауер». Безымянный обитатель городских окрестностей и владелец большинства земных благ. «Ходить до знакомого бауера» — чрезвычайно распространенное, хотя и весьма среднее развлечение многих Дипи.»

— Меновая торговля применяется обычно в условиях примитивной экономики — любезно пояснил Разбойник первому ряду слушателей, — или практикуется культурными завоевателями, предлагающими туземцам стеклянные бусы в обмен на золото и драгоценные меха. В наши дни мы скромно меняем кофе и сигареты, а иногда и золотое колечко на масло и мясо у окрестных крестьян.

«В» — война. Что такое — известно всем, а особенно нам, потому что для нас она далеко не кончилась. Даже наоборот — приходится сражаться на нескольких фронтах.»

— С вышеупомянутыми бауерами, если они требуют слишком много, а дают слишком мало — ввернул Разбойник, и с...

— И с эмпи, если за нами охотятся, чтобы выдать советским — жестко отчеканила Демидова, в упор смотря на сидевших в первом ряду, — потому что есть еще одно «в» — а именно: выдача. Выдаваемые же предметы могут быть неодушевленными, как например паек в лагерях, и одушевленными — как их обитатели. Выдача первых — радует. Выдача вторых...

По залу пронесся испуганный шелест.

(«Отчаянная женщина — подумал Викинг. — Впрочем паспорт у нее настоящий, а терять, пожалуй, действительно нечего больше»).

— Следующая буква — «Г»! — воскликнул Разбойник, стараясь спасти положение — надо было ему цензуру на эту азбуку навести, очень уж разошлась Демидова! И как он просмотрел такое...

«Г» — грызня — усмехнулась Демидова, и успокоительно повела в его сторону рукой — не беспокойся, мол, больше нажимать не буду! Грызня — главное занятие Дипи во всех лагерях. Похвальное единодушие предков-ауслендеров совершенно утрачено, и понятно, почему: ауслендерам если и было что грызть, то только сухие корки, а дипи что? Американские бисквиты? Вот и грызут друг друга.»

«Д» — конечно, Дипи, потомки ауслендеров. Делятся на две неравные части: одна живет в лагерях, другая «на привате». Говорят на языке предков, но не затрудняются вставлять слова из других языков, заботясь только о красочности, но отнюдь не о грамотности речи. Среди Дипи встречаются иногда совершенно одичавшие экземпляры. Общий вид — жутковатый. Основные занятия этого племени: 1) ожидание; 2) регистрация, перерегистрация и перепeрегистрация; 3) изыскание самого верного способа, как бы полегче приобрести побольше самых разнообразных предметов и поскорее от них избавиться...»

(«Вот ведь как нашу спекуляцию определила! — невольно прыснула Оксана, толкнув локтем Таюнь).

— Та же меновая торговля, поскольку у нас ничего нет, и мы можем только «доставать» что нибудь — пояснил Разбойник первому ряду, плотоядно улыбаясь, как добродушный тигр.

«Четвертое — продолжала Демидова — слухи. Главным образом, зловещие. 5) — разъезды. По всем известным причинам каждому Дипи непременно надо куда то «смотаться», и он мотается, не щадя сил».

— Достаем что нибудь и разыскиваем пропавших родственников — закончил Разбойник.

«В науку Дипи внесли новое понятие: 'Дипилогика', но остальными народами она усваивается с трудом. Вообще же у остального мира отношение к Дипи, такое же, как у воспитанного человека к блохе: присутствие неприятно, а избавиться неприлично.»

Послышались смешки и в первом ряду, и Разбойник облегченно вздохнул. Доходит, наконец!

«Е» — ехать. Некуда. Пока что . . .

«Ж» — жизнь. Предмет, о котором заботятся, пока его имеют, в отличие от денег. Жизни у Дипи нет.

«З» — занятия. Занимают друг у друга небольшие суммы в долг без отдачи. В современном масштабе занимаются целые страны, и тоже не отдаются. Чей это долг — неизвестно.

«И» — Иван. Нарицательное имя большинства ауслендеров в Германии.

«К» — большое: куда? когда? как? Три вопросительных знака. Пишутся книги и создаются комиссии, подкомиссии и сверхкомиссии. Дипи остаются пока на месте.

«к» маленькое — культура. Когда то писалась с большой буквы. «Свежо предание, но верится с трудом!»

«Л» — липа. Мягкое дерево, прекрасно поддающееся обработке вручную. (иногда и пишущей машинкой). При современной технике идет на изготовление разносортной бумаги.»

Теперь уже в зале просыпались смешки, как орешки. В первом ряду, как заметил Разбойник, понимающе улыбнулась только одна секретарша. Хватит ли у остальных юмора, если им объяснить, что такое «липа?» Пожалуй, опасно.

«Ммммм» — обычно отвечает Дипи на вопрос комиссии, кто он такой. «Я, собственно говоря, югослав, но родился в Литве, проживал до 1938 года в Румынии, а по национальности и религии — штатенлос, польский подданный. Из иностранных языков, кроме русского, разумею украинский.» Но комиссия обычно мало вразумляется.

«Н» большое — нет документов. Никаких. Одна из наиболее характерных особенностей племени Дипи.

«н» маленькое — «никс ферштеен». Лаконическая формула для объяснения туземцам, если те удивляются, почему Дипи ездят без билетов, шагают через рельсы, ловят в чужом пруде рыбу и так далее.

«О» — отец.

— Отец народов — Джо Сталин, — любезно осклабился в сторону американцев Разбойник.

«У отца обычно бывают дети. Иногда слишком много. Отцы и дети, как утверждал Тургенев, часто не ладят между собой. Согласимся с Тургеневым.

«П» большое — переселение. Улитка допотопных размеров, про которую сложили пословицу: улита едет, когда то будет.

«п» маленькое — парадокс, или приспособившийся Дипи.

«Р» — родина. Над утратой ее пролито немало горьких слез. Но дипилогическое объявление о потере гласит так: «Потеряна горячо любимая родина. Умоляем не возвращать.»

В зале раздались дружные аплодисменты. и первый ряд решил тоже улыбнуться.

«С» — большое — сигареты. Имеют хождение наравне с довольно крупной разменной монетой.

«с» маленькое — слухи. Распространяются с быстротой света.

«с» еще одно — самогон. Несмотря на то, что одни занимаются его изготовлением, а другие — уничтожением, особых разногласий между партиями не существует. Имеет большое культурное значение, так как служит платформой объединения — иногда единственной.»

Тут даже американцы все поняли.

«Т» — трепология. Второе философское понятие, введенное в науку племенем Дипи. Требует особого склада ума. «А я и забыл, как прошлый раз трепался,» — говорит один Дипи другому, но продолжает трепаться дальше.

«У» — УНРРа, конечно. Краткое описание займет хороший том в тысячу страниц. Вначале УНРРа была создана для Дипи, но потом оказалось, что Дипи фактически нет, ибо никто не знает, кто есть кто, и теперь УНРРа создает Дипи по собственному усмотрению. Но это — пятна на солнце, ибо существование УНРРы вообще — небывалый еще в истории мира факт, перед которым остается только снять шляпу, что вообще следует делать почаще. Из-за недостатка места придется отказаться от описания в тысячу страниц, предоставив его историкам. Но один разговор мамы с дочкой, подслушанный в лагере, следует привести: «И вот саранча уничтожила все их посевы — говорится в Библии, и реки вышли из берегов и затопили все, и земля тряслась и расступалась, и с неба сыпался град и горящий дождь, и когда все это кончилось, то во всей стране наступил страшный голод, и у людей не осталось ничего больше, и тогда . . .

«Я знаю дальше, мамочка! Тогда Боженька послал на них УНРРу!

«О-кей, — отвечает мама».

(«Первый ряд следовало бы повернуть лицами к нам, или посадить его за стол президиума, чтобы мы могли видеть выражение их лиц — подумала Таюнь).

ф — фантазия, — спокойно продолжала Демидова, не следившая ни за чьим выражением, чтобы не терять храбрости. — Фантазия разбита действительностью по всему фронту, перешла в отступление и ударилась в бегство под дружным натиском рассказов Дипи о своих приключениях.

Эта буква заслужила всеобщее одобрение, но Демидова знала, что торжествовать ей нечего.

«Х» — хамоватость — вызывающе произнесла она. — Болезнь века. Страдают ею, за немногими исключениями, почти все — не Дипи — тоже. Заболевание вызывается самыми разнообразными причинами, но принимает сразу же хроническую форму. Врачи утешают, что через одно-два поколения выработается иммунитет, или окончательно охамеют все — то есть, болезнь перейдет в нормальное состояние.

«Ц» — большое — цивилизованность. Предмет первой необходимости для многих. Несмотря на то, что цивилизованность стоит очень дешево, она приобретается с чрезвычайным трудом. Грустный, но вполне дипилогический факт.

«ц» маленькое — цены. Бывают двухзначные, трехзначные и выше. Однозначные не считаются вообще. По необъяснимой загадке природы, именно для Дипи цены не являются препятствием. Нашли чем испугать!

«Ч» — чуб. Непременное украшение, своего рода форма, чтобы уже на расстоянии двух километров стало ясно, что идет не какой нибудь подстриженный, вымытый европеец, а настоящий, лохматый и чубатый Дипи. Знай наших! Своих узнаем.

(— Вот за это ей и били окна — наклонился к соседу Викинг.

— И еще за «шляпу»).

«Ш» большое — О, Штатенлос! «Как много в этом слове для сердца русского слилось»! После сказанного Александром Сергеевичем Пушкиным прибавить что нибудь трудно.

«ш» маленькое — шляпа. Иногда бывает большая, в особенности если это один из ваших друзей. Вообще — предмет, плотно приклеенный к голове многих Дипи. Не снимать шляпы во всех случаях, когда это полагается — одна из характерных особенностей этого племени.

«Щ» — щука, живущая в море специально для того, чтобы карась не дремал. Не спи, Дипи!

«Э» — эмиграция. Доисторическая бабушка Дипи. Бывает старая и новая. Вопреки всем законам природы, новая непременно хочет стать старой, притом сразу. Иногда удается. Это стремление, хотя и объясняется с дипилогической точки зрения, но все таки непонятно. Старая эмиграция, появившись на свет преждевременно, не застала еще УНРРы, в лагерях не жила, а если, то старалась удрать оттуда (с Галлиполи, например!), переселялась

самосильно, не взирая на границы и протесты, всячески старалась найти работу, и очень редко ее получала, а «достать все» было в то время незнакомым понятием. Словом, полная противоположность Дипи. Тем не менее, старая эмиграция прошла, иногда буквально, огонь и воду, попала в трубу, а пройдя и медные трубы, вылезла из них и превратилась в Дипи. Ряд волшебных превращений милого лица, или старая присказка на новый лад к сказке про белого бычка. Попадаются иногда не только бычки, но и зубры, питающиеся, за неимением даже зубровки, одними воспоминаниями. Эмигранты, научившиеся чему нибудь, считают, что эмиграция сама по себе вещь настолько тяжелая, что ее не стоило бы ухудшать делением на старую и новую, пусть уж будет одна, хотя и разная. Но новая эмиграция считает, что ее учить нечему — пустая голова легче, а то придется в багаж сдавать. Но ничего. Стерпится — слюбится.»

«Ы» — «ых нықс дойч»! Комментарии излишни!

«Ю» — юмор висельника. Что же еще остается бедным Дипи, висящим между небом и землей?

«Я» — я? Перемещенная личность. По русски, конечно — Дипи.»

— Автор награждается шумными аплодисментами! — громко объявил Разбойник, когда Демидова, кончив чтение, встала и поклонилась. Аплодировали шумно и с удовольствием — может быть, больше от того, что никакого скандала не произошло. Аплодировали и «русские американцы», вежливо улыбаясь и суя добавочные пачки сигарет и Разбойнику, и Демидовой. Некоторые из них повторяли понравившиеся им отдельные фразы. Очень милая юмореска. По виду вся эта публика — жуткий сброд, своего рода европейские жалкие гангстеры, с совершенно свихнувшимися мозгами и такими же невероятными биографиями, в которых они вдобавок врут на каждом шагу. Понять их невозможно, но они постоянно ломятся в амбицию: я, мол, профессор, я, генерал! Генералу полагается быть в своей армии, а не в чужой, а профессору — на кафедре. Если они все это побросали, и очутились сами выброшенными за борт, то сами виноваты, и чего же жаловаться? Конечно, Германия лежит в развалинах, и по христиански нельзя дать умереть с голоду сотням тысяч людей, кроме того, их дети не виноваты. Если их не кормить в лагерях — они образуют настоящие банды и пойдут грабить открыто. И без того половина — преступный элемент. Потом как нибудь придумаем, как их устроить. Если бы они поработали на американском заводе несколько лет, принимали бы ежедневно ванну, приобрели бы автомобиль, дом, так и стали бы людьми, как все. Может быть это и будет так, а пока . . .

(Мысли первого ряда).

— Пока неизвестно еще, чего добивался Разбойник, приглашая знатных иностранцев, но совершенно понятно, что он ничего не добился! — резюмировал Викинг, подошедший к подъезду, когда они рассаживались в джипы, и уловивший несколько фраз — занятия английским языком уже пригодились.

Как обычно в жизни, правыми оказываются, до некоторой степени, обе стороны. Русские американцы, прожившие лет по двадцать пять в Америке, а то и тридцать, прекрасно помнили русскую революцию семнадцатого года — как желавшие ее, так и бежавшие от нее. Поступив теперь в УНРРу в качестве переводчиков, они столкнулись с совершенно непонятной ордой. Если это большевики — то почему они не хотят возвращаться? Если это антикоммунисты — то откуда они взялись в Советском Союзе? Если это русские вообще — откуда бы то ни было — то как они могли сражаться против победных русских войск, или бежать от них? И как могли и те, и другие, и третьи работать, сражаться или бежать к немецким нацистам с их газовыми камерами и концлагерями? И как они могут все так глупо врать и рассказывать фантастические небылицы? Ведь в России звонят уже колокола, учреждены ордена Суворова и Александра Невского! Советский Союз был союзником Соединенных Штатов во время войны с гитлеровской Германией — и все, кто был с немцами являются, по существу, побежденными врагами, а в этом случае — и изменниками. Конечно, политическая эмиграция признается всеми просвещенными гуманными правительствами, но... Конечно, по существу этих несчастных и запутавшихся людей, голодных к тому же, пожалеть можно, но...

Но понять их невозможно.

7

В первое воскресенье в декабре утром все показалось необычным: выпал густой, пухлый первый снег. Демидова, проснувшись в своем сарайчике, поразилась белизне света, заливавшего комнату даже через такое окно, и едва затопив печку, выскочила на ставший сразу широким двор — зачерпнуть в миску, как пуховую подушку, первого снега, чтобы умыться. («Глаза промыть первым снегом надо, чтобы ясными стали, умыться снегом, — красивее станешь» — приговаривала когда то бабушка). О красоте думать не приходилось теперь, но привычка осталась: смешливое поеживание от прикосновения к теплой коже снега, сразу стаивавшего в ледяные комочки. Печка тоже затрещала веселее, нескафе порадовало бодрящей горчинкой, и Демидова прислушалась к уцелевшему колоколу в ближней церкви. Пойти бы...? Но надо спешно закончить гарнитур белья для Разбойника. Села работать в воскресной, праздничной прибранности и свежести на душе — просто от этой радостной белизны. Даже какие то планы возникли вдруг — на удивление самой, потом запели вдруг строчки, и гарнитур белья был закончен только после того, как она, усмехаясь невидимому, записала на листке бумаги новую ласковую сказку и облегченно вздохнула.

Знакомые уже улицы выглядели тоже совсем иначе. На мостовой снег протаял в коричневые пятна, но в садах и парках деревья гнулись еще под накинутым грузом, зиявшие провалами развалины превратились в замки и перекидные мосты. От этой примиряющей, уводящей в даль благости слегка щемило сердце. Говорят, что замерзающим в снегу тоже чудятся видения... Но сейчас, впервые в этом году, захотелось жить, а не думать о смерти. Демидова вздрогнула даже, когда из-за елки, стоявшей сбоку от проломанного заборчика в сад какого то разрушенного особняка на краю парка вдруг шагнула небольшая фигурка, отряхиваясь от снега. Пани Ирена!

— А я, знаете, тоже на добычу отправилась, — немного смущенно пояснила та. — Сегодня ведь первый Адвент, первое воскресенье из четырех перед Сочельником, вот думаю, сделаю веночек. Свечку — Бог простит, я в церкви купила, и не поставила, а с собой взяла, если ее на четыре части разрезать... Она оза-

боченно вынула из кармана тонюсенькую свечечку, и прикинув взглядом, покачала головой. На адвентные венки ставятся красные или желтые восковые, короткие и толстые, чтобы горели весь вечер, а эта и вся то целиком сгорит за несколько минут, не то что кусочки...

Из кармана ее пальто торчало несколько еловых веток, за которыми она и отправилась в чужой сад. Демидовой стало еще веселее. Беспричинная радость — первые признаки выздоровления от военного психоза... На Хамштрассе в Доме Номер Первый она сдала белье Разбойнику, получила неожиданно много и неожиданно красивого шелку, отправилась с привычной кампанией обедать в столовую, а для всегда голодных людей воскресный обед Аннхен казался тоже праздничным. Словом, жаль было каждой минуты такого хорошего дня, когда они уселись после обеда скручивать и связывать ленточкой из Оксаниной косы маленький веночек, над которым тянулось потрудиться пожалуй столько же рук, сколько в нем было пахучих, вымытых снегом иголок. Все принимали участие, прилепляя тоненькие, как прутики, свечки, и торжественно расположили наконец получившийся довольно круглым веночек посреди стола в общей комнате. Потом пани Ирена может унести его в свой «гроб», хотя он там вряд ли уместится на подоконнике. Все наперерыв объясняли этот обычай не знавшей его Оксане, и она певуче поматывала головой, увитой тяжелыми косами, певуче улыбалась глазами и вишенным ртом, и воспринимала больше из вежливости, но старалась объяснить себе привычными категориями: вот, для них это значит тоже, как скажем побелить печку к празднику. И так же, как на Украине все белят, не только свои украинки, так и тут, пани Ирена католичка, это ее обычай, а Демидова и Таюнь русские, но вместе с нею хлопочут тоже. Значит, переняли в Литве и Риге — а разве это не грех? Церковных правил Оксана знала немного, но зато твердо, и в них ничего не говорилось о венках, хотя, какой же грех в свечках?

— Вот я вас сейчас, философы, заведу! — ухмыльнулся Разбойник, подмигивая в полусумрак комнаты. — Рождество на носу, и это первое — без стрельбы. Мир на земле — говорится, хотя не верится. У нас даже веночек адвентный со свечкой горит. Пора значит и о душе подумать, у кого она есть. Любопытно мне, эта тема сейчас на составные части переломится, давайте выясним, а то мне скоро по делам уходить надо. Демидова, — это ваша специальность. Мы посумерничаем — все равно лампочка на шестнадцать свечей, ничерта не видно, а вы разводите свою лирику, снежинки и бланманже!

— Бланманже, дорогой, многие из нас и в глаза не видели, а вот что касается лирики, то понятно, почему...

— Потому что слишком уж много поэтов развелось!

«Я читаю стихи проституткам, и с бандитами жарю спирт!» — мечтательно процитировала Демидова. — Разбойник, налейте еще вашего автоконьяку. Вы уверены, что это не древесный спирт?

— Самогон первач!

— Ну уж, и первач... бураковый. Думаете, не отличу? Вы в спирте разбираетесь, а в людях... Проститутки — у Есенина, а нашу публику скорее всего можно на две категории разделить: лириков и бандитов. Иногда и то, и другое. Дело в том, что нам кроме этого да еще юмора ничего не остается.

— Будто бы?

— «Больные грезят розы райские, и нежны сказки нищеты!» — это еще Гумилев подметил. Человек так устроен, что когда он живет нормальной жизнью, то может обсуждать или огорчаться головной болью своей соседки. Телеграмма, несчастный случай на улице, гроза или болезнь производят на него большое впечатление, и это понятно: выходящее из ряда слегка сероватых, потому что однотонных дней. С годами или поколениями уровень этих дней может и повыситься, но опять таки не теряя однотонности, одного музыкального ключа, и совокупность этих лет, на любом уровне, ведет к накоплению. Иногда и материальному, но главное, что душа и разум достигает какой то новой границы. Мне эта граница представляется не чертой, а узкой дорожкой на откосе горы. Человек карабкался из долины, горизонт расширялся в какой то степени, стал доступным. Теперь он может отдохнуть, рассматривать открывшийся вид, так сказать, но для того, чтобы подняться дальше, выше, надо сделать порядочное усилие. Может быть, он устал. Может быть, дорожка показалась слишком удобной после того, как он карабкался, — и он отвык напрягаться. Может быть разное, но далеко не все поднимаются выше, понимают то, что скрыто и открывается только там, на гребне горы. Некоторые так и застывают на этой узкой дорожке, что может быть не так уж и плохо, — не всем же подняться на вершину — но зато другие сползают или скатываются под откос. Так наступает насыщение, часто война, падение Рима. Человеку нужно тогда что нибудь из ряда выходящее, бьющее по нервам, небывалое еще, и обычно разлагающее нравы. Возьмите декаданс в России перед Первой мировой войной, декаданс в Европе после нее. Сейчас, после этой войны вероятно будет то же самое, на этот раз уже во всех странах. Вот увидите, когда все войдет в свою колею, так или иначе, то жизнь не просто наладится, а взбесится. Сейчас не верится, но суровость военных лет пройдет, и тогда будут не мечтать о хлебе, а выбрасывать пирожные. Но мы еще не дожили до этого. Мы прошли буквально через огонь, через невероятный, многократный ужас, и мы устали от этих ужасов, просто устали. Мы спрашиваем иногда при знакомстве: «Кто у вас погиб»? — и удивляемся, если все живы. Не

знаю, можно ли назвать это притупленностью. Отчасти наверно да. Может быть готовностью к смерти. Человеку, живущему в рамках определенной жизни, свойственно отодвигать мысль о смерти, потому хотя бы, что она нарушает, ломает рамки, врывается в них, ранит, вносит боль, ужас, растерянность и покинутость в жизнь. А когда наступает катастрофа, и все летит кувырком — то смерть — избавление от страха не только перед нею, но и перед этой странной, ни на что не похожей жизнью, вернее инстинктивным цеплянием за голое существование. Когда нет ни времени, ни сил, чтобы оплакать умершего — то и самому не страшен переход. Как будто человек все время напряжен для прыжка в другой мир, все равно, сознает ли он, что этот другой мир существует, или нет. Я однажды была в морге у нас дома — надо было опознать одного человека — оказался незнакомый. Но долгое время не могла отделаться от гнетущего впечатления. А потом спокойно ходила под обстрелом по улицам, переступала через трупы — и ничего, в порядке вещей. Но когда кто-то схватил меня за руку и сказал — «Здесь есть еще чуточек жизни в этой подворотне, встаньте сюда, здесь реже убивает» — то вот от этой ласки в словах, в голосе — я готова была расплакаться. Сейчас купить краденую заведомо вещь, или украсть самой — потому что получить масло по фальшивым карточкам тоже бандитизм и преступление по всем законам — это ничего, это я сделаю не задумываясь. Если услышу об очередной выдаче из лагерей — похолодеет внутри и такое чувство, как будто сама валишься в какую то пропасть — но все таки — без слез. А вот скажет кто нибудь две звенящих строчки — и они зазвенят до слез в глазах. Может быть потому, что в них, как в фокусе весь наш мир, со всеми ужасами, отчаянием, и сверх того еще то, что есть в этом мире возвышенного, да, пусть это старомодное слово, но все равно — нечто высшего порядка, потому что вкладываем мы в эти услышанные слова свой смысл, который может быть и не снился автору, сказавшему просто всечеловеческое, каждому, всегда, близкое и понятное. Может быть и потому, что говорящий покажется вдруг значительным, умным, благородным, душевным человеком, а не серой тенью или мордой бестии, — может быть потому, что здесь вообще разумное объяснение не при чем. Все таки искусство — это нечто из высшей категории, причастно к четвертому измерению, и каждый настоящий художник обожжен этим нездешним огнем — и обжигает им и нас. Может быть еще и потому, что вот именно после всех этих ужасов — «хочется любить простые вещи, как кусочек дымного тепла» — это я свое стихотворение цитирую. И в силу контраста они так на нас действуют, из-за усталости, нашей. Что уж значит красивое слово, жест, улыбка, взгляд? Не кого нибудь любимого, а просто незнакомого, в первый раз в жизни встреченного человека? Ничего, в

сущности. Он наверно и сам не замечает, что дает. А мы, нищие, разоренные, еще не вылезшие из под обломков — и неизвестно, в какую яму попадем в следующую минуту — мы ценим, загораемся вот именно этим... потому и стали «поэтами», как вы говорите. Вот почему — излишек лирики. Но не беспокойтесь, и это пройдет, и будем слушать — не все, но многие из нас — еще лучшие стихи, и спокойно, если не скучая слегка, разбирать их по статьям, школам, приемам... и в этой будущей нашей, упорядоченной жизни может быть будет даже неловко кое кому вспомнить, каким красивым или красивой казался тогда тот или та, сказавшие самое нужное в ту минуту — из Гумилева или Маяковского... О нет, это совсем не чеховское небо в алмазах через триста лет, которое я так ненавижу! Для меня это не утешение и не мечта вовсе. Мечту я хочу сохранить сейчас, потому что только так и пронесу ее дальше. Оставьте сказки тем людям, которые могут их видеть и теперь. Они нужны человеку, если он хочет остаться человеком. Сейчас мы голые люди на голой земле, и не стыдимся многого — в том числе и любви к сказкам. Потом многие спрячут это чувство, отрекутся от него даже. Вам, Разбойник, некогда слушать стихи, в вас еще слишком много энергии, вы не можете остановиться после военного разбега, вы ударились в бандитизм — но не забывайте, что надо прислушаться к непрактичным лирикам тоже. Может быть это поможет вам остановиться когда нибудь, пока еще не будет поздно... А какие же еще слова могут нас тронуть? Какие слова нужны человеку, с которого содрали кожу? Об утешении говорить смешно. Надежда? Она бессознательна. Что же еще остается? Только извечное, подлинное человеческое тепло, в котором Божья искра — а все остальное кошмар. Да, мы знаем цену слову. Слишком много говорили нам, обещали, обманывали, предавали, или приказывали «давай, давай» — на смерть, на издевку последнего унижения в этой самой смерти, — голыми, на коленях, ждать газа или выстрела в затылок — избавления от мучений. Нет, наши собственные слова стали скупы... Один сказал мне: «Я выполз из могилы, которая еще шевелилась — там были недобитые» — и это было все, что он сказал. Я видела, как взметнулся столб затяжной мины на том месте, где бежали впереди мои девочки — и это все, что я могу сказать. Больше слов у меня нет, как у всех нас. Есть только самые простые, самые скупые слова — по их настоящей цене. А вот зазвенит какая нибудь строчка — и сердце заплачет сразу, плакать мы можем сердцем только, слезы давно высохли все. Вот почему даже те, чью толстую кожу раньше ничем пробить нельзя было, кому раньше и в голову не могло придти слушать такую ерунду, вдруг говорят глухо: «прочтите еще» — и видишь, как это нужно...

В полутемной комнате Демидова не могла видеть экрана обнаженной стены Дома Номер Первый. Если бы у стены были слова, то она сказала бы, что это — печальный триумф. Сейчас, когда человек натягивает на себя тряпки от холода и закусывает махоркой самогон, — ему оказываются нужными и стихи, и сказки о любви и тепле. Сейчас самодельные кустарные книжечки зачитываются до дыр, ходят по рукам, переписываются, выучиваются наизусть. Потом, когда вместо коек с соломой будут гарнитуры мебели, у подъезда дожидаться автомобиль и человек запахнется в шубу, и будет колебаться — куда ему поехать в отпуск? — тогда лирическая чепуха будет или брошена в печку, или валяться в углу у многих, и поэты снова станут никчемушными людьми . . . но стена молчит.

* * *

Произошел редкий случай: тевтону Гансу пришла в голову не только мысль, но и неплохая к тому же. От слабенького огонечка адвентного венка он сразу притих, и вечером того же дня заявил Оксане:

— Давай делать «Криппе»!

Пришлось звать на помощь других, объяснивших, в чем дело: по русски это — рождественский «вертеп», но немцы делают иначе ясли. Оксана поняла сразу, и мысль ей понравилась: вышло произведение искусства. Они оба выпиливали, рисовали, клеили целую неделю. На доске выросла хижина из фанерки, подкрашенная под бревна. Крыша была из настоящей коры, — Ганс ободрал где то дерево, и получилось замечательно. Над крышей сияла позолоченная звезда, прикрепленная за хвост, а фигурки животных, волхвов, Девы с младенцем были выпилены из фанеры, стояли на подставочках и светились нежными красками. Увидев их в готовом виде, Разбойник умилился и пообещал устроить в Сочельник грандиозную елку! Дочка просила купить ей ясли, но теперь не до игрушек, зато будет елка . . . он из принципа всегда обещал все, небрежно разбрасывая направо и налево мыльные пузыри. Ему ничего не стоит, а пусть люди верят и радуются. Потом образуется как нибудь.

В магазине ясли купили сразу, для витрины, не торгуясь! Купили бы еще, если бы было время сделать. В пустой витрине лежало всего пять старых шишек, обсыпанных чем то белым. Календарей тоже не было, но двадцать четвертого декабря Сочельник — без стрельбы, без налетов — хотя и без елок тоже.

Хорошо бы забиться в теплый угол, ну, хоть одеяло натянуть так, чтобы ноги согрелись — и не думать ни о чем. Ни-о-чем . . .

В ночь на Сочельник Владек-Разбойник и Ганс отправились в экспедицию. Уголь, брикеты, и обломки, которыми топилась

печка, угрожающе кончились. Оксана, продав ясли, купила брикетов, и одолжила им четыре — но что же это за топливо? А Владек присмотрел лестницу и полчаса шептался с Гансом. Лестница была, что надо: крепкая, сухая, мирного времени, и длины необычайной: пожарная лестница, метров восемь, если не десять. Теперь ее положили поперек боковой улицы, чтобы загородить ее от редких прохожих: по обеим сторонам качались от ветра развалины и могли обрушиться. Впрочем, о прохожих американская полиция, «Эмпи», пост которой помещался сразу за углом, вероятно вовсе не думала, но развалины могли задавить и джипы тоже.

Вечером на улицы выходить не разрешалось — но как будто впервые...!

Да, на свете есть много непонятных вещей. И никто никогда не поймет, каким образом Ганс с Владеком, стащив лестницу из под самого носа эмпи, дотащили ее до двора Дома Номер Первый. Во двор она уже не влезала. Она легла поперек и загородила все. Она, если бы поставить ее торчком, уперлась бы прямо со двора в окошко на четвертом этаже! Пришлось отказаться от первоначальной мысли втащить ее в это окно...

Но кто высунется темной декабрьской ночью из того жалкого кусочка тепла, который удалось наконец ухватить под одеялом? Кому дело до странных звуков на дворе? Что то визжит, стучит, кто-то громыхает по лестнице, что то бухает, и неожиданный возглас не предназначен для слабонервных.

Да, но попробуйте попилить ручной пилой добросовестно сбитую довоенную лестницу. Попробуйте расколоть ее зазубренным топориком, этого верблюда! Скинули не только пальто — в одних рубашках жарко стало. И темно ведь вдобавок, сколько раз по рукам саданули топором, хорошо еще, что он не колет почти!

Лестницу одолевали до утра. Уже в гнилом, чуть брезжущем рассвете, шумно топая — теперь на все наплевать — тащили оставшийся кусок — украдут вмиг, только оставь! — на четвертый этаж. Деревянные ступени старого дома трещали и гнулись под тяжестью. Лестница тыкалась обрубками, как поднятыми кверху пальцами, во все стекла, оставшиеся еще в коридорных дверях, выходивших на площадки. Она почему то не хотела лезть выше второго этажа. Ганс балансировал на перилах, чтобы повернуть ее под одному ему известным углом. Доннерветтер, не застрять же с нею на половине дома!

В комнате ярко загорелась печка. Куча дров занимала всю комнату. Владек систематически и аккуратно раскладывал их под кровати, под столы, надстраивал в углу «второй этаж». В другом углу, надежным запасом, стоял, подоткнув потолок, оставшийся кусок лестницы.

— Вы все таки молодцы —, покачал головой Ганс, садясь к столу, чтобы закурить, и оглядывая это великолепие — мне бы в голову не пришло решиться на такое . . .

«Ферботен?» — рассмеялся Разбойник и высунул ему язык.

Владек решил, что заслужил отдых после такой ночи, но его разбудила хозяйка. Да, фрау Урсула, тяжело передвигая зад, поднялась на четвертый этаж, и осторожно — никогда нельзя знать, что делают эти ауслендеры, а она не хочет видеть того, что не нужно — постучала в дверь. В руках у нее была тарелочка, покрытая салфеткой. На салфетке лежало несколько замусоленных свечек из последних запасов, а под нею — пригоршня сладких лепешек, спеченных потихоньку Аннхен, и посыпанных корицей. Все таки, в этой комнате есть девочка, ребенок, вот ей на елку . . . У фрау Урсулы было доброе сердце, которому она сама нередко умилялась.

Сочельник был конечно немецкий, но балтийцы привыкли к новому стилю, а кроме того Разбойник считал, что выпить можно по всякому случаю и запасся заранее. Он обещал принести и елку, когда стемнеет — вырубит в чьем нибудь саду.

Уходя, как всегда, по делам, он набил потрепанный, но вместительный портфель всяким товаром, но положить в него топор или хоть пилу — зыбыл, конечно. Вспомнил, возвращаясь домой уже вечером, когда в уцелевшей церкви зазвонил колокол — и остановившись, сплюнул с досады. Не говоря о том, что теперь у него в руках было два уже, плотно набитых портфеля, вырвать с корнем деревцо из замерзшей земли было и ему не под силу, да и елки в парке еле в обхват, а не крохотные деревца . . .

Разбойник поставил портфели в снег, прикрыв на всякий случай валявшейся черепицей, нашел пролом в стене сада, забрался туда и нарвал сколько мог еловых веток — мокрых, смолистых, царапавших и бивших по лицу.

— А теперь делайте елку! — заявил он, вваливаясь в комнату. — О, Танненбаум!

— С ума ты сошел . . .

Но он только фыркнул, деловито нахмурился, засучил рукава и стал привязывать пучки веток к ступеням лестницы, стоявшей в углу, обрывками разных веревок.

— Оксана! Малюй звезду, а то дров не дам!

Пожарной лестнице никогда, конечно, не снилось подобного великолепия. Сверху до низу на ней зашевелились зеленые ветки, хотя бы и ступенями. Три плитки армейского шоколада, толстого и подернутого плесенью, были раскромсаны ножом и завернуты в голубую бумагу с надрезанной бахромой — елочные конфеты. Приехавший только что общий друг — поэт, священнодействуя и моргая близорукими глазами, разливал самогон в

аптечные и одеколонные пузырьки, которыми обычно играла девочка.

— Мы их повесим на елку, каждому по подарку! — суетился он.

Все стояли полукругом, вместе обычного сиденья на кроватях и столах, и комната вдруг так наполнилась людьми, что стало жарко — или шло тепло не только от пылавшей печки, но и от свечек, когда зажглись слабые огоньки? Растворили двери в коридор — оттуда заглядывали лица соседей из других этажей — хмурые обычно разглаживались улыбкой.

«Штилле Нахт — Тихая ночь, святая ночь —» пропел кто-то.

— В лесу родилась елочка, в лесу она росла — тоненьким голоском затянула девочка.

— И очень деревянная на радость нам была! — рявкнул Разбойник, и сделал широкий жест. — Ну, а теперь подымем бокалы! Угощение обильное. Предлагаю: давайте вспомним об этом вечере когда нибудь, если доживем, и не то, как мы надрались, потому что надраться можно когда угодно, а что нибудь другое о нем!

— Все равно — мечтательно произнесла Демидова — несмотря ни на что — на миллионы неслышных смертей — запоет на земле Рождество — для других — для счастливых людей. И прекрасней всего на земле — как бы в вечность ни плыли года — расцветает зимой в серебре — на сияющей елке звезда . . .»

Удивительно было, что питье в этот вечер проходило стройно, с паузами воспоминаний, про себя и вслух, без обычного гомона, исступленных взрывов и мрачных анекдотов. Девочка быстро заснула за чей то спиной, утомленная едой и зажимая последнюю лепешку в руке. Поэты читали стихи, конечно, Разбойник рассказывал бесконечные лихие истории, тевтон Ганс вспоминал детские праздники в деревне. Все жалели что не было Викинга — уехал за табаком на Север.

Разговоры прерывались чоканьем надбитых, надтреснутых кружек. А в единственное окно комнаты смотрелась темная, молчащая ночь, засиневшая от снежной белизны внизу, и в бездонной синеве мерещились другие улицы, другие города — мучительно покинутые, пропавшие навсегда — как и люди — призраки памяти, тянущиеся к ним бессильными руками — прежняя жизнь.

И поэтому может быть, уже далеко под утро, когда синева побледнела от густо пошедшего снега, порядочно пьяный, но твердо держащийся на ногах поэт взглянул в окно, приподнялся на локте с кровати, куда лег рядом с Разбойником и вдруг неожиданно четко, мягко и проникновенно всхлипнул в полусумрак

комнаты: «А Дон Аминадо сказал:» Люблю декабрь за призраки былого, — За все, что было в жизни дорогого, — Прошедшего, растаявшего вновь — За этот снег, что падал и кружился — За этот сон, который только снился — Как снится нам последняя любовь» . . .

8

Из чего состоит жизнь? Вопрос риторический. Сперва: как же рассказать ее всю? Главное, хотя бы? Но если присмотреться, в беспорядочной мозаике виден рисунок, разбросанный, но отчетливый, как в глыбе мрамора: ваятель берет в руки резец — и счищает лишнее. Только у него из глыбы выходит статуя, произведение искусства. А если отшелушить от нашей жизни каждодневные дела, разговоры, покупки, хлопоты, газеты, мелкие обязанности и большие долги — то действительно большого, пронизывающего восторгом остается мало. Иногда ничего.

Конечно: чувства. Радости, любовь, увлечения, привязанности, реже дружба. Дружба самое трудное, пожалуй, самое требовательное чувство, если говорить о настоящей.

Конечно: несчастья. Потрясения и потери, война и болезни, разочарование и смерть.

Жертвы, которые мы приносим, или становимся ими сами. Их много.

Подвиги: незаметные — их больше, чем кажется. Героические. Они редки.

Достижения и выученные, преодоленные уроки. Еще реже.

Итог, значит: множество легковесных мелочей, собирающихся, как снежинки, — они тоже легки — в сугробную глыбу. Крупинки достижений. Только и всего.

«Моя жизнь — роман» — избитая фраза. В тоне действительно самомнение, претенциозность, часто — навязчивость посредственности или ниже. Но сами то слова — правильны. Каждая жизнь — отдельная книга, большая, и от того, что она не поставлена на полку — меньше не становится. Кто нибудь, может, и ставит. Не теряет она и от того, что добрую половину страниц можно уложить в анкету, скучными крестиками отметить: «да», «нет».

Анкета стала бы гораздо интересней, если бы например, начать ее с вопроса: «Что вас больше всего поразило в жизни — за последний год, десять лет?» (Если в ответах будут блестки того пронизывающего восторга, который вызывает красота, подвиг,

искусство, вера, мечта, — то, чем только и жив человек, тоска его, тоненькая ниточка, но лейтмотив в нагромоздившейся груде цифр и таблеток, стежков и анализов, потерь и достижений, жертв и радостей, и, разумеется, надоевших анкет . . .).

9

...На улице, за развалинами колонн какого то музея виднелись зеленые листья. Весна ведь. Неужели действительно весна?

Весна цвела и на углу. Под наискось срезанным бомбой пирамидальным тополем сидела на камнях женщина в пальто из одеяла и выцветшем синем переднике. На суровом каменистом лице, как неожиданная встреча — смущенная полуулыбка. Перед ней, на кирпичной кладке — несколько букетов. Да, сирени. Такой же лиловой, избыточно тяжелой, притягивающей ароматом — как раньше, как всегда.

Пани Ирена остановилась поодаль, и смотрела, не отрываясь. Хотелось не купить — неужели придет людям в голову сейчас такая мысль! — а так, просто передохнуть около нее, постоять рядом... ...Очень трудно было дожидаться еще совсем девочкой, еще в той их крохотной усадебке — когда зацветет сирень. Сперва появлялись только темные, исчерна лиловые гроздья, тянувшиеся кверху свечками, в бусинках, в бисеринках. Потом они набухали, светлели, бусинки вытягивались на ножках, становились цвета бабушкиных аметистов. И ясно видно уже, что каждая бусинка перерезана ниточкой — крест-накрест. Почему счастье можно найти в сирени только, когда она зацветет? В бутончиках, как ни смотри, всегда только четыре дольки. Вот они начинают светлеть все больше и раскрываться кое где. Бабушка говорит, что сирень не распустится в вазе, нельзя срывать заранее — но если все таки вдруг?

На следующие утро сорванные ветки свешивались на бок и темнели. Но что значат несколько веток, когда за окном весь огромный куст просветлел и тянет знакомым, вновь узнанным запахом и сколько сразу распушившихся гроздьев, и за окном, и у забора: белая, как мороженое, голубоватая, лиловая, сиреневая, фиолетовая, розовая персидская... как пахнет! Кружится голова, и если закрыть глаза, и уткнуться головой в куст, то слышишь, как в нем звенит солнце. Бабушка говорит, что солнце не может звенеть, но улыбается при этом — наверно, и сама слышит.

...Была еще вышитая — на янтарном, золотом шелке маминого платья. Смутная детская мечта — вот, вырасту большой, и надену такое же платье...

Вчера зашла в национальный комитет, там есть прилавок с товарами: случаются катушки ниток — драгоценная вещь теперь! Иголки, сапожная мазь, и склеенные из дерева или бумаги непонятные вещи: то ли ими консервы открывать, то ли капканы ставить. Иногда на них изображены собачки — и тогда это значит, детские игрушки или «украшение для письменного стола» — как будто теперь есть еще письменные столы! Но нитки и ваксу можно обменять на что нибудь, а мелочь продается здесь просто за деньги только.

В той же комнате, кроме ваксы, можно получить нужную печать. Ставивший печати был человек с положением: его семья занимала две койки у самого окна, — а комната перегорожена одеялами. На койках обычный соломенный матрас, поверх серое одеяло, а еще поверх его — золотистое шелковое покрывало, с вытканными на нем ветками сирени — из дому спасли, конечно, или случайно попалось. Но из такого далекого прошлого прошелестел этот шелк, что сразу дрогнуло в груди. Хорошо, что человек, штемпелевавший удостоверения, привык уже к остановившимся глазам и ненормальному виду людей — какими же им быть теперь? Дал ей бумажку и не удивился, что она уходила так медленно, не отрывая взгляда от кровати... подумал, наверное, что сама на голых досках спит...

...Как теперь, среди серых прохожих, ободранных нищих с сжатыми лицами и запавшими глазами — каждый угадывается сразу! Может быть, это обнаженность войны так обнажала души, потому что на голые вопросы, поставленные жизнью — или смертью? — можно было дать только голый ответ. Легкое колебание — свой или чужой? — не имело теперь уже значения — ибо смешалось и это. Каждый был в чем то своим, и — все чужими на чужой, отнятой земле.

Как вот этот — молодой, давно небритый. От светлого пуха лицо кажется одутловатым под глубокой чернотой запавших глаз. В щегольских, но давно нечищенных сапогах и офицерских бриджах, в солдатской шинели нараспашку, поверх вязаного пуловера дикого цвета. Он шел навстречу пани Ирене, остановился перед торговкой, невесело усмехнулся. Пошарил в кармане, вытянул две бумажки. Из одной скрутил козью ножку, другую протянул цветочнице. Взял, не глядя, несколько веток, скрученных проволокой, поднес к лицу, рассматривая, уже без усмешки. Двинулся дальше припадающим на одну ногу, бредущим, бесцельным шагом, остановился снова, помахивая букетом, поднял голову.

Сбоку навстречу из аллеи растерзанных бомбами тополей шла со звонкой и четкой легкостью в светлом форменном хаки молодая, ярко накрашенная, рыжеватая и самоуверенная девушка-лейтенант. Впрочем, может быть она не была ни лейтенантом,

ни накрашенной. На фоне развалин любое живое лицо могло показаться ярким. Но презрительность, сознание своего совершенно неоспоримого превосходства, принадлежности к победителям — мстителям, может быть? Есть же и такие, конечно...

Небритый шагнул к ней почти вплотную — и протянул ей букет.

Пани Ирене так часто приходилось, как и всем теперь, читать мысли других, что и сейчас она не могла, никак не могла ошибиться. Слишком ясно вспыхнула эта мысль в молодых, обведенных черными кругами глазах, в черточке, еще резче проступившей около сжатых губ. Зачем он купил сирень? Да просто потому, что она пахнет. Весной, жизнью, надеждой, любовью — всем, чего нет. Нет у таких, как он, как они. Может быть, есть у этой девушки? Наверное. Возьмет протянутый букет и улыбнется. Не победительницей, а весной. Но умеют ли улыбаться вообще такие вот, из другого мира, накрашенные, завитые, самоуверенные? Не шаблонной, рекламной, а настоящей улыбкой — от сердца к глазам?

Улыбки не получилось. Даже вопросительного недоумения не было на лице. Прошла мимо протянутых веток, грязного шинельного рукава, запавших глаз — как мимо зеркала, в котором отражается скользящей тенью — она знала это — ее четкая, подтянутая фигура, безукоризненный румянец и свежий галстук.

«И на челе ее высоком не отразилось ничего» — вспомнила, слегка, перефразируя, пани Ирена, и усмехнулась. Но в усмешку вползла крохотная капелька горечи: если бы он поднес этот букет ей, то... то она не знала бы конечно, что с ним делать, была бы смущена наверно, но зато как рада!

Она оглянулась на себя и почти рассмеялась. Нет, таким не подносят букетов — даже небритые молодые люди... а он наверно швырнул его куда нибудь потом на дороге. Не плакал же, в самом деле, «тоскуя над веткой сирени!» — есть такой старинный романс...

10

— Демидова написала мне в мою «книжечку старинных бабушек» свои стихи — бормочет на ходу Таюнь: «Ходить у чужих заборов — И знать, что за ними — счастье, — Земля, согретая солнцем, — В зеленом саду расцветшем» . . .

Пройденная улица в пыли и тени. Сады за низенькими заборами. Окраина дальнего предместья. Блеснуло солнце в раскрытом окне, вспорхнули голоса птиц, задрожала тень от листьев. Последний забор обрывается в поле, улица смягчается в дорогу, уходящую к дальнему лесу. На дороге — щебень, если попадает в туфлю — больно. Вот у пани Ирены полуботинки на толстой подошве, ей идти легче, хоть они запылились совсем, как и очки, которые она достала откуда то и надела от солнца, — не то автомобильные, не то военные какие то . . . («Сова — думает Юкку лениво — или сильно увеличенная голова бабочки. Ведь если на такую красавицу, что порхает вон там, в лупу посмотреть — страшные глаза. И у этой головка маленькая, расширяется кверху, как опрокинутый треугольник с вершиной на остреньком подбородке, и какие то локончики встали над лбом — совсем, как усики . . .»)

Юкку помахивает рюкзаками — в них несколько банок с кофе. Пусть дамы идут налегке, хотя по настоящему помогать нести надо будет обратно, если достанут что нибудь существенное, а потому и тяжелое. «Ходить до знакомого бауера — излюбленное занятие дипи» — вспоминается ему «Дипилогическая азбука» той же Демидовой. — Показать этого бауера дамам надо, чтобы знали — не всегда же ему удастся с ними ходить.

— Чувствую, что вами овладевают помещичьи настроения, как только вы клочок земли увидите, кунингатютар! Вот и рассказали бы о своей усадьбе, а то знаю только, что была у вас, а как вы в нее из цирка попали? Ну-ка, позолотите прошлое — идти веселей.

— Вы, Викинг, всегда в точку попадаете. Только что вспомнила такой же унылый щебень на дороге — только та оказалась поворотным пунктом —

— Каждая дорога может быть новым путем! Вы тогда на встрече — вернее, прощаньи с вашим лордом остановились . . .

— Потом мы вскоре отправились в турнэ по балканским странам, и следующий сезон в рижском цирке, только открылся после войны. И вот этот сезон я уже не проработала целиком. Упала на уральском прыжке — обратное сальто с ходу в седло. Очень неудачно упала: два месяца в больнице пролежала, и доктора сказали, что о цирке больше нечего и думать, хорошо еще, что калекой не осталась. Но в конце концов, почему непременно цирк? Возиться они не могли со мной, спасибо еще, что лошадей продержали это время, и рыжий клоун забрал мои вещи у хозяйки меблированной комнаты, где я жила, чтобы за комнату не платить. Когда из больницы вышла, поселилась в каком то чуланчике, денег не было, а главное — куда девать лошадей?

— Сколько же у вас их было?

— Шесть кровных английских и два гунтера. Гунтеров взял директор рижского цирка, двух рыжих кобыл продала латышскому полковнику-кавалеристу, собирался коневодством заняться. Для остальных — прежде всего, нужна конюшня, потому что ясно: совсем расстаться с ними не могу, и полюбились очень, и наследство моего лорда, так сказать, и опора: открыть манеж, давать уроки верховой езды, на племя, мало ли что... Неделю ездила на трамваях во все концы города, в предместья, искала, и вот на Задвинье, случайно села не в тот трамвай, куда надо, и махнула рукой — доеду до конца, авось вдруг что нибудь подходящее. Вышла, вид унылый. Стоят домишки, сады, а за ними громадная яма свалки, ржавеет что то многоколесное. Зашла в лавочку спросить — нет ли поблизости конюшен, или вроде. Как же, говорят, Биненмуйжа, вот через эту свалку по тропочке, а там липовая аллея доведет к «Пчелиной усадьбе.» Липы такие, что и голову так запрокинуть нельзя, чтоб верхушки увидеть — сплошной сумрак, и весь жужжит — липа как раз в цвету была. Собор зеленый, и в нем органный аккорд запутался, дрожит, не переставая. Если сейчас остановиться, так и услышу снова. В конце аллеи — поляна, справа кирпичные службы двухэтажные, с воротами — на тройке въехать можно, а слева просто сказка. Запущенный дом с колоннами. Впереди терраса с баллюстрадой, сзади застекленная веранда, широкие ступени со всех сторон, и из них в расщелинах кустики тянутся, кленок один вырос даже. Окна досками заколочены. Кругом луг, кусты, дальше лес... и никого. Но над одной из конюшен занавеска на окне треплется. Я туда. Живут какие то скромные люди, снимают верх конюшни у города, внизу у них куры и корова стоит. Раньше, говорят, была здесь большая усадьба, балы устраивались. Я думаю! Вот перед этим домом Юкку, впервые и мелькнула у меня картина в двух планах. На следующий день — не могла удержаться, приехала с блокнотом и нарисовала его — и таким, как есть, и с распахнутыми окнами, с подъезжающими гостями. С того и нача-

лось: сперва лирика, а потом городские архивы. Чья усадьба? Где хозяин? Оказалось, он еще до войны уехал заграницу и вестей о себе не подает. Аграрная реформа Пчелиной усадьбы не коснулась — земли вокруг дома несколько лугов, только и всего, город заброшенным имуществом не интересуется, конечно... добралась до нотариуса, который вроде как опекун. Сперва уперся, конечно — дом никогда не сдавался в наем. Но я его повезла посмотреть на разрушение и воззвала к здравому смыслу: я вроде как дворничихой бесплатной нанимаюсь, чтобы поддерживать дом — и конюшню заодно, а если хозяин объявится, так сама с ним сговорюсь. Головой он крутил долго, поскольку еще под всякими обязательствами подписываться надо было, я ведь несовершеннолетняя — но согласился все таки... а теперь давайте передохнем, покурим, здесь в тени посидеть можно...

— Итак, лошадей вы поставили на конюшню, а сами переселились из чуланчика во дворец? — усмехается Юкку, быстро закручивая сигарету. — Вот возьмите, не могу видеть ваших козьих ножек, пусть вы и конюх, но все таки не мужик!

— Козьи ножки я кручу артистически, а сигареты никак не могу. Ну вот и началась моя Робинзонада. Брала у соседей молоко, кур завела сама, достала старый диван для веранды с чердака — там кой какая старая мебель валялась, а осень еще долго теплой стояла, весь навоз перевезла из цирка для будущего сада и огорода, траву косила во всю для лошадей, овес им купила, и зимой часто из того же овса себе похлебку варила, пока еще уроков верховой езды не хватало — всякое бывало. Сколько стекол пришлось вставить, сколько мусору вынести, откуда я только кустов и клубники не таскала, планы были громадные...

Они встают, идут дальше, Викинг насвистывает что-то. Он тогда родился только, а девчонка с лошадьми управлялась, вот этой, закованной в браслет рукой траву косила — дворничихой из княгинь нанялась! И нелепица стала началом...

— Да, вот такая нелепица стала началом — повторяет Таюнь его слова — он и не заметил, что сказал их вслух — и вам конечно, смешно, но несколько лет подряд я жила совершенно романтической мечтой: приведу в порядок дом, куплю непременно не что нибудь, а ландо, и весной, когда цветет сирень, поеду встречать своего лорда. Усажу его у камина, и докажу, что он не ошибся, помог тогда не зря, и вообще...

Пани Ирена смотрит пристально сбоку на пыльную, обветренную щеку Таюнь, и не замечает, что у нее у самой бродит на губах такая же мечтательная улыбка: о своем «милорде» и семнадцатой весне... А Таюнь видит в солнечном мареве дальнего леса и весны, и зимы, когда рябина под окном веранды билась в него мокрыми ветками, когда дымила вдруг печка, и иззябшие руки никак не могли наколоть лучинок для растопки... и спина

так болела от огорода, и проклятая лебеда вырастала уже на одном конце, когда она еще допалывала другой конец... а сколько было ухищрений, без гроша в кармане, и надменно прищуренных глаз: «Я живу в усадьбе — знаете Биненмуйжу? Особняк с колоннами — нет, не комнату снимаю, целый дом... держу лошадей.» Пыталась устроить что-то вроде детского сада, но окрестные семьи в этом не нуждались, а из города было слишком далеко; открыла летний пансион — луг, лес, уже сад, уже овощи и ягоды со своего огорода, — это было лучше: училась, подсматривала, как делают, готовят, огородничают другие, училась всему, каждый день, припоминала, как было дома в детстве... Но как научиться самой клеить обои, например? Первый раз они отвалились во всю длину на пол... удалось наконец, сдать бальный зал для гимнастических занятий сокольскому обществу, с условием, что будут и паркет натирать, и отапливать зимой сами. Три комнаты сдала музыкальному обществу с певческим хором — орите, пиликайте, шумите, сколько угодно — только бы иметь деньги на краску, иначе сгниют двери и рамы! Сама она жила в двух комнатах с верандой, экономила на всем, только бы провести электричество, тогда сразу станет легче, и телефон будет... а если нагрянет хозяин?

Хозяин отходил постепенно на какой то нереальный план. Иногда Таюнь казалось, что она смешивает его уже с милордом, еще больше растаявшим в тумане. Жизнь в Балтийских республиках после Первой мировой войны и революции налаживалась постепенно, ширилась, упорядочивалась, и никто не торопился разбирать старые архивы. Главное, что легендарный хозяин так и не нагрянул за все двадцать лет срока этой жизни. Может быть он был богат, и не заботился о брошенном клочке земли и старом доме? Или умер где нибудь, и наследники не подозревали, что у них в холодной Балтике есть дом с белыми колоннами, — или и наследников не было вовсе? Как бы то ни было, но счастливая нелепица так и осталась: последняя англичанка, все еще красивая «Лебедь» до следующей войны бродила на покое по зеленому лугу и просовывала морду в окно за сахаром — до конца.

Кроме мифов и конюшни была и другая жизнь. Было еще одно белоколонное здание на другом конце города, Академия Художеств, куда так тянуло Таюнь. Денег на учение не было, но нашлись художники, дававшие уроки, за гроши, за катанье верхом, корзинку клубники или по влюбленности просто. Урывками, схватывая у одного, у другого, то, чему можно научиться, Таюнь работала много лет, встав с самого начала на свою, упорно продолжаемую тропинку двух планов. В Риге было много художников: приглушенные, разливные тона живописца бледной северной природы — Пурвита, смелые, сильные, как то по особен-

ному волевые картины молодых латышских художников, очаровательные сказки Апсита, живые головки крестьянских детей Богданова-Бельского, ликующие солнечные тени Виноградова, мистика Бельцовой-Сутте, театральные декорации Антонова, Рыковского, Либерта, сжатые графики Юпатова, жанры Климова, всегда почему то угрюмые звери анималиста Высоцкого — да разве перечтешь их всех. Однако, Лодька Звайгзне — Таюнь не очень любила его слишком яркие пейзажи и слишком тяжелые портреты, но зато его самого, весело и беспечно умиравшего от чахотки — Лодька Звайгзне сосчитал их почти всех, пригласив, к ее великому страху и трепету, на «вернисcаж».

— Белоколонный дом! — восхищался Лодька. — Вернисcаж оригинальной молодой художницы, княжны Тьмутараканской! Подъезжают кареты, автомобили, и подаются ананасы в шампанском на завтрак для почетных гостей — а непочетных не будет! Таюнь, я обдумал все. К этому времени у вас поспеет клубника, а битые сливки из соседней конюшни, где корова. Берусь бить. Без водки не обойтись, конечно, но одних бутербродов мало. Поразите чем нибудь потрясающим на закуску. Легчайшее блюдо — нечего кормить почетных гостей. Когда мы останемся тет-а-тет с друзьями, — тогда другое дело — дайте чего нибудь поесть. Но зато вы будете признаны, честное слово!

Ни один цирковой номер не был таким страшным, как этот день. Прием на тридцать человек — а может быть придет больше — с ее то средствами! И первый большой прием в «усадебном доме». Будут журналисты. А она и в студии как следует не училась — только так, сбоку, диллетантка. И Таюнь снова всматривается в свои картины, вспоминает, как вот здесь не могла справиться с тем и этим, хочется провалиться сквозь землю, страшно.

В Биненмуйже цветет сирень. Темно красная, лиловато-серебристая, белая, просто лиловая — буйная, ликующая, солнечная, пьянящая сирень, — «виноградовский сюжет» — сказал восхищенно Лодька. Кусты, посаженные Таюнь, разрослись, обступили террасу, развернулись веером от широких ступеней, прижались к стенам, заглядывают в окна. Июньское солнце встает рано, уже успело прогреть, залить золотистым теплом и песок разбегающихся дорожек, и лужайки, на которых первые брызги ромашек, клевер, синева колокольчиков. Торжественный каштан за домом высится костелом в зажженных свечах, гудит пчелиным органом, и кажется, что весь дом и все кругом звенит этим торжествующим сиреневым, весенним гимном. Аккорды ложатся шлейфами у колонн, стелются под ноги гостям — и среди них немало удивленных восклицаний. Как, но ведь говорили, что Биненмуйжа — это что то заброшенное, полуразвалины? Говорили, что молодая эксцентричная художница нанялась сюда двор-

ничихой? А может быть рухнет крыша, или провалится пол, когда они войдут в дом?

Но натертый паркет (спасибо соколам!) — мягко золотился в двухсветном зале, самой внушительной мебелью которого был камин. За нехваткой стульев, пришлось соорудить скамейки перед столом с закусками (кто бы мог подумать, что «стильная парча», которой они были покрыты — всецело изобретение Таюнь, открывшей на чердаке, в числе прочих сокровищ, вылинявшие шторы?). Закуски: артистически приготовленные бутерброды, пирожки и горячая гречневая каша по совершенно особому рецепту — были одобрены самыми капризными гурманами. Водки, конечно, не хватило — но в конце концов, дело в картинах!

Таюнь принимала, показывала, знакомилась, угощала такое количество гостей, да еще таких важных! — первый раз в жизни. Накануне она мучительно припоминала, как это делала мама, но мама редко принимала уже гостей. Самой ей пришлось бывать на приемах, но ... и наконец она нашла, на что опереться. Очень просто: рядом встал лорд Ферисборн, хозяин замка ли, дома, все равно: стоит только чуть повернуть голову, и она увидит рядом его высокое плечо, рука незаметно обопрется на подбадривающую руку. Он ведет ее, уверенно и свободно, от одного к другому, вместе раскланивается, сдержанно улыбается, говорит, и улыбка не меняет внимательных, спокойно рассматривающих серых глаз, корректной, чуть удивляющейся иногда вежливости — как тогда, в этот сумасшедший, солнечный, с ярко белосиними тенями день ... а ведь это конечно, надо нарисовать: «Первый прием»! Новая тема для картины. Таюнь загорелась совсем не английской сдержанностью, и стала почти красивой. («У нее коронки в глазах вспыхивают» — отметил про себя Апсит.)

Тот же большой, грузный Апсит, с круглыми плечами, круглой темноволосой головой с легкой проседью, и темно карими, внимательно поблескивающими глазами, удовлетворившись обильной закуской после не менее обильного возлияния — водрузился во весь свой рост посреди зала, обвел его рукой, и слегка усмехаясь полными губами, произнес неожиданно для всех громовую речь.

— Моя юная коллега — да, так я могу вполне вас назвать — запомните на всю жизнь одно: не бойтесь. А бояться вам есть чего. Полуслепых, совсем слепых и умничающих людей. Не знаю, кого из них больше. Но все они, по мещански или по ученому, будут снисходительно пожимать плечами над вашим даром — видеть сказки. Да, у вас сказочный дар. Вот старинный полуразрушенный дом, в который приезжают в каретах призрачные гости, и их встречает веселая диккенсовская семья. Вот осенний лес, из которого выезжает рыцарь на коне с кленовым листом на щите и хрустальными глазами. Вот менуэт теней в ледяном зам-

ке Грига. И все в том же духе. И правильно. Не беритесь ни за что другое. Вы нашли свой путь — сказки. «Только сказочные картинки» — скажут вам нищие духом. Да, и это «только» — богатство. Вы сами богаты и раздаете его другим. Запомните, что этих других — тоже очень много. Я встаю не только на вашу защиту, но вот и за этих многих других, а имя им — легион. Вы не Репин, не академик, и у вас никогда не будет громкого имени. Вы говорите шопотом. Вы не поражаете, не ослепляете мастерством, но даете задуматься и помечтать. Только. Вы безо всяких течений и измов, но зато у вас драгоценность: мечта. И притом эта мечтательная улыбка свойственна, заметьте, больше всего обездоленным, усталым, несчастным людям — а таких больше всего. Они скромны и незаметны, у них часто не бывает в жизни ничего более яркого, чем их мечтания, они слишком робки и слабы, чтобы дерзать, слишком сердечны, чтобы стать опустошенными циниками, слишком бедны, чтобы учиться в мировых музеях и покупать орхидеи. Но Бог создал полевые цветы, и они для всех, кто их видит. Бог создал этих маленьких людей тоже, и их больше, чем великих. Гениями восхищаются, но понимают их немногие. Гениальными называют многих, которых забудут через двадцать лет. А вот великий гений Толстой сказал, что из всех человеческих произведений сказки переживают тысячелетия. У вас есть дар их видеть — покажите их другим. Только если вы хотите исцелить кого нибудь улыбкой — надо много болеть самому. Вы не люстра, а лампадка. Оставайтесь ею. И как бы на вас ни шипели — не бойтесь. Лампадки нельзя тушить. Она согревает душу. А это уже очень много — достаточно для смысла человеческой жизни, коллега. Когда постареете, поймете это. Бейтесь за свои сказки. Уважайте тех, кто сам что-то создал, воздвиг, все равно, что: построил дом или лодку, произведение искусства или формулу, но оправдал свое назначение человека, который создан по образу и подобию Творца, и потому может творить и создавать сам по силам своим. Но не почитайте тех, кто ничего не создал, а только нахватался чего нибудь, и судит, разъедает многословием, расщепливает волосок, философствует без мысли, и способен только подтачивать, разрушать, опустошать, обесцвечивать — и ожесточаться самому. Бойтесь людей с бельмом на глазу! Это клеймо пустоты и они кладут ее печать на все вокруг себя. Если они умны — тем хуже, если талантливы — то ядовитее. Дать они не могут, ни себе, ни другим, и поэтому разрушают все. Отходите от них. Не бойтесь малого. Создавайте в нем — большое. А сказка — значит очень много. В чем ее сила? В том, что она претворяет жизнь в то, чем она должна была бы быть — и бывает иногда — и примиряет с тем, чем она есть на самом деле. Сказка — это квинтэссенция, катализатор, высшая сублимация жизни, если уж хотите ученое

слово. Поэтому каждый претворяет ее по своему, раскрывает ее своим ключом, творит вместе с вами. Поэтому она понятна всем, кто не утратил чувства жизни, того, что мы называем поэзией, музыкой, мечтой. А кроме всего, что я вам наговорил, и в вашу честь, и в защиту вот этих маленьких людей, которые тоже жаждут, но их презрительно сбрасывают со счетов и снисходительно поучают снобирующие критики, умалчивая конечно, что не будь этих маленьких — и им нечем было бы жить — кроме всего этого, у вас редкая удача: сразу найти свой собственный голос, свой жанр. Он прост и оригинален, трогает сердце и заставляет думать. Чего же больше?»

...Да и в самом деле казалось тогда, что в ее картинках — весь смысл жизни, самое ценное. Жизнь была молодой, веселой и дерзкой, разрешение аккорда синезеленолиловых тонов — достижение ! О нем можно говорить до утра, и каждое утро рассветало надеждой на счастье — хотя бы в сирени! — а потом и в груди. Казалось так...

Ну что ж, теперь иначе. Это в молодости за каждым углом — действительно может быть счастье, поэтому интересно, не терпится заглянуть за этот угол, по дороге к нему надежды, увлечения, мечты, и с ними отправишься куда угодно: неизвестность притягивает, манит, обещает — все и еще больше.

Теперь углы стали другими. Они заступают дорогу, вдвигаются, врезываются в путь, скрывают что-то, чего можно только бояться — или знать, что за ними ничего не ждет. Еще одна утрата, может быть еще один отказ, еще лишняя усталость. На пути к ним желания не вырастают, а теряются, и от переоценки ценностей остается не много, и даже не жаль. Проще и спокойней. Хорошо бы и не заглядывать вовсе за углы, а остановиться, закрыть глаза — на прошлое и будущее тоже. Если уж говорить о желаниях — так только об одном: чтобы подольше осталось вот, это, сегодняшнее: солнце, цветущий куст, или просто так... нет, это не апатия. Покой — не бессилие. Просто минимум требований, но от них нельзя отказаться, на них нельзя терять права, в особенности, если — нечего ждать, как теперь...

— А теперь мы свернем с дороги и пройдем прямо по меже вот к той рощице под лесом — командует Викинг. — Так будет напрямки к бауеру. Болотце у рощицы наверно уже подсохло, и там кстати, заброшенный домишко стоит. Только без колонн, кунингатютар, хотя есть крылечко с тумбочками. Стоит посмотреть, симпатично. Можно покурить и ободрать заодно куст сирени, раз она цветет.

Дорожка к рощице давно заросла. Тонкие березки, растущие бессильным букетом, но вот и больших две, раскидистых. Свежий запах озерка посреди болота, камыш. Низенький домишка с круглым чердачным окошком, повалившийся забор, между ко-

льев поднимаются острые листья одичавших ирисов, отцветшая яблоня рядом, и совсем около дома — кусты сирени и шиповника. Две пологие бетонированные площадки ведут уступами к запертой двери с выбитым сверху стеклом.

Очень далекое что-то тронуло за руку и повело вокруг дома. Да, как тогда — заглянуть в щели между ставнями... одно окно бы тут, во всю ширину стены сделать... комнаты две с кухней, не больше... и сарай покосившийся тоже под березой есть, дом с садом, огородом, озеро для лебедей... Сколько они шли от города? Полчаса? Никто не живет, все разваливается...

Таюнь садится на каменную приступку у тумбочки, проводит рукой по согревшемуся бетону, обнимает, как друга.

— Кунингатютар, я вижу, вы погибли. Тяга к земле неистребима. Усадебные инстинкты. Конюшни не хватает — впрочем, на озере ваших лебедей развести можно.

Пани Ирена умно покачивает головой.

— В самом деле, Таис... (она называет Таюнь по французски) — Поселиться хотя бы на лето — все лучше, чем наш разбойный притон. Далеко только, но если достать велосипед... Фантастической дворничихой вряд ли удастся, в Германии все ферботен, но если найти хозяина... ваш знакомый бауер, Юкку, наверно знает, кто он.

— Можно и... купить? — Таюнь сперва сама пугается такой дерзкой мысли и пытается оправдаться: — Немцы ведь считают деньги еще по старому. Тысяча марок для них это тысяча, сумма, а для нас — десять пачек сигарет.

— Но все говорят, что нас переселят за океан — а вы собираетесь на землю сесть в разоренной стране. Это довольно необычное сумасшествие, кунингатютар!

Таюнь устало опускает руки.

— Во — первых, мне сына дождаться надо... во-вторых, вы моего мужа не видали? С таким багажом, поверьте, за океан отправляться трудно... Здесь я его на подножный корм посажу... и в — третьих, старая эмиграция лет двадцать сидела на чемоданах, все вернуться собиралась... Нет, Викинг, лучше синицу в руках...

— Для вашей усталости твердо сказано.

— Но, Таис, простите за нескромный вопрос: как бы легко мы ни смотрели на сотни и тысячи марок даже, и если хозяин найдется, и согласится, то все таки же не за картон сигарет! Несколько тысяч наверняка будет стоить, ведь это кусок земли тоже, а как вы их сделаете?

— Очень просто. У меня в лифчике зашито кольцо: полтора карата, чистый камень, без изъянов. Смешной маленький капиталец, всю войну храню. Сын одного ювелира у меня верхом катался, и когда началась война, сказал, чтобы купила что ни-

будь, что всегда имеет цену, он мне выберет и уступку по дружбе сделает. А я последнего жеребенка тогда продала как раз, ну и вот... Тогда кольцо стоило сотни, а теперь — тысячи... может быть, для американцев можно будет нарисовать что нибудь, Викинг? Может быть Разбойник даст авансом, потом отработаю? И в конце концов — если действительно эмигрировать потом, так хоть за какие нибудь деньги и продать можно, а пока...

— Безумные идеи и такие же люди меня всегда привлекали, кунингатютар... Сумасшествуйте, моя поддержка вам обеспечена.

* * *

Так и началось. Да, бауер знал. Домик лесничий выстроил давно, для охоты, уток тут было много и вообще дичь. Теперь он умер, а вдова его на старой квартире в городе живет. Сын кажется в плену или погиб, а дочь работает где то. Участок за домом небольшой — два тагеверка, пожалуй, озерко тоже, болотце осушить надо, дренаж проложить — кто это делать будет? И к чему это ауслендерам?

— У меня у самой усадьба была — твердо сказала Таюнь. Там, на севере — за Восточной Пруссией.

Восточной Пруссии в Баварии не любили, так и называли «свинские пруссаки», но Балтика — совсем непонятно, а твердый выговор балтийцев сразу связывал их с Пруссией. Для крестьян же пусть и беженец, но хозяин в прошлом звучал убедительнее.

...В окне с кухонными занавесками до половины стекол виднелась только верхушка чахлого куста бузины, и косая половина обрушенного дома рядом. А ведь в охотничьем домике сирень цветет, травой пахнет! Но хозяйки живут здесь — среди старомодной добротной мебели с лоском не одного десятка лет. На буфете — багровые бока глиняных яблок на чугунном блюде, и корзиночка альпийских фиалок из воска. С них тщательно стирается пыль — и все таки они пахнут пыльным городским запахом унылой жизни. Хозяйка — недоверчивая, болезненная старушка. Она не заглядывала на это болото даже и когда муж был жив, там только он со своими друзьями — охотниками бывал... Сдать в аренду? Продать? Нет-нет, сейчас не такое время... ничего нельзя знать, и может быть никаких таких сделок заключать не разрешается, чтобы продавать имущество, тем более иностранцам...

Но зато дочь: деловитая, бойкая, соображает быстро. Ее «военный жених» только что вернулся, он радиомеханик, может мастерскую открыть, только немного денег нужно, и со свадьбой поторопиться лучше... Какой то там клочок земли на болоте,

разваливающийся домишко — кому это нужно? Девочкой отец взял ее с собой как то, так комары искусали так, что больше никогда... только продать, конечно, и никакой аренды .А вот насчет цены...

Цена вырабатывалась целый вечер, потому что двойная: по официальному договору у нотариуса 45 пфеннигов за квадратный метр, два тагеверка — две трети гектара — пять тысяч марок. В неофициально составленной бумажке перечислялась поставка на свадьбу: кофе, жиры, сахар, мука, какао, шпек. На это еще тысячи четыре. Но Разбойник загнал кольцо за десять тысяч: хватило.

— Два тагеверка — это по нашему — два пурных места! Ай да Ди-Пи! Помещицей заделалась! Лягушек разводить там будете — а ведь это идея, французов здесь достаточно, они лягушек едят. Следующий раз, когда корову покупать буду, пригоню ее вам, подкормиться на свежей траве, и кроме того... операции легче делать, и вам сразу доход. А рыбу ловить в озерке можно? Если есть, то есть?

— Я туда лебедей пущу...

— Лебединое озеро, дорогая, это балет! Может быть, еще замок там выстроите, раз уж развалина имеется?

— Совсем не развалина — только крыша протекает, и окна одно безобразие, гляделки, а не окна, но зато электричество есть — удивительно.

— В своем доме, говорят, и стенки помогают, а если под крышу зонтик подставить... у меня есть один, совсем немного дырявый, я вам пожертвую...

— Скажите Сашке-вору, чтобы вам джип свистнул, сообщение наладить на ваши чортовы кулички! —

— комментарии друзей, качающих головами. Свихнулась женщина, что поделаешь!

Сообщение налаживалось с трудом, как и все остальное. Сперва Таюнь нажимала на педали старенького велосипеда, подвязывая его иногда веревочками, особенно перегруженный багажник. Устройство «усадьбы» шло толчками самых невероятных сюрпризов, развлекались все знакомые и друзья. Интересно все таки: совсем ненужная вещь превращается прямо в драгоценность: кусок стекла, банка краски, старый шкаф — а о том, что из развалин натаскивалось, и говорить нечего: фрау Урсула разрешила сперва в углу двора свалить, пока нашли грузовик для перевозки кирпичей, балок, жести какой то. И чего только не бывает в наше сумасшедшее время — забавно просто!

11

Еще два-три года — крохотные черточки на той стене Дома Номер Первый — помните? — с которой началось. Их совсем не видно — как прокатившихся капель дождя на штукатурке, совсем еще новой. Может быть, легкая тень только. скольких дней, из которых запомнились немногие? — Мысли, с которыми встаешь утром — и ложишься вечером; старания, заботы, разочарования и надежды, осколочки мечты, счастья, тоски — жизнь, каждодневная жизнь нескольких лет — каждого из нас.

* * *

Демидова уже года два, как переехала в лагерь ди-пи под городом, и живет в чистенькой комнатке около амбулатории. Работает за жалованье в лагерной канцелярии: запись желающих на всевозможные курсы, ремесленные и технические. Учатся там немногому, но для переселения помогает, а ей интересны встречи с людьми.

После девальвации германской марки жизнь начала налаживаться. Черный рынок еще существует, но больше для золота и долларов. Американские сигареты перестали быть денежной единицей, и превратились просто в товар, который можно покупать из под полы дешевле. На немецком рынке стало появляться почти все: материи и мясо, ликеры и посуда. Продовольственные карточки отменены. Заводы и фабрики, хотя бы мыльного порошка, перестали взрываться. План Моргентау о превращении Германии в картофельное поле отменен, в силу вошел план Маршалла — о восстановлении. Развалины убираются. Повсюду крохотные мастерские — кое как собираются материалы из еще не уничтоженных военных запасов или разгромленных свалок. Главный капитал предпринимателей — оптимизм и упорная работа — самое необходимое, в сущности, для жизни.

Комнатка Демидовой убрана белым и оливково-пятнистым парашютным шелком, наследие Разбойника: белая занавеска с зеленой шторой на окне, зеленое покрывало на койке, унылый лагерный шкаф покрашен белой масляной краской, к выбелен-

ным стенам прикреплены букеты из сосновых веток. Есть даже несколько странное сооружение, гордо называемое письменным столом, и над ним висит на стене стеклянный ящичек с бабочками — подарок читателя — энтомолога, перед отъездом.

Да, эмиграция за океан действительно началась. В канцеляриях ИРО задаются бесчисленные вопросы, пишутся такие же бесконечные анкеты, достаются «эффидевиты», и идет порядочная спекуляция «легкими». «Легкие» — это рентгеновский снимок их — без пятен. Оказалось, что у многих не только пятна на совести, о которых они сами то знают, — но и на легких, о чем искренно не подозревали всю жизнь. А иногда простуда, случившаяся лет двадцать или тридцать тому назад оставила после себя пятно, по которому совершенно невозможно разобрать — туберкулез это, или нет. Жену, мужа, родителей или ребенка нужно поэтому «отставить» от эмиграции на испытательный срок. От этого часто разбиваются семьи, заключаются фиктивные браки (впрочем, и по другим причинам); за легкие без пятен — платят, хотя не так уж много. По новым предписаниям пребывание в армии — любой — тоже не считается уже преступлением — выдачи прекратились (несколько американских журналистов, во главе с Элеонорой Рузвельт и Юджином Лайонсом, подняли наконец кампанию в печати, и параграф Ялтинского договора о выдаче был обойден: американские власти стали смотреть сквозь пальцы, а умудренные ди-пи — врать еще вдохновеннее). Не считается также больше преступлением родиться в Киеве или Смоленске — «старая эмиграция» упала в цене. Интеллигентные профессии, в особенности актеры, журналисты, профессора — большой минус, усугубляемый еще и возрастом. Выше всего ценятся мускулы и техника, до-тридцатилетняя молодость и... дети: семья с детьми — надежный элемент, который пойдет на все, чтобы пробить себе дорогу.

Толпы серых людей в серых коридорах, тщетно старающихся объяснить что-то малопонимающим чиновникам; люди запуганы собственным враньем, к которому их вынудили, сбиты с толку непониманием, и не имеют ни малейшего представления о тех странах, куда они стремятся по принципу: куда легче попасть. Главное — уехать. Главное — начать какую то жизнь, где то. Оставаться — страшно.

Но громоздкий, ультра-бюрократический, чрезвычайно усложненный аппарат по эмиграции все таки работает, громыхая предписаниями, которые меняются каждые несколько месяцев, цепляясь за все по пути, в том числе и за собственные винтики, перемалывая номера анкет — и несмотря на все бремя многолетних ожиданий, несправедливости и глупости — делая беспримерное в истории человечества дело — расселение по заокеанским странам нескольких миллионов беженцев из разгромленной Ев-

ропы, и содержание их до этого в лагерях. Медленно, но верно их сажают в крытые брезентом грузовики или заржавленные автобусы, и везут на вокзалы, грузят в вагоны, выгружают на пароходы, укачивают в океанах, за которыми на неведомых берегах маячит странное слово: свобода!

В бело-зеленой комнатке Демидовой очередной посетитель: высокий и плотный, широколицый, серьезный, на голове серебристый ежик: инженер-латыш.

— Вот, Демидова-кундзе, — говорит он, обстоятельно усаживаясь, — зашел проститься. Удалось по ихнему супер-интендентом, а по нашему дворником к кому то наняться. Дают квартиру, а у меня, вы знаете, два сына есть. Ну, на нашей даче в Булдури я сам все ремонты делал, думаю, что и с американским домом на первых порах справлюсь, жена подработает что нибудь, дети учиться пойдут, а потом, когда языком основательно уже овладею — инженеры или хотя бы техники им тоже нужны. А как у вас с эмиграцией...? Все еще мужа дожидаетесь?

— Да, все еще. Если не погиб — то в Советском Союзе. В Красном Кресте справлялась — там таких запросов, как мой, — миллионы лежат... когда нибудь докопаются. Может быть, и вернется — Бог знает.

— Ну, а если бы вы пока уехали, а потом, если бы, даст Бог, в живых окажется — выписали бы его?

— Тоже попробовала, потому что розыски можно и из Америки вести, и денег больше будет — но и тут не повезло. У меня два раза воспаление легких было, и сказали, чтобы на повторный снимок только через три года явилась, много пятен — и так неловко получилось, что теперь и не подсунуть других легких за сто марок...

— Вай-вай — качает головой инженер. — Ну, пока вы здесь в канцелярии работаете, жить можно.

— Пока что. С пайка меня сняли, потому что от эмиграции отставлена, за комнату плачу, но это не страшно. У меня другие планы. Я всегда типографским делом очень интересовалась, потому что на литературные заработки в эмиграции даже похоронить человека нельзя, не то, чтобы прожить, и знаю его. Сейчас присмотрела один линотип, и если удастся починить, то в небольшой компании попробовать можно, главным образом с немецкими шрифтами, конечно, не только с русским...

Демидова начинает рассказывать, увлекаясь, и инженер одобрительно качает головой. Да-да, отчего же... разумная мысль, если удастся...

— Ну, а теперь я вам скажу, зачем пришел, кроме того, чтобы проститься. Укладывали вещи, часть роздали, часть просто выкинули, а вот это на дне одного чемодана завалялось, и я вам принес — по вашей части.

Бювар из мягкой кожи удивительно синего, поющего цвета, с тиснением по коже золотом, ренессансные завитушки.

— Какая прелесть — ахает Демидова. — Но дорогая вещь...

— Бювар вам на придачу. Дело в рукописи, и даже не в ней...

В бюваре стопка четко исписанных страниц.

— Видите, Демидова-кундзе, это целая история, и вам, писательнице, может быть интересно. Когда мы бежали осенью сорок пятого года из Тюрингии, потому что туда товарищи пришли, то знаете, как было... кто на буферах, на крышах поездов, если они шли... мы сидели на платформе одного товарного поезда часов десять, не знали, пойдет ли, и куда. Где то за Вюрцбургом было, не помню точно. Между прочим, нас там много сидело, и ваша знакомая одна, тоже рижанка, художница, она в Риге лошадей на Биненмуйже держала...

— Таюнь Свангаард?

— Да, но я тогда с соседкой ее разговорился — рыженькая такая, фамилию не знаю, но рижанка тоже. Мы их обеих попросили пройти к американцам, спросить их насчет поезда, они соскочили и пошли в разные стороны, американцы слева и справа по путям проходили. Свангаард подальше отошла, а эта рыженькая еще не успела, как поезд тронулся вдруг. Ну, они увидели, конечно, бросились обратно бежать, а повсюду рельсы, шпалы, бежать трудно, Свангаард отстала, а рыженькая успела подскочить, только не к нашей платформе, а сзади, и то ли там людей не было, чтобы помочь, подхватить, или не заметили, не успели, только она крикнула — и упала, не кричала больше. Поверьте, что первое что хотел сделать — сам за ней броситься, но поезд пошел быстрее, жена, дети в меня вцепились, плачут, кричат... А чемоданы их остались на нашей платформе. До сих пор помню — у Свангаард синий был, и синяя сумка с пальто. Когда мы добрались сюда, я сдал ее чемодан на главном вокзале, немцы народ порядочный, думаю догадается спросить, когда доберется, знала ведь, что мы в один город едем. А чемоданчик этой рыженькой я себе оставил. Только документов там не было, я наводил справки, в комитете, и в Красный Крест обращался — никто не отозвался. По запискам выходит, что у нее сыновья были — или она их тоже выдумала? Я их два раза прочел, пока понял: вела она с горя совсем особенный дневник: не прошлое вспоминала, а как будто будущее, как сегодняшний день описывает, день за днем. По английски это «вишфулсинкинг» называется, желаемое за сущее принимать. Пишет, как возвращается в освобожденную Ригу, начинает новую жизнь. Большая семья, видно, у нее была, сестра, племянницы — а никто не отозвался. Может быть, тоже погибли. Я теперь уеду, на новом месте хлопот не оберешься. А вы может быть обработаете как нибудь, напечатаете. Вдруг, тогда и отзовется кто нибудь. Кто ее тогда

похоронил — неизвестно... а она свою мечту так описывала, что видишь, в руки взять можно просто. Много пришлось пережить, но есть вещи... жена тоже читала, плакала. Вы сделаете, что можно, я вас знаю...

* * *

Разбойник переехал из Дома Номер Первый в хорошую меблированную комнату, в квартире с ванной. На нем хороший костюм, и он не носит больше брикетов в потрепанном портфеле, зато жена носит золотые браслеты. Деловой размах у него еще шире, но дела — совсем темные. Об эмиграции он не думает. Вот еще, лес в Канаде рубить! Деньги и здесь делать можно.

К сожалению, он понимает это буквально.

Приходят теперь к нему немногие. Трамваи и автобусы ходят регулярно и часто, расстояния сократились — отдалились люди. В конце сорок пятого был общий провал на дно, — карабкались вместе, — теперь у каждого свой путь или метания. Путь один: эмиграция. На таких, как Таюнь Свангаард — купить развалину и всерьез жить в ней! — смотрят с обидным сожалением. Правда, муж у нее пьет и не работник, но...

Пересудов в лагерях множество. О сплетнях и говорить нечего, но доносы — часто на неизвестных совсем людей. Сколько лет эти анонимные доносы принимались американцами всерьез, зачислялись в архив «личного дела» будущего эмигранта! Нередко человек, прошедший все комиссии, внезапно, без объяснения причин, снимался чуть ли не с борта парохода. Донос — и кончено. Объяснения и опровержения бесполезны. В лучшем случае — подавать прошение об эмиграции снова, в другую страну, и снова ждать, ждать, — годы. Некоторые присяжные доносчики были даже известны — их боялись и сторонились, но почему то не нашлось никого, кто отбил бы у них охоту. Беженский конгломерат или клубок состоял из людей, которых слишком часто сбивали с ног, давили и коверкали, предавали и обманывали. Советская душерубка десятками лет, чекистские пытки и нравственное уродство жизни, германский сапог над унтерменшами, лагеря и гестапо, война и налеты, бегство и голод — сколько людей могло пройти сквозь это и остаться стойкими, сохранить свое достоинство и независимость до такой степени, чтобы защищать его?

«Лучше уж, знаете... промолчать, не трогать... чтобы чего нибудь не вышло». Боязливая формула мелкой трусости запуганного человека — резиновый мешок: при ударе вмятина, он прогибается, но приспосабливается снова, выгибается заново, человек карабкается, оглядываясь во все стороны, шарахаясь от начальства и соседей. Увы, потеря мужества не компенсируется

беззащитностью. «Моя хата с краю, ничего не знаю» — эта вторая формула маленьких людей не спасала их никогда от того, чтобы все, что они отказывались познать — и, если зло, противостоять этому — не обрушивалось бы на них, давило, калечило, и большей частью уничтожало не меньше, чем тех немногих, которые возмущались и шли против зла. Революции делают не те немногие, которые наносят первый удар: революции делают те толпы маленьких людей, которые боязливо поворачиваются к ним спиной, покорно подставляя эти спины. И маленьких, по трусости, невежеству, слабости сторонящихся от всего, что кажется им угрозой — слишком много. Только ли в мягкой и безудержной, анархической славянской России? В передовой, дисциплинированной Германии много людей жалели евреев и шарахались от одного упоминания о лагерях смерти — подальше...

* * *

Над Демидовой подсмеивались часто, но к ней тянулись многие. «Литературная чашка чая» заменялась серебряным, еще из дома, подстаканником, ходившим нередко в круговую с бутылкой вина, все чаще заменявшим теперь самогон.

Вино привозила пани Ирена, суетливо вынимая из громадной сумки деликатесы: сверток ветчины, копченую рыбу, тяжелые гроздья винограда, банку с кофе в подарок хозяйке. Пани Ирена, на удивленье всем, устроилась пока что лучше всех. Да, как только в городе стала выходить крупная немецкая газета, она отправилась в редакцию, а затем на радиостанцию, и терпеливо дождалась приема. Ждать, впрочем, пришлось не долго: у всякой секретарши широко раскрывались глаза, когда эта худенькая и ободраная блондинка скромно предлагала:

— Скажите, не нужны ли редакции переводы с китайского? И с французского тоже...

Китайские переводчики на улице не валяются — в Китае события: Мао, Чан Кай Ши и Формоза. Штатного места ей пока не дали, пообещав в будущем, но зачислили постоянной свободной сотрудницей — и гонорар набегал каждый месяц. Гонорар платил и музей, вылезший из военного подвала, где она помогала разбирать китайские коллекции, переводя названия и тексты. Пани Ирена жила теперь в теплой приличной комнате, взяла на выплату пишущую машинку, и каждый месяц покупала что нибудь для себя и хозяйства. Немного приодевшись, — а у нее был вкус, как у всех полек — сделав прическу, она перестала теперь походить на сову, хотя попрежнему смотрела своим ступенчатым взглядом: сперва прямо, потом как будто поверх очков, хотя не носила их вовсе. В сущности у нее были очень красивые

голубые глаза, и нос перестал быть острым. Однажды Таюнь, взглянув на нее в косом луче солнца, восхитилась:

— Пани Ирена, вот так я вас нарисую! Золотой с голубым маркизой! Кринолин, парик . . .

Поправку на взгляд художника, восхищающегося не только тем, что есть, но главным образом тем, что он видит в этом — сделать надо, конечно, но если в Доме Номер Первый пани Ирена была запуганной, невзрачной и смешновато-жалкой совкой, то теперь она стала надтреснутой, но очень милой статуэткой.

У Таюнь этой осенью расцвел куст перед домом — и бледно палевая роза, не успев раскрыться как следует, съежила кончики помягчевших, как тряпочки, лепестков, слегка обожженных холодом. У пани Ирены был теперь такой цвет лица. Эти поздние розы трогательны и беспомощны, но еще не раскрывшиеся и уже увядающие лепестки держатся иногда очень долго, прежде чем осыпаться. Роза на кусте держалась целую неделю.

Таюнь часто заглядывала в лагерь: навестить знакомых, прежде всего Демидову, узнать новости: кто едет, посмотреть спектакль неплохой драматической труппы, боровшейся со всеми недостатками барачной сцены, костюмов и с непомерными самолюбиями режиссеров и актеров: все подряд были в прошлом в Художественном театре, и каждый доказывал, что кроме него, никто не мог быть. Летом лагерь с его немощенными улицами между рядами бараков, пылью, щебнем, облупленными стенами, развешанным повсюду бельем и вонью из примитивных уборных угнетал своей убожестью. Но зима принаряжала снегом, закутывала помойные ямы и километровые пустыри, дым из труб стлался над белыми крышами теплым уютом, на снегу скрипели сапоги мужчин, половина их носила казачьи кубанки и меховые шапки, и все это, обжитое уже, напоминало чем то русскую деревню с таким же вот леском поодаль, за снежным полем.

— «Вьется в дымной печурке огонь — На поленьях смола, как слеза — напевает Платон, подкладывая дрова в печурку.

Таюнь, как всегда, отмечает про себя: черный цвет жести, блики оранжевого огня на жирной копоти, — вот особенно в этой проржавевшей щели . . . можно использовать сюжетом для рождественской открытки. Старое немецкое издательство, выпускающее детские книжки и открытки возобновило теперь работу, и ей удалось пристроиться: берут почти все рисунки и акварели, сто марок за эскиз не так уж много, но на три рисунка в месяц уже жить можно, а они пока берут и больше . . .

— Куры начали нестись! — торжественно объявляет она и в доказательство вынимает три яйца, уложенных в коробочку с сеном, как конфеты. — Подумайте, так рано, еще до Рождества! Это потому, что я так утеплила курятник.

— Такие помещицы, как вы, сами в них на зиму перебираются — лениво тянет Платон. — Чем же вы его так сельскохозяйственно утеплили?

— Сейчас он заведет Таюнь — бормочет вполголоса, но чтобы все слышали, фыркающая Оксана Демидовой. Оксана перебралась в лагерь больше по лени. С тевтоном Гансом она давно рассталась, и в Дом Номер Первый больше не заглядывает. У нее есть эффидевит в Америку, работа на спичечной фабрике — обычный этап эмигрантов — ей обеспечена, а пока она рисует и дальше свои маки и розы, и начинает подумывать о настоящей картине даже — очень уж соблазняет этот прохладный свет окна на север в угловой комнатке барака. А других забот в лагере нет, едой она никогда особенно не интересовалась, дров хватает, картины продаются, и она уже стала раздумывать — чего бы купить, чтобы стоило увезти с собой в Америку, но пока копит доллары, всегда пригодятся. Гораздо серьезнее вопрос: обрезать ли ей косы, или нет? Кос в Америке не носят, она спрашивала даже в ИРО, а с другой стороны жаль: они теперь как шелковые стали, венком вокруг головы.

— Во — первых, у меня уже есть усадебный опыт — возмущается Таюнь.

— Но нет кирпичей. Сколько ни таскали, все мало...

— Зато есть полезные советы — и мысли. Сарайчик, правда, был с самого начала, но весь разваливался. Вбиваешь гвоздь — и боишься, что подпорки рухнут, крыша на голову свалится. Пани Ирена по своим китайским образцам надоумила: камыша на болоте — сколько угодно. Я его два дня подряд резала, сушила, связала проволокой в маты, стенки обложила, глиной подмазала, потом еще ряд, еще... и штукатуркой сверху. Теперь стенки толстыми стали, и в курятнике теплее, чем в доме.

— Великий человек на малые дела! — насмешливо отзывается Платон, вспоминая, как провожал однажды пани Ирену к Таюнь, и та заставила его вбивать эти самые гвозди... Нет, один раз намахался и хватит, больше его в эту карманную усадьбу никакими обедами не заманишь, хотя пироги она действительно умеет делать...

— Оскара Уайльда — задумчиво говорит Демидова — читали наверно все. Но большинство знает его «Портрет Дориана Грея», сказки, ну еще балладу Рэдингской тюрьмы. Поверхностно считают эстетом и только. А мне кажется, что я действительно поняла его как следует только после «Де профундис» и «Разговоры с другом». Особенно вторая книга — философский диалог. Поразило утверждение: литературные типы создаются не столько, как отражение жизни, сколько литература создает их, предвосхищая имеющее быть, и потом жизнь, в подражание, выявляет их по литературным образцам. Уайльд конечно немыслим без

парадоксов, но почему парадокс не может быть истиной? Только потому, что она кажется нам поставленной вверх ногами, не освоились с ней, не видим по первому взгляду?

— Это вы к чему? — спрашивает пани Ирена, настораживаясь. Она давно уже заметила синий флорентийский бювар с золотым тиснением, на видном месте.

— Новое написали? — Оксана проследила ее взгляд.

— Нет, не я, это странная история... Помните, Таюнь, вы рассказывали, как попали сюда осенью сорок пятого года, потеряли по дороге свои вещи, потому что соскочили с поезда и спрашивали что-то у американцев...

— Пошли вдвоем с соседкой по платформе, и поезд пошел вдруг, но ей удалось вскочить, кажется, а я...

— Нет, она так же не успела, как и вы... Теперь я узнала, что один из ваших попутчиков сдал ваш чемодан здесь на вокзале, а ее оставил себе, и в нем вот этот бювар был...

— Как же она?

— Сорвалась, когда пыталась взобраться на идущий поезд, и только раз крикнула... Лаздынь-кунгс сказал, что все это время разыскивал ее родственников, но никто не отозвался... он уехал теперь в Америку, а записки ее в этом бюваре оставил мне. Когда соберемся все, прочту, только выдержки вкратце, чтобы вы поняли, в чем дело, подробностей здесь слишком много, а имени ее не осталось, но хочу сказать: если бывают поэты в жизни, которые не стихи пишут, а жизнь творят, как песню — то вот она из них. И это не мемуары. Написано, судя по всему, в сорок пятом году, когда она осталась одна. Муж, очевидно, был убит, или пропал без вести, а сыновья — Веселка, от Всеволода уменьшительное наверно, и приемный — Ларик, от Лариона, — где то на фронте еще. О том, что союзники всю Восточную Европу, в том числе и Балтику, отдадут большевикам, она конечно не думала. Эти записки — рассказ о том, как вся семья собралась понемногу, и они вернулись домой, в освобожденную Латвию — да, она рижанка повидимому. Конечно, сплошная мечта и лирика, но я не могу отделаться от мысли: если человек рассказал о своей жизни, какая была, и умер — все понятно. Если он сочинил утопию о фантастической жизни никому неведомых людей в будущем — тоже. Но если она продолжила свою жизнь дальше, в дневнике настоящего, и погибла, не успев пережить, то эта жизнь — осталась как то, — кому? чья? Осталась в бюваре?

— Причем тут метафизика. Возьмите Коренева: три года ждал эмиграции, брат его выписал, месяц тому назад получил все бумаги, наконец, направление на пароход — и умер от удара. История не такая уж обычная, но не замечательна ничем. Насмешка судьбы.

— Вот прочту, — все, кажется, собрались? — тогда вам может быть понятнее будет. Начинается с того, что она возвращается с обоими мальчиками и подобранной где то украинкой — Гапкой, из остовок, вероятно, в товарном вагоне в Латвию. Получили целый вагон потому, что везут всевозможные вещи для хозяйства, двух казачьих лошадей и даже какой то племенной скот. Рассуждение здравое:

«...большевики все, что возможно разграбили и уничтожили. А мы хотим иметь свой дом. Меня, мальчики, с Викой, теткой вашей, всегда тянуло к земле, может быть потому, что выросли на ней, не могли примириться потом с коробками городских домов. Настоящее место человека — под солнцем, в саду. Вика, когда вышла замуж за своего «Добрыню Никитича», как вы прозвали его, арендовала ту усадьбу, где мы так часто бывали, Веселка, но ты не знал, как она билась, пока все наладила, и я помогала... А когда мы обе скопили достаточно денег, что бы купить усадьбу — Балтику заняли большевики.

«...Объяснять надо Ларику, он приемный. Сын советского бухгалтера, когда вошли немцы, он отбился от родителей в бегстве, вот и приютила его. Младше Веселки на два года. Сперва был таким недоверчивым и робким, не понимал простых вещей, потом привязался. У Веселки давно нет отца, пусть хоть брат будет. А ты мой любимый, еще неизвестно где, но мы увидимся — в белом доме.

«Да, я — неискоренимая провинциалка. Хочу иметь гнездо. Пусть мальчики выучатся ценить свое, а не покупное. Пусть в любой современной жизни у них будет крепость с нерушимым укладом и традициями, и красота — во всем. У меня нет талантов. Знаю языки, долго работала в лесной фирме, теперь она возрождается снова, будет хорошее место, приличный оклад, могла бы взять квартиру в городе, без хлопот. Но я хочу создать хоть что-то, а дом — это творчество, и уже очень много. И когда я закрываю глаза, и вижу перед собою теплую, пронизанную солнцем зелень гороха на грядке, смеющееся в нем лицо Веселки, мне кажется, что я держу в руках солнце...

«...Мы в Риге! Пробежать бы скорее по знакомым улицам, зайти во все привычные дома, увидеть старых друзей, и себя самое с ними, как тогда... Боже мой, ведь этого ничего нет больше, улицы изуродованы, дома разбиты, а людей нет...

— Мама — Рыжик, не плачь, пожалуйста — говорит Веселка, а у самого на глазах слезы. — Ты ревешь, наш Ноев ковчег на запасном пути орет — куда мы с ним? Не в гостиницу же?

«Отправляемся на поиски. Сперва в милые заснеженные улички Торнякална, там найдется сарай для лошадей и вещей. Нашелся. И две комнаты у уцелевших знакомых. И старик Калнынь, бывший директор страхового общества. Он все знает...

«— Есть для вас подходящее, бесхозяйное имущество. Берзумуйжа. Когда то баронам Коорт принадлежала, но они после первой мировой войны уже там не жили. Километров пятнадцать, около Спильве . . .

«В понедельник начинается моя служба, а в воскресенье седлаем лошадей — застоялись. Теплый мартовский день. Небо чистенько вымылось, надело кружевные переднички облаков, сияет солнцем. Кони чавкают копытами в месиве растаявших дорог. Ласково пушится верба на красных лакированных прутиках. Пахнет тающим снегом, обсыхающей землей — весной. Пришлось проплутать, спросить почти некого. Далековато все таки. Впрочем, в Берлине по часу в вагоне подземной дороге сидишь, и ничего, а тут сперва на лошадях ездить можно будет, потом, может быть, автобус пойдет, или свою машину завести . . . Сворачиваем наконец к берегу Двины — и вот он в саду, просвечивает колоннами крыльца. Ге-ть! — кричу я, и мы несемся по дороге, по полю, через повалившийся забор. Да, это дом — наш. Слезаем с лошадей, идем на цыпочках, чтобы не спугнуть тишину. Мальчики притихли. Двери заперты, ключей нет, но одно окно все равно выбито. В комнатах — пыль, солнце, паутина и тишина. Колонки крыльца облупились, кое где цветные стекла еще есть. Широкая лестница из холля в мезонин. Стоят тяжелые шкафы и клочковатая мебель, но везде паркет, изразцовые печи. Обои висят клочьями, ставни оторваны . . . «Двенадцать комнат» — считает Ларик. — Неужели мы будем здесь жить только сами?»

«А Вика с ребятами? Еще не хватит, вот увидишь!» . . . Сад большой, на хороший гектар, много ягодных кустов, место для огорода. Столбы забора повалены, решетки заржавели, но сараи есть, а за ними луг, заливчик, островок даже в нем . . . кроликов разведем на островке . . . «Значит, берем, мама? — выпаливает вдруг Ларик. — Дворянское гнездо, как в книгах?»

— Дом — развалина — говорю я на следующее утро Калныню. Дешевле новый выстроить, чем починить. «Но он хитро подмигивает: «Оценка зависит от Бикерса.» «Который Бикерс? Инженер? Я с ним в Берлине под налетами сидела» . . . Бикерс помог. Дешевле нельзя оценить, гроши, даже на первое обзаведение деньги остались еще, и мне аванс обещали дать большой на устройство . . . Мальчики стараются во всю. Засеяли поле, раскопали огород, несколько комнат починено, чердак выметен. Соседние хуторяне — ограбили их дочиста — приходят просить лошадей для работы, и за то помогают тоже. В моей фирме получила все доски, фанеру — куда лучше обоев, обиваю стены панелью, золотится под лаком. Надо успеть — к первой Пасхе на родине, после стольких лет, в своем доме.

«Мне жаль людей без праздников. Они гордятся тем, что могут обойтись без них, или устраивать, когда захотят, не по

календарю. Неправда. Просто у них серая, скучная и унылая душа, не знающая ни тепла, ни нарядности. Нужно расцвечивать жизнь... Полчаса считаю на бумажке. Благоразумнее было бы купить сенокосилку, но... я достаточно благоразумна и в будни. Вместо нее купили старую извозчичью еще пролетку.

«В Страстной четверг уборка кончена, в отполированных стеклах блестит вечернее солнце, новые занавески торжественны и белеют пышно.

«Помнишь, Ларик твою первую Пасху в Риге, в сорок первом? Мы с Веселкой пошли на Двенадцать Евангелий, а ты проводил нас до собора, сам жмешься у паперти — и ни шагу дальше? Я не настаивала, конечно...

— Как мне хотелось тогда пойти с вами — вспыхивает Ларик. — Я ведь никогда не был до того в церкви, и не мог понять — как вы, и остальные не боитесь идти, зная, что вас возьмут на учет, и там не весело совсем, вы все плачете.

«Тогда страшное время было, советская оккупация. И теперь в тот же собор, только совсем иначе...

«После службы останавливаюсь на паперти. Так же, как помнила все эти годы: синее небо в лампадках звезд, цепи оранжевых огоньков растекаются в вечернюю синь улиц. Хочется закрыть огонек ладонью, чтобы она потеплела от огня, не задуло свечи. Но у нас красивые фонарики из цветных стекол — чуть ли не сотню нашли на чердаке, донесем живой огонь до дома... и как теплеет вся комната от зажженной лампадки! Ларик в восхищении, никогда еще не видел. «Смотрите каждый за своей, — говорю я. — Дети боятся темноты. И у нас, взрослых, есть своя темнота, и чтобы не пугаться ее — посмотришь на лампадку, и спокойнее станет. Горит — значит есть тепло и свет.» Из города привезла гиацинты, пахнет праздником, и шоколадные яйца, — пахнут тоже! И когда в двух шагах от меня высокий белобородый архиерей торжественно поднимает руку и открывает золотым крестом кружевную решетку дверей, когда в гулкой тишине на остановившейся площади высоким истомленным всплеском падают слова «Да воскреснет Бог» — я плачу, потому что годами ждала этой минуты. Плачу, потому что вижу за толпой не деревья бульвара, а ряды ушедших — по ту и эту сторону. Плачу, потому что сподобилась услышать, что «расточатся все врази Его, яко тает воск от лица огня!»... Воистину Воскресе! — звенят каменные ступени крыльца. «Воистину Воскресе! — разливаются гиацинты на пасхальном столе. Воистину!

«Пригласила директора к себе на Пасху, ему очень понравилась моя усадебка. Очень удобно для маленькой лесопилки — отделение фирмы, он дает мне кредит. Заведывать будешь ты, Веселка. Получишь гатер и грузовик, плоты разгружаются на берегу, готовые доски возить в город. А Ларик отправится осенью

в сельскохозяйственную Академию, на садоводство и лесничество учиться, я знаю, к чему у него душа лежит, этим летом мы пустырь у луга в такой образцовый сад превратим . . .!»

* * *

Демидова остановилась, чтобы перевести дух.

— Сельскохозяйственный каталог с балетом пополам — проворчал Платон. — Руководство для поэтических хозяек, да вы еще своей лирики наверно подбавили. Откуда у нее шоколадные яйца в разгромленной стране появились? И вообще все как по щучьему велению . . .

— Вот у Таюнь в ее домишке тоже все как по щучьему велению появляется. Только того труда, который в это вложено, вы не замечаете. Когда наша карманная помещица новым приобретением хвастается, я прежде всего подумаю, как у нее от него спина болела . . . а здесь — мечта в чемодане, желаемое за сущее принимается, не забывайте.

— Лучше мечта в чемодане, чем совсем без нее — вырывается вдруг у сидевшего в углу молодого человека, и Демидова внимательнее присматривается к нему. Кто привел этого странного мальчика? Зовут Сергей, бывший юнкер, кажется, из Италии, у Краснова был. Очень густые, откинутые с умного лба волосы, как шапка, лицо полудетское еще, глаза печальные и рот искривлен как то . . . надо будет поговорить с ним поближе — решает она, и берется за страницы дальше.

* * *

«Троица. На скотном дворе желтые чирикающие пушки. На «кроличьем острове» машут веселые уши ангор. Две каракулевые овцы принесли двух ягнят, все на развод, будет стадо. В Балтике еще никто не разводил их, но я знаю, что им надо. А в цветущие сиреневые кусты зарыться хочется . . .

«Опять дождик» — говорят уныло в городе. А как мы радовались, что пошел дождь! На поля, огород, сад! Небо низко улеглось на землю, закутало все туманом мелкого, теплого, серенького, как шкурка, дождя: Как пахнут даже дороги! Как хорошо сидеть за столом, сражаться с телефонами, смотреть в перерывах на потускневшие стекла и мечтать, что вечером можно будет пройтись по шумящему саду, вымокнуть в траве, и потом переодеться, затопить камин, слушать дождь . . . Но помечтать не пришлось. Раздался звонок и совершенно неожиданный голос Вики произнес:

«Рыжик, слава Богу! Мы приехали и сидим на вокзале.

«Конечно, шеф дал мне свой автомобиль и отпуск на этот день. На вокзале — пыльная, несмотря на дождь кучка сбившихся птенцов-ребят с измученной Викой и устало-радостная улыбка Добрыни Никитича. Так уж повелось за ним это имя, хотя он только Никитич, за то по облику — былинный богатырь. Правда, теперь от былинного осталось только «было», но надо оправиться, и тогда мы еще поработаем... Теперь мы все вместе. Только тебя еще нету, любимый мой. В саду остро пахнет землей, цветами, мутные от дождя ветки тычутся в окна. В старом белом доме детское топанье, голоса, смех. Еще путаются в дверях и комнатах. Может быть, завтра будет солнце, или снова пойдет дождь. Все равно. В белом доме — мечта, ставшая счастьем.

«...Да, новоселье должно праздноваться на Иванов день. Самый большой праздник северной весны. Как жалко и пусто было в Германии среди давно уже скошенных полей в этот день, без белых ночей, костров и домашнего пива!

«Программа грандиозна — это еще и рожденье Веселки к тому же. Добрыня Никитич привозит новенькие, приятно пахнущие свежим деревом бочки и растит солод. Вика наварила несколько «колес» Ивановского сыру. Два дня подряд печем пирожки и печение. Навезли хворосту на громадный костер, подвесили на шестах смоляные бочки, и телега дубовых листьев: плести венки и гирлянды. С моря будет виден наш костер!

«Раз традиции, значит, по обычаю — в Вечер Трав я отправляюсь в город продавать зелень — заявляет Добрыня. — Катюшка, ты со мной на возу.

«Ох уж, и огрею я тебя калмусом!»

Объясняем недоуменному Ларику. Двадцать второго июня — Вечер Трав в Балтике. На набережной, на всех площадях в городе — приезжие хуторяне, с цветами, венками и пучками аира — калмуса на продажу. Тут же бой цветов и народное гулянье. Иванов день празднуется три дня. Вся Рига на пристани — первый настоящий вечер трав за столько лет! Дети в пестрых бумажных коронках и венках, у всех в руках цветы и аир — узкие зеленые листья пахнут так свежо и сладко речной водой и лилиями, плещутся, бой пучками калмуса в разгаре, «Лиго» — ивановские песни звенят на каждом шагу, сама Двина смеется солнечной рябью, даже на старых башнях города висят гирлянды — или кажется так?... Потом мы катались по Старому Городу. Улицы неузнаваемы: Рига всегда была немного чопорной, а теперь завалена цветами, под ногами хрустит калмус, под липами бульвара хорошенькая цыганка продает цветы и гадает, повсюду поют и танцуют, на всех площадях оркестры... В бледных сумерках Ивановой ночи с засыпающими на сене ребятами мы

вернулись домой. Поющий город затихает отодвигающимися домиками предместий. Заря дрожит светлой полоской за лесом — с другой стороны неба алеет уже рассветная заря, звенит тишина, и в лесу разворачиваются с тугим шелестом веера папоротника, на которых завтра в полночь вспыхнет огонь-цветок. Вечер трав, чудесная моя земля — слышишь? !

«На следующий день с утра солнце, конечно. К дверям прибиваются венки из дубовых листьев, развешиваются фонарики. Веселка превратил старую лодку в гондолу... гости со всех сторон. Набираю кампанию в лес — за Ивановой травой, я уже присмотрела болото, где она растет: вроде дикого горошка, но гораздо больше, и с одной стороны цветы ярко-желтые, а с другой — сине-лиловые. Набираем охапками, чтобы опахивать ею скот и дом — класть на порог, чтобы добрые духи охраняли домашность... Лиго — звенит с соседнего хутора. — Лиго — откликается на реке. Лиго! Вечер Ивана Купала! Лиго! Ладо-Лель, весенний, могучий, славянский бог Ярило, хмельной от росы полевой, от цветочного меда — и от любви, конечно...

Алексей, молодой актер, картинно останавливается на ступенях террасы и запрокидывает голову: «Верит народ, что велик Гром Гремучий каждую весну просыпается от долгого сна, и сев на коней своих — сизые тучи — хлещет золотой возжей-молоньей Мать Сыру Землю... Будит та стрела и мертвых в могиле... Ходит Яр-Хмель по ночам, и те ночи хмельными зовутся. Но кого Ярило воззрится, у того сердце на любовь запросится...» декламирует он стихотворение в прозе Мельникова-Печерского — Ивана Купала такой же русский праздник был, как и латышский... За садом взвивается ракета. Идем всей гурьбой на костер — будем прыгать, в горелки играть... из смоляных бочек летят огненные искры, Добрыня разносит кувшины с пивом... только утром раскладываем гостей — в комнатах, на сеновале... мы с Викой просто валимся с ног от усталости. Тяжело хозяйкам выдержать такой праздник, но зато как хорошо!

«...Отдыхаем на следующий день после обеда с громадным тортом и свечами, в честь Веселки. «Ну вот, — говорит он, солнце повернулось теперь на зиму, давай строить новые планы.»

«Все очень ясно. Добрыня Никитич будет заниматься нашим сельским хозяйством, ты на лесопилке, Ларик в саду, Вика по хозяйству дома, и я помогу конечно, после службы... скоро начнутся печенья, соленья и варенья. Бочками заготовим на зиму, это не консервы фабричные! Следующий праздник — Жатвы, осенью, разукрасим сноп, и оставим его на чердаке до Рождества, пойдет на елку птицам. У камина будем яблоки печь... Труднее всего придется вам, мальчики, во время войны вы от рук отбились, видели слишком много страшного, привыкли к незадумывающемуся над завтрашним сегодняшнему дню. Браться за книги,

учиться, будет скучно, но мы позолотим пилюлю. Главное, что дом, это не просто хорошая квартира... Вы очень молоды, вам трудно отступить на шаг назад, посмотреть на последние тридцать лет. Сейчас кончилась вторая мировая война, а конец старой культуры начался вот эти тридцать лет тому назад. Это не значит — мирное доброе старое время, не значит, что все было прекрасно раньше и все люди были ангелами. Но к тем людям, которые считали себя человеком, раньше прививались определенные понятия и предъявлялись очень строгие требования. Были устои, была этика и традиции, жизнь строилась на них. Теперь этика утрачена и традиции уничтожены, жизнь стала не строительством, а разрушением. Переходные эпохи очень интересны — для историков, — но не для эпигонов. Вы, двадцатилетние — осколки старого, врастающие в новое. Надеюсь, что доживем до нового солнца, но сумерки тяжелы, особенно, если мы не стоим крепко на ногах, и каждый невежда, каждый хам может загнать нас в угол. Вот потому белый дом, который мы строим — это крепость, символ. Из него идет тепло — от лампадки, от ковров и цветов, от того, что мы бережемся, чтобы не запачкать сапогами паркета, не оскорбить цветы в вазе грубым словом. От того, что каждый старается внести в него самое красивое и лучшее, думает о других, и учится терпению, долгу, и радости. Вот в чем смысл дома... а теперь просто помечтаем. Скоро будет чудесная, золотая осень, с веселой рябиной в саду, вечерами у камина, и снег, наконец, белый, как дом, ласковый, как кот, танцующие звезды Рождества... Мы поедем в город на рождественский базар для настроения, будем золотить орехи и шишки, на елку до потолка, запечем золотую монету в пирог для святочного короля, и первое Рождество в белом доме будет, как соната Грига, как снежная песня... Аминь, что значит: да будет так»!

* * *

— Вот и все — устало сложила Демидова листки. — Круговорот года закончился. Жизнь тоже. А мечта — нет.

— Картину нарисую — вздохнула Таюнь. — Как она выглядела? Сухие разъездные пути, синие рельсы, песок, щебень — и над этим, поверх, белый дом в сирени, а на первом плане ее...

— Окровавленную, на рельсах? — Демидова, как хлыстом ударила — кое-кто из слушателей пожимал плечами над «балетом» — это она чувствовала. — Если мне удастся напечатать когда нибудь ее записки — я прибавлю к ним мое послесловие. Да, лирика. Я видела достаточно, как насиловали, издевались, чекисты и гестаповцы, уроды и психопаты, предатели и убийцы... кровь, кровь и грязь без конца. Но если писатель изобра-

жает только ужас и мерзость, то что он дает этим? Ужас перед ужасом? Толчок в бездну из страха перед нею? А на что опереться, на что надеяться, во что же верить тому, кто читает? Выходит, значит, что чем сильнее талант, тем сильнее он выбивает почву из под ног и толкает — куда? Нет, я знаю, что у меня недостаточно сил, чтобы крикнуть достаточно громко, но сколько хватит этих сил, несмотря на все, что я видела, именно потому, что я видела и пережила с открытыми глазами, не пряча голову в песок, я повторяла и буду повторять, как вот эта безвестная, рядовая женщина, средний маленький человек, не обладавшая никаким талантом, кроме своей мечты, то же самое: Ларики и Веселки, Добрыни Никитичи и Вики, и вы, безымянные — все — не забывайте о белом доме! Сегодня или завтра, здесь или там, и еще где нибудь — стройте! Складывайте мечту по кусочкам, потому что она должна стать жизнью, и она — главное. Не все же погибнут. А у тех, кто не погиб — должен быть дом.

12

— А ведь этот Сергей — тот самый, с сиреневым букетом был — я узнала его — шепнула Демидовой пани Ирена, уходя, и та, уставшая от чтения, ничего не поняв, понимающе закивала головой. Иногда голова распухала, как большая жалобная книга, в которую каждый старался всунуть свой листок: несбывшиеся надежды, потери, провалы, отчаяние, воспоминания. Жалобы у каждого, окрашены по разному. Иногда трудно переключаться от погибшего сына к обманувшей любовнице, от алкоголизма к истерике, от цинизма к глупости — и встречаясь с человеком снова, сразу выхватить нужную страницу: привычки, несчастья, разноцветные ниточки. Впрочем может быть и хорошо, что голова наполнена этими судьбами до краев. Меньше места для мыслей о себе и — одиночества, да и самообмана тоже. Сперва не могла придумать, как же рассказать мужу, когда тот вернется, как Маринка и Наточка на ее глазах погибли, побежали по улице после налета и попали под затяжную бомбу . . . пальчики у одной на тротуаре остались . . . потом стало думаться только, вернется ли он вообще. А то, как любила их всех, какой хорошей, полновесной была жизнь — стало бесплотной тенью, будто и не было ее вовсе, от отрезанного ломтя и крошек не осталось. Нет, не жалоба это — только пусто стало. Лучше подумать о чужих жизнях. Может быть, иногда и удастся помочь, хоть попытаться помочь . . .

Она не удивилась, когда однажды вечером явился Сергей, смущенно и упрямо задержавшийся у двери, разминая в руках узкий сверток в тонкой бумаге.

— Вот принес вам . . . розу. За то, что вы прочли тогда. Только одну, к сожалению . . .

— Что вы, спасибо! Я уж и забыла, как они выглядят! Садитесь, а я ее сейчас поставлю . . . вазочки нет, но в стакан хотя бы . . .

— А почему в бутылку нельзя? — строго спросил он, хмурясь — тоже дурак, не догадался, что у нее и вазы может не оказаться, в бараке живет, надо было достать, чтобы по всем правилам . . .

— Поставить конечно можно, но это значит обидеть розу. Все должно гармонировать. Прекрасный цветок в бутылочном стекле

— это режет глаз, нарушается гармония. Молоко в бутылке, или водка — в порядке вещей. А роза — нет.

— Все на своем месте, и гармония необходима?

— Конечно, иначе плохо получается, искажается и одно, и другое.

Сергей поднял голову и не мигая уставился на Демидову.

— Ну, а Бог тогда как же?

— То есть как?

— Я с вами поговорить пришел. Вы умная женщина, видели много, и... сказки пишете. Читал. Над одной плакал даже, не стыжусь.

— Таких слез стыдиться не надо — тихо сказала Демидова.

— Знаю, что вы поймете, если и не смогу объяснить. Так вот я спрашиваю: вы говорите: гармония, чтобы все на своем месте, а куда же в нашей жизни, в такой, как она есть, Бога то поставить, в какую вазу Его всунуть, чтобы соответствие это было? Военнопленные лагеря видели? Доходяги ползали под конец, траву, листья жрали. А в концлагерях? А газовые камеры? А чекисты? Гестаповцы? А в Лиенце на Драве священников по голове дубасили, когда они с крестом на коленях умоляли не выдавать людей... а англичане, розовые и бритые, смотрели, как женщины с моста детей в Драву кидают, и сами за ними бросаются... где же Бог?

(«Пусть выкричится, бедный» — думала Демидова, смотря, как у него сжимаются кулаки»).

— Вы сами то — в Бога верите? — спросил он упавшим сразу голосом. — Не потому, что в сказках вы о Боге не говорите. Казалось только — если не верить, то и сказок писать нельзя — простите, не умею объяснить, почему так кажется. Может быть, неприлично даже спрашивать, верит ли человек. Но как иначе спросить, у кого? К священнику пойти — он начнет из Евангелия читать, что мол на том свете все зачтется. А кто же будет засчитывать, если Он ничего не видит, что на этом свете делается, а если видит, то почему допускает такое, если и вездесущ, и всемогущ... я пробовал читать: философскую книжку в библиотеке взял. Очень гладко получается, как стекло для вашей розы. Пока в книжке написано. А вот встать перед печкой, куда людей живьем кидали, или перед грузовиком, под колеса которого люди бросались, или хоть под любым налетом — и прочитать страничку другую из этой книжки — так если бы смеяться можно было тогда — все хохотали бы просто! Нет, надо другое понять, а что понять — не знаю. Простите, если надоедаю вам, только поймите: если бы я знал, что меня услышат — я бы кричал благим матом, во весь голос кричал бы!

— Каждому человеку иногда покричать надо. Ну, а теперь давайте поговорим спокойно. Я, конечно, верующий человек, и

много думала над тем же, что и вы, в молодости многого не понимала, но когда поняла, то непоколебимо совсем, чтобы ни случилось. И тогда вот именно все встало на свое место, понятно и просто. И несмотря ни на что, всегда есть свет... есть, даже если его не видно.

— Покажите мне его — невесело усмехнулся Сергей, и протянул ей сигареты. — Закурите и объясните, только без ученых слов пожалуйста. Их я и в словаре найти могу, а мне не словарь нужен.

— Скажите — вот вы увидели эту розу. Что вы сделали?

— Ну, подумал, что таким, как вы, — я к вам давно уже собирался зайти — розы нужны, вы порадуетесь, и купил.

— Хорошо. А ведь могли не купить, или сорвать с куста, бросить и растоптать. Могли бы?

— Никогда не топтал. Ну предположим — в теории.

— Пример простой, но самое большое в жизни — очень простое. Из всего, что на земле живет, только у человека свободная воля. Дерево растет на том месте, где взошло его семя, и сдвинуться с места не может — хотя все, что растет, тянется к небу, заметьте. Волк должен задрать козу или еще кого нибудь, потому что не может есть травы, и выбора у него нет. Своя граница опять таки. Но человек создан по образу и подобию, и это действительно так, потому что в своих границах, в своем мире мы тоже творцы и создатели, по своей воле. Вы могли растоптать розу, пройти равнодушно мимо, принести ее в подарок, или хлестать кого нибудь ее шипами, чтобы мучить — все могли сделать, как хотите. Но в одном случае вы отгородились бы от мира со всем прекрасном в нем, ожесточаясь против него и его Творца. В другом — ожесточение стало бы больше, разложением и искажением вашего человеческого духа, перешло бы в тупость безумия. Но был и третий путь — увидеть, что роза красива, и принести ее в дар.

— Выходит, что Бог взял меня за руку и повел по правильному пути?

— А вы хотите всю жизнь оставаться глупым мальчишкой, который держится за материнский передник, и сам шагу ступить не может? Стыдитесь. Бог не дежурит у дверей цветочных магазинов. Только от самого человека зависит, по какому пути он пойдет, неизбежно одно: последствия содеянного. Иногда, в серьезных случаях, обратитесь к Богу за советом — совесть подскажет, как надо поступать, но только подскажет. Последуете ли вы этому совету или нет — дело ваше, вы свободны, до той границы, которая называется смертью. И нечего мешать имя Бога в наши грехи и преступления.

— А откуда может человек знать, в чем добро и зло?

— Вы о древе познания добра и зла слышали? Да, это аллегория, то есть образ, понятный и простому человеку, и ученому. В этом ее сила и смысл. А само познание заложено в душе каждого. Ребенок, едва умеющий говорить, знает уже, что поступил плохо, если солгал. Почему плохо — он объяснить не может, но знает, и если вырастая, продолжает обманывать других, то старается обмануть и самого себя; подсознание своей неправоты.

— Значит по вашему выходит, что во всех человеческих страданиях и ужасах виноваты только сами люди?

— Если добраться до самой основы — да.

— Если они сами совершают зло, и причиняют страдания другим — допустим. Ну, а чем виноваты их жертвы? Жил человек, и может быть ничего особенно хорошего не делал, но и ничего плохого тоже. Ну там, грешил немного, выпивал по субботам, что ли... а потом на него посыпались со всех сторон несчастья, и все близкие и он сам погибли мучительной смертью. Это за что же? Только для того, чтобы, скажем, какой нибудь чекист мог измываться над ним, мучить и калечить, хотя бы он и расплачивался потом за это сам? Если мы при вашей розе останемся, то для чего же она цвела, если я растопчу ее? Мне за это полагается наказание — хорошо. А розу карать за что же? Ведь бандиты и мучители Бога то не особенно ищут. Они безбожники. О Боге кричат, взывают к нему именно эти безвинные жертвы. Почему же, если Он милосерд, то допускает это?

— Скажите, вы оставались когда нибудь в школе на второй год?

— Один раз остался.

— Ну вот видите. Вам были заданы уроки, а вы их не выучили — и пришлось второй раз повторять то же самое. Так и с жизнью. Существует много откровений о бессмертии душ, и все они, если вдуматься, сходятся на одном: если в нашей жизни мы не сделаем того, что надо, или совершим преступления, то потом будем искупать их, чтобы наконец понять, что добро и что зло. В Индии это называется кармой — наследием добрых и злых дел человека, которое он получает при рождении в новой жизни. В христианстве говорится об аде — о расплате за грехи, но где этот ад может быть — не сказано. Загробный мир? Но душа бессмертна, и поскольку она живет в теле тоже, то тело, подверженное разрушению, может быть заменено новым, в новой жизни, и если человек не созрел для лучшего мира, того, что называется упрощенно раем, то он и возвращается на землю еще и еще раз, пока не поймет. Если вы продумаете это, сравните с тем, что видели, то все станет на свое место. Станут понятны и злодеи, остающиеся безнаказанными, и казалось бы ни в чем неповинные, но жестоко страдающие люди. Тяжелая карма зна-

чит досталась им от прошлого. Если же и при всем понимании останется что-то непонятное — оставьте это. Есть предел нашему пониманию. Понять Бога до конца мы все равно не сможем, слишком малкие песчинки для этого, и поверьте, что для каждой жизни, великий ли это человек или простой — достаточно, если он поймет разницу между добром и злом и не будет совершать зла, ни в делах, ни в мыслях. А все остальное приложится, и нечего мудрствовать, потому что это действительно от лукавого.

— Тяжело мне ... выдохнул вдруг с трудом Сергей и дернулся в сторону, чтобы она не видела его глаз. — Я, знаете, еще мальчишкой на фронт пошел ... и уже хвастался, что мол, обстрелянный, только это все, как в фильме было, то есть не то, что в фильме, вот товарищ упал рядом, стонет, или уже сразу мертвый, и руки оторваны, но ведь не я его убил, я только вижу, как мучаются, и у самого ноги в кровь стерты ... а тут разрывы, зарываешься в землю — даже Богу молишься, как умеешь, и это бывало ... и потом все равно становится, только чтобы тишина настала — одного хочешь — глаза закрыть, и чтобы тихо было, чтобы снова дышать можно было ... но и сам, если за пулеметом, или у пушки — так ведь не видишь, по кому стреляешь, знаешь только, что так надо, смешно, но ведь не думаешь, что вот этой очередью, этим снарядом сейчас кого разорвет ... очередь дашь, а там далеко на поле фигурки повалятся ... фигурки, как игрушечные, не люди, понимаете? Даже иногда весело как то, зло становится. Да, я злым стал тоже. Но вот на той полянке — это уж совсем под конец, ничего не думал, просто шел в итальянскую деревню за вином ... и винтовка так зря болталась только. Солнечное утро было, птицы запели, потом смолкли, самолет загудел, потом сбили его, чужой или наш, не разобрать, и вот на полянке этой — вижу белеет что-то, как облако, за сучья цепляется — и вдруг понял — летчик на парашюте приземлился, и чужая форма ... Я на него, а он руки поднял, кричит что-то. Не разобрал, но ведь понял, что кричал он, что сдается, не надо, не надо стрелять ... честное слово, я ничего не соображал, руки сами ... и только тогда очнулся, когда он уже упал ... в живот я его ... и так мне страшно сразу стало, как обухом по голове, и он уже кончился, а я все его крик слышу ... кинулся бежать, все бежал по этому лесу, заблудился, только к вечеру в свою часть попал, под арест посадили, но мне бы лучше прямо под военный суд, чтобы расстреляли. И вот с тех пор — в том самом месте, — вот здесь, в животе, куда я его ... так и болит, часто резь такая, что кричать должен. А недавно еду на машине, сумерки уже были, туман — и кто-то стоит у дороги. Я затормозил, подъезжаю медленно, — думал, подвезти кто просит. Всегда подвожу людей, всех. Поверите, или нет, но вижу, что он стоит и руками машет — не надо, не надо ... как тогда. И ведь

не думал я о нем, а вот стоит же... Я сразу как газану, в туман, как в стену врезался, а потом пришел в себя, пот на лбу выступил, холодно стало — ну, думаю, сейчас со мной катастрофа произойдет, за мной он пришел. Но ничего не случилось, спокойно доехал, как всегда. Может быть вы меня за сумасшедшего считаете, тоже сам так думал. Хорошо, — галлюцинация, но должна же какая нибудь причина быть, горячка или что, воображение. А я тогда думал только, как бы не налететь на кого в тумане, больше ничего в голове не было. Ну, довольно, простите. Я знаю, что вы никому не скажете. Невольно вырвалось, вы меня тогда, с этими записками так сказать, разбередили. Но я постараюсь понять, спасибо. Знаете, не каждому скажешь. Я все такую девушку ищу, чтобы она... как лампа под оранжевым абажуром, не яркий свет, а тепло... можно такую найти? Я знаю, вы скажете, можно. Только и у вас сказки далеко не всегда со счастливым концом, а я тоже такой — бессчастный.

Он встал и до боли трянул ей руку.

— Сергей — неожиданно для себя сказала вдруг Демидова. — Вы постоянно, я слышала, с Разбойником крутитесь. Отойдите от него.

— А деньги чем заработаешь?

— Сергей, вы молоды, вам эмиграция открыта... Засучите рукава и начните еще раз сначала, нельзя же началом войну считать, она душу искалечила, но руки, голова остались же. Учитесь, найдите профессию, которая вам по душе, а потом и девушка найдется, и оранжевый абажур тоже. Отойдите от Разбойника, Сергей. Все, что он во время войны проделывал — хорошо, своей головой играл, ну и Бог с ним. Спекулировать потом — этим мы все занимались, да и какой это грех для голодных людей — доставать из под полы — но теперь то? Он, мне кажется хочет не деньги зарабатывать, а сам их делать... ну может быть раз-два и сделает, а потом что? Сядет, и с собой всех помощников втянет, а из тюрьмы куда путь? На дно? Вы вот мучаетесь — сами сейчас говорили, а его не страх искалечил, а самонадеянная безнаказанность, именно то, что до сих пор всегда удавалось сухим из воды выходить, и не хочет он больше остановиться, за настоящее дело взяться, по настоящему работать. Но вы Сергей, можете. Если у вас никого близких больше не осталось — подумайте о той девушке, которую еще встретите — к ней тоже надо с чистыми руками подойти. Ради нее идите своей дорогой — лучше совсем один, чем с Разбойником!

Сергей стоял, отвернувшись, но все еще держал ее руку в своих. Она замолчала, от бессилья: нет, не те слова, и как показать, объяснить, чтобы не напрасно... И только когда он таким же неуклюжим рывком наклонился, и не поцеловал, а неумело

зарылся губами и носом в ее руку — она поняла, что его все таки проняло, и радостно вздохнула.

— Спасибо — сказал Сергей — и наткнувшись по дороге на стул, кинулся к двери.

* * *

Нет, это не было напрасным разговором. Через несколько недель Демидова получила открытку: Сергей уехал на курсы радиотехников и писал, что учит английский тоже, потому что собирается потом в Австралию. Теперь два года учиться будет!

Еще через месяц полиция раскрыла «типографию ауслендеров», где печатались фальшивые банкноты по пять марок. Фотография Разбойника была во всех газетах. Его посадили на пять лет, остальным дали по три года.

Через полтора года Сергей женился на такой славной девушке, что Демидова — посаженная мать — поняла, почему он мечтал «об оранжевом абажуре». Потом оба уехали в Австралию, и оттуда изредка приходили письма и блестящие яркие снимки: вот они на пляже, а вот на крыльце уже собственного домика...

...— А в какой армии он был? — строго спросил «старый парижанин» из Дома Номер Первый. Он там остался, только переехал из прежней каморки у лестницы в большую светлую комнату на первом этаже. Дом Номер Первый был теперь выкрашен в светло серый, нарядный цвет, с белыми рамами окон, с белыми прозрачными занавесками, и все воспоминания о постояльцах-ауслендерах были тщательно заштукатурены и заклеены. Замызганный когда то паркет вычищен до блеска, несколько горничных в платочках-передничках бегают по коридорам в красном солидном ковре, на площадках лестниц в углу в выгнутых корзинках лакированные листья зеленых растений.

(«Даже странно, что они зеленые — говорила Таюнь — терпеть не могу так называемых комнатных цветов. Дерево растет, гнется под ветром, живет, тянется к небу. Конечно, и эти выпускают листья, иная пальма или фикус до потолка дотянутся, но вот стоит такое недоразумение, его моют, полируют, и всегда оно одинаково как то, даже если расцветет каким нибудь неожиданным взрывом, как кактус... Доведенное до блеска вегетирование мещанства, все вошло в свою колею, и не в колею даже, а знаете, как раньше бывали в витринах у часовщиков такие часы: ящик с циферблатом, внизу что-то вроде умывальника, а из циферблата бьет туда струя воды. Конечно это не вода, а витое стекло, и в нем пружинка дрожит от часового механизма — получается впечатление льющейся воды, а воды то ни капли нет. Вот и эти фикусы-кактусы и прочие филодендроны — такие же. Впечатле-

ние есть, а жизни нету, — как у многих теперь — успокоившихся, выползших и развернувшихся» . . .)

Старый парижанин держался молодцевато, кокетничал седой головой, как маркиз в напудренном парике, и походка у него была с отчетливым стуком каблучков, а не обычная старческая — с хлопающейся бессильно, отваливающейся шарнирой, плоской ступней. Полковник работал теперь в пропагандном институте переводчиком, был очень доволен — о парижском бистро, где работал гарсоном до войны, вспоминать не любил.

Сейчас они встретились выпить кофе, поговорить о давно прошедшем, и Демидова дала ему австралийские марки с письма Сергея — полковник был страстным филателистом. Австралия — далеко, можно было рассказать о Сергее, все равно никогда не встретятся больше — а полковник видал его вместе с Разбойником . . . Но парижанин, как видно забыл — кому ему только не приходилось ставить не совсем легальные печати для удостоверения личности на совсем фальшивых бумагах в те годы!

— В те годы вы не спрашивали, в какой армии был человек — в советской ли, во Власовской, или в обеих, пополам с немецким Вермахтом — вспыхнула она. — И я вас о совсем другом спрашиваю: о возможности психических и физических последствий от нравственного шока, вызванного военными обстоятельствами. Вот почему и рассказала этот случай. Доктора тоже не спрашивают, на каком заводе была отлита пуля, которую они вынимают . . . мы все были на разных фронтах, под разным огнем, вопрос в одном: как искалечены? Только это и важно, потому что война кончается, а калеки остаются . . .

* * *

«. . . Вы мне вроде — я о Вас, как о матери, вспоминаю — писал Сергей. — Так вот: такая уж язва в желудке, что на операцию ложиться надо. Операция, говорят, легкая, но хочется все таки сказать два слова, которые давно собирался, чтобы Вы знали: «Спасибо. Я понял . . .»

Потом пришло совсем короткое письмо — от жены. Операцию сделали прекрасно — но через два дня Сергей умер от воспаления легких.

Все таки — это был не напрасный вечер. Такое не бывает — напрасным.

13

По общему мнению Юкку Кивисилд, Викинг, с его энергией, самостоятельностью и прочее, должен был бы эмигрировать одним из первых, как только переселение началось. Не только эмигранты — во многих странах многие люди переселялись, начинали жизнь, ставшую относительно нормальной и мирной, заново. Многие страны раскалывались, воздвигались новые границы. Переселение шло и в Палестине, и в границах могущественнейшей когда то империи, расшатанной теперь Великобритании, в Африке и в обеих Германиях, в Алжире и Индонезии. Пресловутая наша эпоха революций и войн, атомный век, — эпоха эмиграции не тысяч, а миллионов людей. Французские эмигранты, бежавшие от гильотины, тысячи всего, вкрапливались кое где часто блестящими точками, в незыблемую тогда еще жизнь дружественных монархий, и при всей бедности, возбуждали своей редкостью сожаление и любопытство. Но не слишком много сожаления и понимания осталось для голландских плантаторов и французских колонизаторов, строивших Индонезию и Африку, военных всех колониальных армий и Иностранных легионов, оккупационных и бывших действующих войск на Дальнем и Ближнем Востоке, на Севере и Юге, на Востоке и Западе, оставшихся теперь за флагом, для бывших остовцев, власовцев, балтийцев, чехов, югославов, венгров, немцев... Только Север Европы не был затронут переселением — пока. Но век еще не кончился, и быть может, скандинавам предстоит то же самое... от эмиграции не страхует и английский Ллойд!

Редкость привлекает всегда, а когда цифры доходят до десятков миллионов, новизна пропадает — интерес тоже, и трагедии со столькими нулями рассыпаются на столько же песчинок...

— С одной стороны, я не хотел бы расставаться с Европой — говорил Юкку. — Я — прирожденный традиционалист, а традиции здесь, хотя и поколеблены здорово, но на мой век еще хватит. Но на море мне полагается быть, и свет повидать тоже хочется. Канада понятнее всего балтийцам, по климату и природе. Земляки тоже есть. Вот, спишусь, и тогда...

Списывался он несколько лет, особенно не торопясь. Для чего ехать непременно без гроша? Лес рубить можно начать и с гра-

ниц собственного участка, — была бы пачка долларов в кармане. «Пачку» он принимал всерьез, а не в шутку. У Юкку было два счастливых качества, за которые его не любили многие: романтический талант и практическая трезвость упорства человека, считающего, что главное в жизни — работать и мыслить. Первому качеству завидовали, но могли еще кое-как простить, потому что любой талант дается не за какие нибудь заслуги, а неизвестно почему. Но второе было уже несомненно заслугой, и приводило многих просто в бешенство. Действительно: вместо того, чтобы распускаться в надрыве вообще, усугубляемом изгнанничеством в особенности, в мечтаньях не менее бесплодных, чем воспоминания — а следовательно, по своеобразной логике таких натур, спиваться более или менее бурно — этот, всего-навсего какой то там рыбак из картофельной республики, действительно работал, и ему везло . . . О том, что при добросовестности и энергии «везет» так или иначе — умалчивалось. Как, разумеется, не прощалось и того, что Юкку никогда не отказывался поставить желающим бутылку водки — но никогда не ставил — и не принимал сам — второй, а как только начиналась настоящая «беседа», поднимался, расправлял плечи и категорически заявляя, что ему надо еще сегодня сдать спешный заказ — уходил, несмотря ни на какие уговоры. Это раздражало, понятно, в особенности тех, кто предпочитал «махнуть рукой на все» и размахнуться вообще, по широте своей натуры и значения. Размах кончался обычно на дне бутылки.

Заказов у Юкку было много. Как только стали выходить газеты, он предложил в самую крупную свои карикатуры. Они пошли. Как только стали выходить иллюстрированные журналы, он поставил на хвост так хорошо знакомых ему рыб, одел их в пальто и юбки — и они, с совершенно по человечески глупо вытаращенными обалделыми глазами заплясали на страницах журналов, переживая необыкновенные, но весьма злободневные приключения.

Купив на гонорар от первого же крупного заказа масляные краски и холсты — как только их можно было достать, он, наконец то после войны смог писать и картины. Они продавались. Потом ему предложили роспись отстраивающегося мореходного училища. Потом . . . и так шло дальше. Юкку не брезговал ничем — тоже в противоположность многим, считавшим ниже своего достоинства взяться за ремесло — и время от времени даже охотно чертил диаграммы для пропагандного института, Остинформа, хотя главным его занятием в этом институте было пожалуй устройство в него своих друзей, которых убеждал, что пока что лучше иметь хоть какую работу, а там видно будет . . .

Впрочем, действительных друзей Юкку уговаривать не пришлось. Демидова ухватилась сразу, за привычное дело: править

и корректировать статьи, предназначавшиеся для разных изданий Института, — и, получая регулярное жалованье, рискнуть взять на выплату старый линотип для своей, в маленькой компании, типографии. Таюнь вспомнила, что во время войны выучилась писать на машинке — и оказалось, что пишет не хуже других, только грамотнее. Через несколько месяцев она уже строчила, как пулемет, часто оставаясь на сверхурочную работу — и осторожно влезала в один долг за другим, чтобы перестраивать и приводить в порядок свою усадьбу. Пани Ирена, как и повсюду, скромно предложила переводы с китайского — и хотя над ней смеялись, что она — бумажный тигр, но она стала действительно не бумажной, а парадной лошадью всего заведения. Может быть она была единственным человеком, вздохнувшем о Разбойнике: с его организаторскими способностями, с его наглостью ярко-синих глаз он мог бы заведывать здесь хозяйственным отделом — в таком то громадном доме! Но Владек-Разбойник уже не сидел, а лежал в тюремном госпитале, и кажется, вряд ли выйдет — и куда?

Некоторые из поэтов, — одни в промежутках, другие срываясь реже, и только третьи, самые немногие — терпеливо — стали работать тоже, дружно сходясь на одном: возмущении статьями коллег, самими коллегами, и, разумеется начальством, то есть хозяевами организации, почему то считавшими, что устроив институт, обходящийся в громадные деньги, они могут распоряжаться в нем по собственному усмотрению, а не руководствуясь личным мнением служащих, получающих деньги не за это мнение, а за работу.

Институт «Остинформ» занимал целое здание. Этажи, коридоры, кабинеты с коврами, клетушки стеклянных перегородок, и все стены в архивных полках. Работа шла кругами, захватывая все больше новых отделов, подотделов и секций, с общей целью: сбор сведений о Советском Союзе для его изучения. Здесь выпускался толстый ежемесячник с данными советской статистики и статьями специалистов — на четырех языках; еженедельник научного и другой политического характера — на двух; ежедневные бюллетени с обзорами печати и последними новостями — на трех. Все издания рассылались для осведомления только по разным учреждениям всех стран мира — от радиостанций и университетов до контр-разведок, затем известным специалистам всякого рода, и в продажу не поступали. Общество, тратившее всю эту массу бумаги, труда, подсобных материалов, стоивших громадных денег, носило невинно-теоретическое название, не обманывавшее никого: всем было известно, что хозяевами были американский государственный департамент и западно-германское министерство. Общий стиль не коммерческого, а казенного учреждения становился ясным даже самому наивному человеку.

Обширный персональный отдел проверял каждого служащего-что не мешало, конечно, проникать советским агентам. Многие не понимали, почему мелкие сообщения, выуживавшиеся из советских провинциальных газет, могут заинтересовать кого нибудь и складываются в разбухающий с каждым годом архив. Но где то — большей частью не здесь, в центре только сбора информаций — все эти сведения поступали тому, кому следовало: ученым, журналистам, политикам, специальным комиссиям, кое что и в секретные сферы: для учета, обработки, изучения, дальнейших комментариев для широкой публики, и прочего и прочего...

Служащие разделялись по категориям — негласным, а неписанные законы крепче остальных. Фактическим начальством были, разумеется, американцы. Хозяйственной и технической частью заведывали немцы. Остальными работниками были эмигранты всех национальностей и сроков. Среди них нередко появлялись самые «новейшие», только что перешедшие на Запад. Они обычно вспыхивали метеорами. К сожалению, интеллигентные люди среди них попадались редко. Но с бывшими сержантами или вроде того сперва тоже возились, устраивали на удобные места, на которых они могли бы научиться чему нибудь, получая хорошие деньги; начальство хлопало их по плечу, приглашало в ресторан. Через некоторое время звезда многих закатывалась из-за слишком уж явной неспособности и пьянства. «Помощники редакторов» скатывались в шоферы или рабочих, или — возвращались назад, на горячо любимую родину. Таких тоже было увы, немало — к вящему злорадству тех, на кого не обращали внимания.

Платили прилично — всем. Несколько сот человек получили благодаря Остинформу постоянную работу, построив на ней свою жизнь на многие годы — как оказалось потом. Сперва мало кто верил в прочность предприятия. Одни тянули лямку, другие делали карьеру — как повсюду. Многие помоложе постепенно уезжали все таки за океан и потом, чтобы строить жизнь не начерно, а как следует — иногда и учиться тоже.

* * *

Юкку Кивисилд повсюду входил, как к себе домой: по привычке откидывать со лба волосы чувствовалось, что ему нравилось быть выше других. С годами лоб становился все выше. Светлые волосы обхватывали его плотным шлемом. Из-за роста не замечалось как то, что он протягивает руку только тем, кто ему нравится —, остальным обычно кивал только, чуть усмехаясь, и довольно скептически. Улыбался еще реже (но «на такую улыбку, как на диван ложиться можно» — говорила потом Берта.) Тогда настороженность пропадала, и сразу становилось светлей.

— Одна моя профессия вас совершенно не интересует — сказал он в самом начале, удобно усаживаясь в кресле перед письменным столом одного из редакторов — Берты Штейн: полной, черноволосой, не слишком молодой женщины, и сразу охватывая ее взглядом. (Здоровая баба, с огоньком, и не без юмора, повидимому деловая, но одета плохо, — значит не из знатных иностранок). — Но у меня есть и вторая: я художник и между прочим карикатурист. Вот образцы. Английский знаю уже порядочно, и учусь дальше, немецкий и русский кажется хорошо. Сам я эстонец. Для пропагандных целей могу рассказать о Латвийском добровольном легионе, в котором был до конца — попал в Либаву, а ее сдали только через месяц после капитуляции, это мало кому известная история . . .

— О коллоборантах мы не пишем — отрезала она, и посмотрев на него внимательнее, добавила: — И вам не советую об этом слишком много говорить.

— А вы какой собственно пропагандой занимаетесь? — спокойно спросил он.

— Конечно, антикоммунистической.

— Почему «конечно», не вижу. Бывает и другая. Но, раз так, то я думал, что вы заинтересованы в сотрудниках с антикоммунистическими взглядами. Они даже на этот счет у вас проверяются, я слышал?

— Разумеется, но этим занимается специальный отдел. Причем тут коллаборанты?

— При том, что нет большего доказательства своих взглядов, как защита их с оружием в руках.

— Сотрудничавшие с немцами считаются изменниками родины . . . — пробормотала она, внимательно рассматривая его рисунки, и вдруг искренно рассмеялась. — Очень хорошо! Только здесь вы немножко заострили. Мы не должны задевать чувств других . . .

— А наши можно? — вырвалось у него, и он сразу пожалел: не стоит, очевидно, при такой программе. Откуда она взялась? Из Парижа? Тягостный парижский скандал с русскими совпатриотами сразу после войны. Нет, не похожа — была бы иначе одета, не обстрижена в кружок, и цвет лица слишком здоровый.

Она откровенно рассмеялась.

— Послушайте, вы умный человек, я вижу. Ну, так и не рипайтесь. До сих пор мы не помещали карикатур, но почему бы нет . . . я поговорю с начальством. Вот эти две, хотя бы. Это оживит номер. А потом мы можем обсуждать темы, и сработаемся, если уж не так прямолинейно . . . Да, и вот что еще: вы умеете чертить? Нам понадобятся диаграммы . . . а какое у вас направление в живописи, между прочим?

Срезались вторично — на Кокошке и Пикассо. О живописи она тоже имела представление. Левизна чувствовалась во всем, но разговор был интересным. Заполнив анкету и оставив карикатуры, Викинг вышел из здания, и только тогда, засунув руки в карманы, приглушенно, но протяжно свистнул. Вот как, значит...

Вспомнил сразу «кунингатютар» с ее лебединым озером, поставил мысленно рядом с этой... затруднился с определением — чекистки бывшей, что ли? Нет. У тех к этому возрасту нервы уже издерганы вконец, тут что-то другое... и пробормотал, совсем уж про себя, крепкое эстонское ругательство.

* * *

«Очевидно, особенность моей судьбы — постоянные встречи с 'уродьем' — определял Вивинг, не с цинизмом, а просто: такие уж уродились. — 'Отродье' — бранное слово, а тут вроде ласкательного как бы. Оригиналы. Но они интереснее.»

Посмотрев в Нимфенбургском дворце «Галлерею красавиц» с Лолой Монтец во главе (а перед ее портретом стоял долго, и с восхищением говорил, что эта женщина стоила революции) — он даже всерьез занялся мыслью написать свою собственную коллекцию «уродьев». Но как? Самый гениальный портретист может раскрыть сущность модели, показать характер — но не его становленье, пройденный путь человека. Может быть, ввести новый жанр, и писать портрет на обложке альбомчика, складывающегося, как детские книжки, гармошкой, на каждой странице которого — самые характерные этапы жизни? Нечто вроде романа в красках? Жаль, что он не писатель.

Рассуждая здраво, он причислял и себя самого к таким же «уродьям». Но здравый смысл уберегал от заразы, иногда опасной для других: если романтика была не к месту, она быстро рассеивалась, оставляя только привкус горечи, с которым он справлялся юмором. Интерес же оставался всегда, и он никак не мог понять людей, жаловавшихся на серость обстановки и окружающих.

— Поставьте на стол синюю вазу с огненным цветком или листом и присмотритесь получше к ней, а потом к людям! — советовал он, презрительно пожимая плечами над «недотыкомками». Да и присматриваться не надо, они сами попадаются на пути, подвертываются под руку. Одни исчезают быстро, другие застревают надолго — но все оставляют след. Его романтизм не терпел никакого ущерба, если след оставлял чернильное пятно.

Сейчас новым «уродьем» стала Берта Штейн.

Еще два прихода в Остинформ, два разговора за письменным столом и один за чашкой кофе в кантине — и Юкку был пригла-

шен к Берте на дом, сварить настоящую рыбачью уху. Она не забыла, что он упомянул вначале еще об одной профессии, и спросила, кем он был раньше.

— Помимо Академии художеств, я рыбак по рождению — лениво ответил Юкку.

— В мутной воде рыбку ловите?

— А это уж как придется — поддержал он и чуть сузил глаза. Берта была довольно интересной еще женщиной, несмотря на расплывшуюся фигуру, но восточный тип никогда не привлекал его, а он, ярко выраженный северянин, именно таким и нравился. По одному ее взгляду ясно, что если бы захотел... но он не собирался хотеть.

— По рождению — протянула она, уже серьезнее. — Я вас за викинга считала, за кормилом ладьи с щитами по бокам, а вы оказывается, в утлом челне...

— Не совсем. У моего отца сперва рыболовная шхуна, а потом и катер был.

— Из кулаков, значит? То-то у вас повадки такие — цепкие...

— А вы — из гнилой интеллигенции? То-то у вас взгляды такие — народно-демократические!

Следующий карикатурный набросок изображал его самого в виде громадного дворового пса из ошибившихся сен-бернаров, а Берту — распушившейся и наскакивавшей курицей. Сходство было только в фигуре: безмозглой ее даже в шутку назвать было трудно.

Он охотно пришел к ней в свободную субботу, сварил из принесенных кореньев и угрей уху, действительно вкусную не только для нее и ее семьи, привыкшей, по всем признакам, к совершенно бездарной кухне, и познакомился со всеми. Берта только что переехала из пансиона в скромную и не очень удобную квартиру, но первым предметом обстановки была, конечно, книжная полка, на которой уже не умещались журналы и книги. Дети оказались молюзгой — не по ее возрасту. Муж состоял из двух красок — уныло коричневой и нудной серой. Единственной точкой соприкосновения с ним послужила трубка: Юкку угостил кепстеном. Хозяин курил очень простой табак, и трубку видимо из экономии. Иногда у него прорывались саркастические замечания, но больше от больной печени, чем от склонности к юмору. После нескольких посещений Юкку больше не интересовался им, быстро выяснив фон жизни по нескольким замечаниям: мальчиком тот спал в двухэтажной кровати с остальными братьями в квартирке северного предместья Берлина. Окно, мысленно дорисовал Юкку — тоже наверно выходило на двор-колодец: типичный берлинский пролетариат иллюстраций Цилле. Человечность подменялась теориями, размахивавшимися на все человечество, которое надо было так же обезличить. Рожденные озлобленностью, эти идеи вы-

теснили все остальные стремления, и задушили живое, оставив место только для прокламаций и собраний за дешевой кружкой пива. Однако, он был достаточно умен, чтобы молчать с чужим человеком, от чего казался умнее, чем наверно был на самом деле.

Во всяком случае разительный контраст с энергичной, жадно набрасывавшейся на жизнь, говорливой Бертой, интересовавшейся больше всего понятно политикой, в которой она прошла и полную теорию марксистской выучки, и даже основательную практику. Биография ее выяснилась, но проблема не разрешилась.

— Я и не скрываю того, что была коммунисткой — заявила она.

— Это всем известно. Фамилия моя Штейн не по мужу, и не псевдоним, а девичья. Слышали когда нибудь о старой большевицкой гвардии? Так вот Леон Штейн, соратник Ленина — мой отец. И мать была в партии конечно, она врач. Родилась я в Познани, потом жили в Лейпциге, Берлине, в двадцатых годах отец выписал нас в Москву, я тогда еще девочкой была. Выучила русский язык, и только начала работать журналисткой, как во время большой чистки родителей расстреляли, как троцкистов, а меня отправили на Колыму, в лагерь. Восемь лет Магадан строила, так вот просто и складывала стенки из кирпичей, на морозе... Надо было пятнадцать лет, но освободили досрочно, как польку. Потом приехала в восточный Берлин из Варшавы, два года прожила, уже работала в редакциях, но вот вышло так, что лучше было уехать. Муж не хотел, я в Берлине замуж вышла, он еще не видел сталинских лагерей, а мне хватает. Перешла на Запад, попала в карантин, проверили меня, я все рассказала, как есть, скрывать мне нечего и вот видите, теперь работаю... нашла много старых друзей отца, его хорошо помнят: один в Лондоне, известный журналист, эксперт, другой здесь — редактор большой газеты. Пробую повсюду работать, и вот в один большой политический журнал попала даже, это уже марка для журналистки. Съезжу в Париж сейчас на недельку, надо повидаться там кое с кем, и тогда подработаю на мебель, квартиру обставлять надо.

Юкку, приглашенный на проводы в Париж, явился в самом деле с букетом роз, и заказал шампанское в вокзальном ресторане. Берта смеялась до слез над букетом («Это мне то! Бантик на корову! Буржуазные замашки!») — однако, нежно прижимала его к потрепанному пальтишке, в котором, кажется, еще с Колымы приехала. На внешность она не обращала внимания — реминисценция молодости, когда кружевной воротничок или занавески на окне считались мещанским уклоном. Зато коробка конфет пригодилась — и была с явной любовью сунута в повидавший виды портфель — весь ее багаж. Но Берта, сама подсмеиваясь над собой, «шокирующей демократической богемой» («советская»

не говорила), была достаточно интеллигентна — или все таки женщина, — чтобы не оценить таких джентельменских мелочей. К «викингу» же у нее была определенная слабость, это она даже прямо заявляла.

Из Парижа вернулась в восторге. Какой город, а главное — другая атмосфера, не болото здесь. Столько друзей, даже не знала, что они живы! И почти все благоденствуют — не то, что в Германии, где на марксистов часто смотрят искоса. «Остинформ» она считала, разумеется, болотом. Для того, чтобы разбираться, а тем более критиковать советскую политику, надо иметь настоящую марксистскую подкованность, а ей сколько раз приходится азбуку объяснять . . .

Новоселье Берта решила отпраздновать в день своего рожденья — умалчивая год. «Сорок для приличия, а наверняка больше» — решил про себя Юкку, забывая скостить добрый десяток лет с того, как она выглядит, на советские условия, особенно тяжелые для женщины, а лагерные — тем более. Но его занимало другое: гости. Редакции трех отделов и гости еще со стороны разместились где попало, заняв обе комнаты, коридор, присаживаясь и на кухне. Дети были отправлены к знакомой, чтобы не мешали.

Юкку надел кокетливый зеленый передничек, только что полученный в подарок хозяйкой, и заявил, что нанимается в кухонные мужики, опасаясь, что Берта наделает из одной коробки сардинок бутерброды на сорок человек. Поскольку бутылок было больше сорока, то закуска не имела уже значения. Пили по американски, под печенье с сыром, после которого есть не хотелось. Скинув передник, Юкку вытащил неизбежный блокнот, и сев по турецки в углу на пол, стал делать мгновенные зарисовки присутствующих. Американцы — большей частью молодые, симпатичные, с улыбкой хлопавшие его по плечу, (впрочем, после недоуменно-предупреждающего взгляда — только один раз) — были в восторге. Они искренно веселились, разговаривая со всеми остальными при помощи нескольких русских и немецких слов и улыбок, а больше всего — бутылок.

«Вот здорово!» — говорили другие, пожурившие сперва хозяйку («чего не сказала, мы бы принесли жратвы»), но после нескольких стаканов водки (американцы с любопытством наблюдали за этим процессом) стали вопрошать, кто помнит дороги Смоленщины, и пытались гудеть о подмосковных вечерах — к счастью, замененных хозяином грамофонными пластинками. Кто-то предложил даже включить радио и «выпить под Москву», но отклика не было, потому что трое уже спорило о гениальности Маяковского, и больше ничего нельзя было расслышать.

— У вас выдающийся талант! — говорили с уважением немецкие гости, оценившие юмор и штрих, приличный костюм,

умело повязанный галстук и манеры Юкку. Остальным они вежливо и безнадежно улыбались, кивая головами, если были постарше, или старались подделаться под тон, если помоложе. Ни американцев, ни русских понять невозможно. Над пониманием не задумывались только женщины — для них мужчина не теряет значения, кто бы ни был, особенно после войны. В длинном полутемном коридоре усердно толклись под музыку пары, и всем было очень весело.

* * *

— Надо оценивать человека по второму взгляду — задумчиво рассуждал Юкку. Он попросил у знакомого американца машину, чтобы отвезти домой Таюнь, дико проскучавшую весь вечер. Выпил он по обыкновению мало, и ехал медленно, попыхивая трубкой и разглагольствуя, как всегда, со своей «кунингатютар». — Вы, конечно, задавали все время себе вопрос: чего ради приняли приглашение и явились. Напрасно. Надо оценивать человека по второму взгляду. По первому вы охватываетет всего, в общем, безотчетно, главным образом интуицией. Если вы не брюзга, не обозленная плевательница, то есть не человек, который прежде всего видит во всем самое плохое, ожидает и даже в сущности удовлетворен и радуется, когда его подозрения оправдываются как будто, а он уж постарается, чтобы это стало для него неприятным — тогда и говорить не о чем... А если без предубеждения, просто подходить к людям, то тогда по первому взгляду видишь, что у него прирожденное, от Бога, так сказать, данное. Может быть, не можешь сразу определить, чем он располагает к себе или отталкивает. Но подождите, не выносите суждения. Посмотрите второй раз. Тогда, если сможете подойти объективно: а что же дальше, что еще в нем есть? — тогда видите его уже благоприобретенные качества, то, что он из себя сделал, в плохую ли, в хорошую ли сторону. Вроде как — по первому взгляду человек виден таким, каким он должен быть, а по второму — каким он есть на самом деле. Потому что хорошая душа, талант, ум — это данное, и оно конечно остается. Но если у человека по существу сердце доброе, а он из себя тирана, хама, или тряпку сделал... если у него талант, но он его во зло употребляет, в бутылку закупорил, в интриги заплел... или если видишь, что кроме ума он и знания приобрести постарался, и сердце свое в дело претворяет — то вот вторым взглядом и оцениваете его по сути. Мелочи тоже показательны для многого. Всех, кто в жизни попадается, изучить до дна невозможно, да и незачем. Важно оценить, на свое место поставить: вот с этим человеком можно быть вместе и дальше, а от этого — подальше лучше. Конечно, беда, если первым взглядом по чувствам уда-

рило. Ну тогда ослепнешь, раз любовь. Все время будет этот первый взгляд — тот образ, который должен был бы быть — на все остальное проектироваться, и станете нарочно отворачиваться, глаза закрывать, чтобы не видеть другого, иногда судорожно цепляться за первый образ, рассудку вопреки. Особенно женщина. Мужчина, в силу своего покровительственного, оберегающего положения защитника может при всем восторге видеть, но снисходительно относиться к женской слабости. Женщина никогда не прощает слабости мужчине, потому что ей свойственно восхищаться, она должна гордиться своим героем. Если же ей не повезло, то по психологической кривой она делает из него идола из-за жалости и сострадания, и опять таки оправдывает все. В результате часто получается, что тот, которого она якобы так «жалеет», выворачивается, как только может придумать, калечит в первую очередь ее, во вторую — детей, если они имеются, окружающих — насколько может до них добраться, а она в лучшем случае играет роль несчастной жертвы и довольна этим. Впрочем, по слабости, что же ей остается делать? Ну вот, мы и приехали, Таюнь кунингатютар! Говорил я конечно теоретически, а на практике как будто вам хотел указать на что-то — поймите правильно!

— Не могу полностью принять на свой счет — довольно бодро сказала Таюнь, выходя из машины и протягивая ему руку — потому что идола из своего мужа я отнюдь не делаю. Конечно, мне его жаль тоже. А главное его не исправишь, и перестраивать мне свою жизнь и незачем, и слишком поздно уже...

* * *

Проблема, интересовавшая Юкку в Берте Штейн была в другом. Со всем тем, что нахлынуло после этой войны, надо было справиться, разобраться, установить отношение. Берта была удачным сочетанием: интеллигентная женщина — раз, коммунистка — два, прошедшая через лагерь — три, и живущая теперь на Западе — четыре. Он встречался со многими бывшими заключенными. Для примитивных людей это был ужас голода, битья и пыток. Для интеллигентных — тех было гораздо меньше, выживали немногие — прибавлялся еще нравственный ужас издевательства. Ненависть к власти была понятна и у тех, и у других. Любовь к родине понять тоже можно было, советский патриотизм — уже труднее; но в конце концов, беспартийность с одной, стадность с другой стороны... Одна из трагедий советской интеллигенции: многие патриотически думали, что помогают, несмотря ни на что, строить свою страну — и мирились с остальным злом. Как невероятно это ни кажется на свободный взгляд — но очень

немногие, и только чересчур поздно, на Западе, поняли, что главным образом они помогали только советской власти. Некоторые так и не поняли, впрочем.

А Берта была прекрасным образцом. Юкку изредка заходил к ней и встречал разных людей: дипи и недавние перебежчики на Запад; немцы и русские; приезжали родственники мужа из восточного Берлина — такие же серенькие, тупо-левые обыватели, но у них были сведения о той стороне из первых рук. У самой Берты вопроса о национальности не было. В зависимости от собеседника она переходила на соответствующий язык, и повидимому, считала себя полькой, немкой, русской, реже — еврейкой, но каждый раз искренно и понятно даже: прежде всего она была коммунисткой, а коммунизм интернационален. Второе учение, после христианства, имеющее своих приверженцев в любой стране мира. И тоже понятно: христианство аппелирует к высшим, коммунизм — к низменным чувствам; одно к любви, другое к ненависти, а то и другое свойственно всем людям. В первые века христанские секты в общей языческой массе так же наверно находили своих в чужой стране.

— Будем однако откровенны, миссис! — говорил Юкку, поддразнивая ее этим обращением, уверяя, что надо привыкать к американизмам, и почти не обращаясь по имени. Отчества она не признавала, а на сделанное в самом начале предложение называть ее «на ты» он только усмехнулся, чуть приподнял брови и любезно объяснил, что не переносит панибратства. — Будем откровенны: ваше заявление о бывшей партийности верно только наполовину: коммунисткой вы были, коммунисткой и остались.

— Но в демократической республике . . .

— Мимикрия, миссис, естественное хамелеонство, и как таковое, поверхностно. Разумеется, голосовать вы будете только за социалдемократов здесь, хотя они значительно поправели, правда. Годесберговская программа против циммервальдовской — поворот чуть ли не на сто восемьдесят градусов! Но коммунистическая партия здесь запрещена пока, и кроме того, вам немножко неудобно все таки. Вы — совестливый человек, Берта. До известного момента вашей биографии мне ваши взгляды совершенно понятны. Выросли в семье соратника Ленина, можно сказать, родились и выросли в партии. Само собой стали комсомолкой и прочее. Но затем наступает момент, когда вы попадаете в лагерь, притом — после расстрела родителей. В лагере, между прочим, вы впервые столкнулись с так называемым народом тоже, от имени которого вы говорили раньше, неправда ли? Причем во всем многообразии: от знатного чекиста до воришки, от профессора до дремучего колхозника. До тех пор вы были в привилегированной касте. При известной склонности к садизму, сексотству или просто по женской слабости, скажем, вы могли бы выдвинуться и в лагере. Но

на это у вас не хватило подлости, вы хорошая баба. Охотно верю, что работали на стройке, муровали кирпичи, и старались выработать норму, чтобы не умереть с голоду. Наверное, как нибудь ловчились тоже, без этого не выжили бы, но в известных этических границах. Читал я книгу Елизаветы Лермоло, сидевшей в изоляторах. Встречалась она там со многими знатными чекистами. Очень живо описаны их настроения, например, небезизвестной Мировой. Примитивная мегера, которую партия вскормила, и велела блюсти заветы: стрелять в затылок. Партия была для нее идолом, потому что она любила стрелять. Если потом стали пытать ее самое — значит, так надо. Древние ацтеки тоже добровольно ложились под нож, чтобы с них живьем сдирали кожу для священной пернатой змеи. Если в голову примитивного двуногого вбить понятие о божестве, то ни для каких других представлений места больше не находится. Миллионы людей за тысячелетия не изменились нисколько, если не считать одежды и обстановки. Но вы — не чекистка Мирова! Партийное образование и положение для вас просто случайные обстоятельства. Ваша мать была врачом, отец — публицистом, интеллигентные люди оба. Вы не обязаны всем, что у вас есть, одной партии, кроме нее у вас могут быть другие интересы, личная жизнь, способность мыслить, наконец. Сперва по молодости, неопытности, оторванности привилегированного слоя вы не могли делать сравнений и не допускали сомнений. Но вот в лагере наконец вы увидели не теорию, а практику коммунизма во всей полноте. К каким же выводам вы могли придти — и пришли?

— Викинг, когда я пойду с вами в музей или на выставку, и начну выражать свое мнение о картинах, то вы наверное скажете, что я дура, хотя с вашим салонно-рыбацким воспитанием не скажете, а подумаете только. Но в марксизме вы понимаете столько же. Не забудьте для начала, что между коммунизмом и сталинизмом есть разница. Я потом тоже была против Сталина, а мой отец всегда был!

Следовали длинные лекции по марксизму, которые сперва возмущали Юкку, потом клонили ко сну. Прямых вопросов не стоило задавать уже потому, что прямого ответа ни один уважающий себя марксист дать не может: самая простая вещь должна быть разжевана по всем правилам диалектики до тех пор, пока не будет перевернута вверх ногами, и от ее первоначальной сути не останется ничего, а будет доказано совершенно обратное, вопреки элементарному здравому смыслу и всем божественным и человеческим законам. Кроме того, и это пожалуй, главное — во всем виноват, конечно, Сталин. Если бы к власти пришел не он, а другие — в частности, фракция собеседника — то все было бы иначе. Сомневаться в этом действительно не приходилось — в лагерях сидели бы тогда, Сталин, Берия, и все президиумы — поскольку

не были бы расстреляны сразу. Закономерность прихода Сталина — то есть, закономерность происходящего, как единственно возможного и логического хода развития учения Ленина на практике — была конечно насквозь буржуазной, контрреволюционной, троцкистской, белогвардейской, черносотенной ересью, крамолой, показывавшей полный идиотизм собеседника, не понимавшего коммунистического коллективного блага. Насильственная коллективизация, искусственный голод, разруха, хищническое хозяйство в государственном масштабе, нищета и через несколько десятков лет, несколько десятков миллионов замученных людей — это только болезни роста. Но, разумеется, коммунизм — единственное правильное во всяком случае.

Это — упрощенная, но исчерпывающая схема всех объяснений и Берты, и ее друзей: видных меньшевиков, занимающих прекрасное положение заграницей, и в качестве непререкаемых экспертов направляющих общественное мнение; молодых людей, окончивших высшие марксистские школы и затем, из-за чистки после смерти Сталина, решивших «избрать свободу» на Западе, поскольку жизнь на Западе все таки меньшее зло, чем смерть на Востоке; бывших партийцев и беспартийных среди новых эмигрантов, иногда бежавших в случайной панике, иногда увезенных насильно- или просто попавших неизвестно почему в котел; настоящие эмигранты по убеждению, т. е. беженцы от советской власти, были другими. Эти же-одни устроились очень неплохо, другие занимались не своим делом и были этим возмущены. Почему, например, бывшему офицеру или актеру, говорящему только на родном языке, приходится работать не по специальности в Германии и Америке? Советской властью все они, по их словам, были недовольны и там. Но здесь они читали с жадностью только советские книги и газеты, слушали по радио только Москву, ходили с восторгом на советские фильмы, и, продолжая ругать, жили с головой, повернутой назад. Конечно, «там» многое было плохо, а некоторые вещи просто ужасны. Но это было свое, подмосковные вечера, и если бы немного полегче стало, — то все было бы в порядке. Жили же они раньше, и часто недурно! И другие живут...

Так, без диалектики, а по существу, сверху и до низу, очень многочисленная, увы, категория этих людей всех уровней представляла собой то, что можно действительно назвать продуктом большевизма.

Юкку не был силен в диалектике, и не огорчался этим. Ему нужны были ясные понятия, как краски на палитре. Слушая однажды разговор Берты с бывшим директором какого то треста, служившим теперь бухгалтером, но с прежними аллюрами, он вынул машинально блокнот, и вдруг оживился, найдя мысль.

По бумаге поползла черепаха, из которой коммунистические бесенята выбили все кости, и наращивали ей панцырь. Он становился все толще и крепче, а черепаха — слабее и тоньше, потому что панцырь выжигал ей внутренности. Но зато он крепко держал ее — и вот, она твердо стояла на ногах, и сама уже выучилась размахивать серпом и молотом.

Юкку перевернул лист. Бесенята остались по ту сторону Железного занавеса, а черепаха очутилась по эту. Панцырь дал трещину. Не большую, но достаточно глубокую, чтобы стало видно пустоту внутри. Способность самостоятельно мыслить атрофировалась, а с нею утрачена и способность восприятия. Понятия, которые были вытравлены, теперь обступили извне снова — и скользят, только царапая потрескавшийся панцырь, но не проникая вглубь, не заполняя пустоты, не вызывая даже тени вопросов — скорее всего, неприязнь... мир остается чужим и чуждым.

* * *

Проблема Берты осложнилась скандалом. Явившись в редакцию Остинформа с очередной карикатурой, Юкку не застал однажды ее на месте. Остальные сотрудники ответили не вдруг, подозрительно уклончиво, что нет, и не будет, и не больна. Ничего неизвестно. В кантине шушукались. Уволена — никто не знает, почему. Общий совет — держаться подальше, пока не выяснено.

Юкку отправился к Берте. Она взволнованно ходила по комнате, лицо в красных пятнах, волосы растрепаны, глаза припухли.

— Ничего не понимаю! Вот уже неделю, как бьюсь о резиновую стенку! Она отскакивает и встает такой же. Никаких ошибок я не пропустила, ничего не делала и не сказала — понять не могу. Обо всем, кем была, где, с кем — все рассказала в свое время, в десятке анкет, ничего не скрыла!

— Скрывать вам действительно было нечего: чем выше партийное положение по ту сторону, тем больше почета по эту. Совершенно обратное явление старой эмиграции. Раньше князьям с трудом доверяли место швейцара, а теперь скажите только, что вы бывший чекист — директорское кресло обеспечено.

— Юкку, я никогда не скрывала, что была коммунисткой!

— И скрыть не могли бы.

— Вам хорошо шутить! Меня не только выгнали из Остинформа, в двадцать четыре минуты! «Мы пришли к выводу, что занимаемое вами место является лишним, получите в кассе за шесть недель вперед!» Так домработниц не рассчитывают! А знаете, что сказали на радиостанции, куда я сразу же кинулась? Раньше они брали у меня все скрипты подряд, и всякий раз в ка-

бинет к директору, а теперь вдруг швейцар потребовал пропуск! Директор занят оказался, когда я ему по телефону позвонила, начальник отдела тоже, наконец добилась до одного поляка. Он и руки потирал, и извивался, но все таки прижала его к стенке, и выяснила: скрипты от меня брать запрещено.

Она тяжело перевела дух.

— Юкку, я найду себе работу, конечно. Есть еще и газеты, и журналы. Мою подпись знают. Напишу в Лондон, там старый приятель отца ... в Америку, в конце концов. Муж тоже работает. Как нибудь проживем пока, сдам одну комнату, потеснимся ... С одним издательством насчет лагерных воспоминаний почти договорилась ... но дело не в этом! Тут что-то новое! Если бы донос — непонятно: поймите же, что я им все рассказала! Было время меня проверить. Или заяви просто: обвиняетесь в том-то. Даже у нас предъявлялось обвинение! И тоже все так отшатывались сразу ... ведь вот звонили мне с утра до вечера, а теперь хоть бы кто нибудь спросил, что со мной!

...— Я понимаю — говорил Юкку знакомому сотруднику Остинформа — что советским агентам проникать сейчас на Запад так легко, как никогда. Так же легко, как неимоверно трудно в обратном направлении. В работе обеих разведок неравенство полное, все преимущества на стороне советской. Даже и маскировки никакой не нужно. Либо человек ругает советскую власть за то, что претерпел, якобы — либо заявляет, что он вообще беспартийный и ему бы зарплату побольше, а на все остальное наплевать. Словом, обыватель или жертва — вот и вся «легенда» подосланного эмигранта. Но с какой стати Берте, если бы она была агенткой, не скрывать, что была убежденной коммунисткой, осталась такой же в лагере, и если теперь на Западе, то только из-за оппозиции еще родителей Сталину, а вот если бы к власти пришел оппозиционер, Лев Троцкий, скажем, или фигурально выражаясь ее отец или она — то все было бы в порядке: именно для них, честных коммунистов, разумеется, ни для кого другого ... Какая агентурная работа, скажите, вяжется с такой логикой? Ведь это такая же нелепица, как и то, что человека с подобными взглядами посадили здесь на антисоветскую пропаганду! Но это уже — западная логика ...

— А я вам советую все таки подальше. В чем дело вы не знаете, а сами можете быть скомпрометированы. Лучше держаться в стороне, пока не выяснится ...

О Берте Штейн поговорили недолго: опасная тема.

У Берты прекратились не только телефонные звонки. Многие знакомые стали просто переходить на другую сторону улицы, или отворачиваться, чтобы не быть вынужденными поздороваться.

Что ж, надо примириться с опалой. На-днях опять прислали статью из одного журнала обратно — намек на нежелательность

ее сотрудничества. Резиновая стенка — бей, сколько угодно. Но спасает крупная газета, где все таки удалось удержаться. Редактор участливо расспрашивает, но объяснить и он не может — или не хочет.

Но Юкку упрямо мотал головой. «Ползучие люди»! «Как бы чего не вышло! Лучше держаться в стороне, раз отшатнулось начальство! Мы — маленькие люди и знать не можем! Нас это не касается, — а осторожность не мешает!» — формулы, которых он совершенно не выносил. Взвесив все «за» и «против» он решил, что засланной агенткой Берта быть не может — почти, какую то крохотную возможность дъявольского умения надо все таки оставить, допустим; но против этого на другой чашке весов трусливый, подлый, не по убеждению, а по страху — бойкот «ползучих». Американцы, возможно, повиновались приказу свыше; но на остальных сотрудников и знакомых Берты этот приказ явно не распространялся, его никто не получал. В Советском Союзе знакомство с человеком, впавшим в немилость, могло стоить головы. Но что грозит здесь, кроме сплетен? Чем вызван этот страх — кроме бескостной ползучести шкурного примитива, или свойственного русской интеллигенции брезгливого отстранения от всего, что заставило бы ее прямо высказать свое мнение и не дай Бог, что нибудь сделать в подтверждение этого — все равно, что! Часами разводить теории, забираться в любые дебри — это да; но ответить за что нибудь — страшнее огня. Многие никогда не распахнут окна, — и не закроют его по принципу: пусть отвечает за это другой. В крайнем случае оставят щелку.

* * *

Юкку продолжал, как и раньше, изредка звонить Берте, время от времени заходил к ней. Каждый раз она пристально вглядывалась в него.

— Не боитесь, Викинг? Я ведь опальная, передо мной закрыты все двери! Недавно пришла в один институт, надо было книгу взять — так в библиотеку не пустили! Я разозлилась, пошла в редакцию, принесла справку, что мне, как немецкой журналистке, необходимы материалы — так чуть ли не под охраной проникла. А если бы вы видели, кто там сидит!

— Дорогая миссис — усмехался Юкку — с таким контрреволюционным прошлым и репутацией, как у меня, я могу позволить себе роскошь знакомства с любым коммунистом. В первую советскую оккупацию Балтики в 1940 году отец и сестра были расстреляны вашими товарищами, а мать увезена в Нарым. Меня не увезли, потому что я успел махнуть за море, в Швецию. Братья спаслись только потому, что ушли в леса. Потом, во время войны,

мы все были конечно на фронте с немцами. Братья получили по деревянному кресту, кроме железных, а я — только Железные, по одному за каждое ранение — всего три. Если бы я считал вас тайной агенткой, и был бы уверен в этом, имел доказательства, то не объявляя никакого бойкота, просто пристрелил бы. Но вы не агентка, а любопытное уродье. Впрочем, если нам доведется встретиться когда нибудь на двух фронтах — очередь из моего автомата вам обеспечена. Пока же вы вредите не больше других болтологов, а всех не перестреляешь, увы. «Безгранична лишь глупость людская» — как сказал поэт.

— Интереснее всего, что я вам верю, и вы мне, честное пионерское, импонируете даже, хотя у вас кулацкая психология, конечно. А может быть вы побочный сын балтийского барона? Не обижайтесь, Викинг. Я встретила в лагере одного настоящего аристократа, голубая кровь видна на расстоянии. Польский граф. Так его даже урки уважали. И он тоже не боялся, говорил приблизительно так, как вы. Что это — порода такая? Но вы ведь не граф. Вы просто кулак. В чем же дело? Почему вы так не похожи на других?

— Потому что вы имели дело видимо главным образом с пролетариями — в белом воротничке или без него, но все равно, беспочвенными, и с такой же беспочвенной интеллигенцией. А вот с вашим графом, и с нашими баронами я, сын эстонского рыбака и хуторянина — сразу заговорю на одном языке. Мне так же понятен его мир, как ему — мой, потому что у нас этот мир один и тот же, пусть у него была раньше тысяча гектаров, а у меня двадцать. Впрочем, после реформы в двадцатых годах его тысячи тоже превратились в скромные сотни. Но это — земля, на которой мы стоим оба. Вы вот пишете статьи, и выучились разным измам, а как растет хлеб, который едите, понятия не имеете. И не знаете, что это не только зерно и мука, рыба и сети. Если меня захватит норд-ост, если на мое поле ляжет град — мне помогут только моя голова и руки, — кроме Бога, конечно, да может быть еще не товарищи по партии, а друзья, у которых то же небо над головой и та же палуба или земля под ногами. Вот это небо и учит нас самому главному, и терпению прежде всего. Нет погоды — сиди на берегу. И уважению учит ко всему живому, что и нашими, и не нашими руками создано. И благодарности за все, что дается. А прежде всего — любви, миссис. Не к какому нибудь там человечеству, которое надо облагодетельствовать пришедшей в голову идеей, а настоящей, живой любви. Потому мне понятна любовь барона к его замку. Свою лодку и дом я так же люблю, и он это знает. А когда вечером зазвонит где нибудь дальний колокол — мы оба скинем шапки и подумаем об одном: благослови и помилуй, Боже, и сохрани, Боже! Иначе не сохранить того, что мы строим, каждый по своему, каждый для себя и других, каж-

дый на своем месте. Рыбу в замок я носил сперва на продажу — но что такое искусство — увидел впервые в этом замке. Ходили туда и за племенным быком, и за сельскохозяйственным каталогом тоже, когда своего не было...

— Как будто эти замки в карты не проигрывались, не прокучивались, и никаких расправ и безобразий не творилось!

— Бывало. А у нас один рыбак семью по миру пустил, пропил все, и других искалечил. Были и такие, что из замков и хуторов уходили в город, отрывались от земли, сами пропадали и дом разваливали. В семье не без урода. Но вы ведь только плохое замечаете, и для вас мы, стоящие на земле — неприемлемы вообще. Чему же вы удивляетесь? У вашего польского графа и у меня, несмотря на различие веры, национальности, состояния, положения, возраста — найдутся общие понятия: традиции и устои, притом в самом главном, в коренном. А для вас это пустой звук, даже еще хуже: либо враждебно, либо забавная экзотика. Это те корни, которые вы стремитесь выкорчевать у других, но сами не имеете никаких корней. Знаете, Берта, по имеющимся данным около двадцати пяти миллионов людей погибло за сорок лет от голода, расстрелов и пыток. Ужас, которого нельзя себе представить. Но это глыба на одной чашке весов. А на другой — второе ваше достижение: неисчислимые миллионы нравственно искалеченных, изуродованных людей, теперь уже второе, скоро третье поколение. Вот вы, например, сами: неплохая баба, в конце концов, и неглупы, и работать умеете, в редакции и дома у вас тоже что-то прибрано и сварено, хоть и невкусно, дети есть. Но многие понятия атрофированы, и ничем не поможешь. И детям передадите эту пустоту, которая заполняется газетной статьей вместо чувства свободы, дома, достоинства, красоты...

— Будущее все таки принадлежит нам, Викинг!

Юкку встал и расправил плечи, запрокидывая голову.

— Как замечательно, миссис, что мне хватит еще нашего старого мира! Вот уеду в Канаду или Австралию. Там дивные краски, масса совсем новых сочетаний, невиданные скалы, деревья, пустыни... А потом все таки надо будет перекочевать на север. Экзотика хороша только на время. Если не Канада, то Норвегия. На берегу, конечно, чтобы лодка или шхуна была: трубку курить и картины писать. Женюсь наверное. Красавицы мне не надо, денег тоже, важно, чтобы человеком была...

— И о детях думаете?

— Детей никаких, конечно. Это ведь только вы частнособственнические тенденции клеймите и мещанство, а сами не можете перестать плодиться, как кролики, и к детям вы, миссис, простите, но как самая настоящая баба относитесь — с чисто животным материнством. Нет, я себя таким драгоценным совершенством не считаю, чтобы непременно постараться воспроизвести себя еще

раз пять по крайней мере. Кроме того, хотя я еще сравнительно молод, но тоже осколок, наш мир викингов и графов окончательно вымирает, а создать себе подобных и обречь их на ваш мир — ну, нет!

— Добровольно, значит, складываете оружие?

Юкку никогда не видел польского графа в колымском лагере. Но Берта помнила его взгляд, когда тот стоял, скрестив руки, у выгребной ямы, куда несколько урок с улюлюканьем собирались его столкнуть, для забавы — и отступили. Сейчас увидела его снова. У графа были голубые, красивые глаза, у Юкку — зеленовато — серые, прищуренные слегка, но смотрел он тоже из того, их мира, куда ей так же не было доступа, как и этим уркам, поджавшим хвост. Когда он говорил об автомате — не сомневалась, но может быть именно потому и тянуло к нему — сила дразнила чувственность, била по нервам. «Все таки я развратная баба — подумала про себя Берта — но какой экземпляр!»

Только этого взгляда не могла выдержать.

— Бросьте, викинг. Выходит, что вы мой самый заклятый враг, а относитесь лучше, между прочим, чем так называемые друзья. Поговорим о другом.

Почему он относится так — Берте не хотелось разбираться. Может быть потому, что тогда стало бы ясно: не столько симпатия, сколько протест против этой «ползучести» — выдумал же слово!

* * *

Сам Юкку тоже не слишком задумывался. На следующее рожденье Берты — нарочно постарался запомнить этот день — он был ее единственным гостем, явившись с цветами, коробкой конфет невероятных размеров и бутылкой шампанского. Берта расчувствовалась, а он обнял ее и потрепал по плечу, но вовремя снял руку. Нет, остальное не входило в его планы. В данном случае он должен быть безукоризненным, хотя бы из-за ползучих.

А бомба оказалась затяжного действия, и второй взрыв произошел только года через полтора после первого. Утром раздался захлебывающийся звонок, по телефону.

— Викинг, непременно зайдите ко мне. Знаете, только что звонили с радиостанции! Сам директор посылает за мной автомобиль, и просит скрипты . . . ничего не понимаю, голова идет кругом . . . что-то произошло. Что мне делать?

— Поезжайте, конечно. Вечером я зайду, тогда расскажете.

Звонки к Берте начались снова. Берту приглашали, поздравляли — с чем? Любезными приветствиями, вопросами о здоровье обходили очевидно кончившийся разом бойкот. Деликатно не затрагивали вопроса — почему он возник — и кончился. Встречаю-

щиеся знакомые теперь нарочно переходили с другой стороны улицы, чтобы поздороваться с нею. Кто-то прислал даже цветы...

— Что же это за метаморфоза, миссис?

— Я сама поверить не могу... Берта смеялась, всплескивала руками и готова была кажется заплакать. Остинформ держится пока что уклончиво, но директор радиостанции объяснил мне все. Помните дело со Станиславом Любомирским? Конечно нет, вас он не интересовал. Но зато меня! Я этого Стаську как еще знала! Он занимал большой пост в польском комитете госбезопасности, потом в восточном Берлине, а оттуда, из-за связи с Берией, когда того прикончили, махнул на Запад. Ну, таких сразу на самолет конечно, и в соответствующее учреждение... Во всех газетах было. Теперь карантин прошел, его выпустили, и Стась рассказал, что в Берлин его послали с разными поручениями, и одно из них, между прочим, было: «заткнуть рот Берте Штейн». Так он и сказал по польски: «стурить пыск»! Ну, мне и заткнули...

— Позвольте. Поручение то от советских властей? И сидя в советском Берлине, он его выполнил — на Западе? Каким же образом?

— Викинг, не наивничайте, это вам не идет. Как это делается — он вам не расскажет. Но существует такая система, как «каналы». Говорится, кому надо, и все. Решили бы меня прихлопнуть — тоже было бы сделано. Но возиться не захотели, а просто нажали кнопки, где надо шепнули, или слух пустили — свои люди повсюду есть. Вот меня и повыкинули отовсюду, и хода нет, сиди и молчи, раз рот заткнут. Ай да Стаська! Всегда говорила: способный парень...

Берта реабилитирована и, конечно, торжествует. Но в радости и подголоски восхищения «своим парнем». Ловко же он и американцев и немцев вокруг пальца обвел! Знай наших! Вот вам хваленые права человека, свобода и прочее!

* * *

— ...Конечно, я рад за нее, но по правде говоря, меня от всего этого немного тошнит... — сказал в заключение Юкку, вздохнул и прибавил: — И сам не могу разобраться: от чего больше. Но вы то поймете, Маргарита Васильевна.

Маргарита Васильевна — бывший настоящий профессор, теперь одна из редакторов в Остинформе (в отличие от некоторых других «профессоров» которые сами называют себя так по безграничному нахальству, а другие их — из плохо понятой вежливости).

— Я то да — говорит она, — а вот не слишком ли вы поторопились отмести в сторону всех «ползучих», по вашему? Может

быть, кое кто и был прав, заранее сторонясь от всего, зная, что что как бы ни было, как бы ни вышло, но ничего хорошего не будет, если такие люди замешаны, — а? Я ведь вам тоже сказала с самого начала: Бог с ними, с этими идейными коммунистами. Они мне и дома жить не давали, так уж здесь за них заступаться не буду, и не беспокойтесь — сами вывернутся лучше нас с вами. Мы то будем задавать себе вопрос, может ли цель оправдать средства, а им даже в голову не придет задумываться над этим. Так что — можете и меня ползучей считать, но — увольте!

— Маргарита Васильевна, не сердитесь на глупого рыбака. Я вам сейчас парочку таких карикатурок покажу — пальчики оближете. Ей Богу! Для внутреннего употребления, конечно, отвел душу от всей этой истории. И перестаньте выворачивать весь холодильник на стол. Кто это все съест?

— А кто прошлый раз столько рыбы принес, что мы всей семьей за неделю одолеть не могли? Молчите. Вы большой, вам полагается много есть, и я сама проголодалась. Сейчас все готово, сядем, выпьем по рюмке и наговоримся всласть. А карикатуры показывайте сразу, уж очень я их у вас люблю . . .

Маргарита Васильевна принимает «своих» на кухне, она же и столовая. Быстро перевертывает мясо на шипящей сковородке, вынимает из холодильника запотевшую бутылку с зеленоватой от лимонной корочки водкой, а на стол уже накрыто. Кухня большая, светлая, с деревянной угловой скамейкой для обеденного стола. Юкку думает, глядя на худенькую, живую фигурку, как ему будет трудно расстаться не только с Европой, но и вот с этими двумя домами: лебединой Таюнь и Маргариты Васильевны, — профессора Ленинградского университета, из старой петербургской семьи. Тоже ведь лебедь, и сразу видно, что занималась балетом в молодости, на Анну Павлову похожа и лицом тоже. Бывает он во многих домах, но к большинству зайдет раз другой, и хватит. Чаще бывал у Берты, но больше для оказания моральной поддержки, теперь это отпадает, сама справится, а своим у нее не мог стать, конечно. Здесь же, как и у Таюнь, сразу захотелось. Маргарита Васильевна несколько раз внимательно присмотрелась к нему в Остинформе, потешалась над карикатурами, потом пригласила к себе, познакомиться поближе, и нисколько не кривя душой, он так и сказал совсем серьезно: «и за честь сочту, и с большой радостью».

— Вы о чем замолчали?

— Продолжаю думать вслух: ваш дом и Таюнь — вот эти два, где я бываю постоянно. О Берте не говорю: снисхождение к врагу и протест против ползучих, что там ни говорите. Психологический этюд. Картины писать не собираюсь. Эта китайская статуэточка, пани Ирена, завертелась с одним мерзавцем, тяжело смотреть, а Демидова все время после службы из своей типографии

не выходит, на линотипе и ужин себе готовит... О Таюнь я вам все уже рассказал, а теперь вы познакомились сами, и кажется, она вам понравилась тоже...

— Все таки вы ее немножко по настоящему любите, а? Признайтесь, Викинг!

— Охотно. А вот вы, профессор, определите: как? Несчастной любовью не назовешь, неудачной тоже не считаю. Что платоническая — понятно. Собственно, не любовь, а ощущение, что она могла бы быть, если... если бы я родился раньше, или Таюнь лет на пятнадцать позже. Вот по английски я составил определение: a wondering love — может быть, грамматически это и не очень правильно, зато верно вполне.

— Удивляющаяся любовь?

— Нет, не совсем. «Ай уондер» — имеет массу самых разнообразных оттенков. Скорее — недоуменная. Сам себе удивляюсь и недоумеваю.

— Муж ее попрежнему пьет?

— Попрежнему. Тяжело смотреть. Ее я кое как понимаю, хотя и без одобрения. Вначале у нее было увлечение, может быть любовь даже, и уж во всяком случае — жалость. Он ведь потерял ногу еще в гражданскую, и легкое тогда было простреляно тоже. В Риге работал на складе, и я думаю, ей не раз приходилось выворачиваться, когда запивал всерьез и надолго, скандалов тоже, наверно порядочно было... но как то шло. Теперь совсем плохо. Человек он культурный и интеллигентный, но на работу ему устроиться трудно. Удивляться нечего: кто будет держать человека на любой работе, который, как только увидит рюмку, так и погиб? А приятели-собутыльники всегда найдутся. Начинается, как водится, с лекций о золотом прошлом. Послушать — подумать можно, что он в двадцать лет по меньшей мере генералом был, — не прямо, правда, на это у него еще совести хватает, но вроде. Во всяком случае обычная пластинка: полчки, штандарты, знамена, погоны и Журавель. Слушая в сотый раз, одни зевают, другие издеваются, и тогда он переходит на высокий регистр: свою протезу и убитого сына. Потом пьяные слезы и проклятия «торжествующему хамью». Как у всех алкоголиков, задерживающие центры в мозгу у него либо ослабли, либо не работают вообще. Ни довести своей мысли до конца, ни внять каким либо аргументам он не способен, перескакивает с одного на другое, и преувеличивает до собственного обалдения. «Гипербола съедает триста пудов сена!» Знаете этот старый анекдот? На уроке естественной истории учитель спрашивает ученика, чем питается слон. Тот отвечает, что слон съедает сто пудов сена в день. «Это гипербола» — улыбается учитель, и тут выскакивает другой ученик, всезнайка, которому хочется отличиться, и пищит: «Гипербола съедает триста пудов сена, господин учитель!»

— Викинг, вы судите слишком жестко. Ведь он несчастный человек на самом деле!

— Безусловно. Только скажите мне пожалуйста: чем он несчастнее других? А та же самая Таюнь, разве она потеряла сына меньше, чем он? Хорошо, у нее нет протезы. Но у нее в молодости еще была сломана спина, и тем не менее она ездит на велосипеде в любую погоду из своего домишки до автобуса полчаса каждый день туда и обратно, возвращается со службы и хватается за работу и дома, и в саду. И еще втаскивает его на постель, когда он так напьется, что упадет, а он зовет ее поминутно днем и ночью: Таюнь то, Таюнь это! Я однажды присутствовал при таких воплях, так поверьте, хотелось стукнуть его, чтобы замолчал, но пригрозил только... Все у вас только несчастненькие, и всех жаль! А почему ни вы, ни он Таюнь не пожалеете? Кунингатютар все везет, а ей совсем не легко, и не забудьте, что она художник, и неплохой. Сколько у нее времени и сил для этой ее, главной работы остается? Художнику совсем не современного направления сейчас особенно тяжело пробиться. Нужно больше работать, больше бывать повсюду, завязывать связи. Выходит заколдованный круг: ходить самой — времени нет, к себе позвать — когда он может устроить очередной тарарам — тоже нельзя. Вот я вам дам другой пример: вы сюда поздно приехали, из своей провинции, не мог я вас с одним моим сожителем сразу после войны, в разбойном доме Номер Первый на Хамштрассе познакомить, а жаль. Янис Лайминь, латыш. У него полбока вырвало, и руку оторвало. Рассказывал мне, что когда первый раз после госпиталя пошел в лес — обнял одной рукой какую то сосну, и кричал, и плакал. Первый раз в жизни — и в последний. У него и сердце никуда не годится, кровообращение нарушено, понятно, и жена с детьми в Балтике осталась. Года два он ей все письма писал — каждый день. Напишет, — и в печке сжигает. Так и не послал ни одного. Жизнь разорвала, возврата нет, ни ей, ни ему, и нужно поставить точку, крест на этом. Сперва он лук и табак возил сюда, когда все такой «спекуляцией» занимались, и я никогда не думал, что инвалид же — одной рукой такие мешки таскать может. Теперь дали ему пенсию, а он еще в лесники нанялся, на родине у него большой хутор был и лесное хозяйство тоже. Живет хорошо, а для души — в комитете работает, национальные вечера устраивает. Вот вам и инвалид. Правда, сельскохозяйственную академию по лесной части он у себя дома кончил, в Латвии и у нас тоже все молодые хуторяне в нее шли. Но муж Таюнь — Свангаард, старого балтийского рода. Как начнет генеалогию разводить — заслушаться можно! «Лебединые стражи»! Лебедь в гербе и ключ! Правда, полуонемеченный, полуобруселый род, датской крови в нем немного осталось, но все таки ...можно было бы ожидать, что не только

о прошлом говорить, как гуси Рим спасали, но и самому себе вопрос задать: а что ты смог спасти? Одного того, что предки в замке жили, мало: стены рухнули, а вот та стена в душе, на которую опереться можно, и самому и других поддержать — ей остаться нужно. Костяк где, я спрашиваю? Пусть спивается, как хочет, если ни на что больше не годен, а я бы кунингатютар с собой в Канаду взял, пусть разводится с ним, или просто так...

— Сколько ему лет?

— Сильно за шестьдесят. Он на много старше Таюнь.

— Стариков не бросают, Викинг!

— Ну, слала бы ему доллары на пропитие души. Мы бы с ней заработали достаточно.

— Что то не кажется мне, что она из таких, которых так просто прихватить с собой можно. Но если — так в чем же дело? Не знаю, как она к вам относится, но с симпатией во всяком случае, это видно, а при наличии вашей «недоуменной любви»...? За чем же дело стало?

— За здравым смыслом, госпожа профессор, и логикой жизни! За тем, что я прекрасно знаю: стоит мне только позволить себе немного ближе подойти, дать себе волю — и голова закружится у нас обоих. А тогда все доводы покажутся убедительными, и в Канаду — я все таки отказался от мысли об Австралии — поедем вместе, и... на год или два счастье обеспечено. А потом? Мне тридцать пять, а Таюнь пятьдесят. Очень жесткий счет получается. Конечно, бывают исключения, но я им не особенно верю. И еслиб мне удалось ее уговорить своего пьянчужку бросить, преодолеть жалость, а по моему слабость, простите, то вот второй тяжести я с нее снять не могу: разницы этой. Вы женщина, должны понять. Постель — это еще далеко не все, согласен вполне. Вообще я считаю, что пол в жизни — второстепенное, человеческое важнее, так и смолоду считал, еще мальчишкой, а теперь взрослым человеком и подавно... Но против биологии не пойдешь! Сейчас она поблекла, как женщина, дальше больше, несмотря на все ухищрения, и рядом с моей относительной молодостью — пятнадцать лет не шутка! — еще резче сказываться будет. А как она будет мучиться из-за каждой новой морщинки, из-за каждой усталости, из-за каждой новой знакомой женщины помоложе ее! Может быть я и влюблюсь в такую — все может быть, и тогда начну уверять себя, что мол, это можно было предвидеть с самого начала, а теперь у нее жизнь устроена, и может остаться одна... Нет, я ее слишком как человека люблю, свою кунингатютар, чтобы ей еще такое на плечи взвалить... пусть уж лучше так... полуулыбка, полумечта... недоуменная любовь: a wondering love...

— Как у вас вообще с английским? — Маргарита Васильевна решает переменить тему.

— Порядочные успехи. Все время читаю, говорю свободно, никаких затруднений больше.

— Вы молодец, Викинг. Ну что ж — давайте выпьем за «удивляющуюся любовь» . . .

— В моей жизни — обстоятельно начинает Юкку, с аппетитом закусывая и смотря пристальными, ласково усмехающимися глазами на хозяйку — я привык относиться с уважением ко многому, но что касается людей — вот тут извините, к очень немногим. Не потому, что я их презираю, совсем нет, я людей люблю. Но уважения действительно достойны только немногие. Не считал, но пожалуй за всю жизнь — хватит пальцев на руках, чтобы сосчитать. Зато, когда нахожу такую вот персону, как вы... тогда сразу шапку долой, и поклон в пояс!

14

Противники психоанализа возражают, и не без оснований, что вместо того, чтобы копаться в глубинах подсознания, следовало бы лучше развивать сознание. Расцвет психоанализа вызван несомненно не только все возрастающими комплексами у людей, с невероятной быстротой (и податливостью) уродующихся жизненными катастрофами (а они участились в наши дни), сколько и с неменьшей силой растущей пустотой одиночества человека, не могущего или не умеющего высказаться: важно не только исповедаться в грехах, но и понять мучающие вопросы.

Нормальным (а кто свободен от «психики» вполне?) людям свойственно, конечно упрощение. Однако, им свойственно часто и другое, более ценное качество: уменье заниматься психоанализом без врача, для самого себя и других. А иногда стоит выхватить из жизни человека какой нибудь характерный случай, эпизод, — и тогда становятся понятными не только явные, но и косвенные последствия, суть — сквозь наслоения и условности, сквозь то, что он делает сам и что делается с ним. Вот почему воспоминания каждого, а не только знаменитых современников так ценны — если не для историка, то зато для других.

* * *

Бывает вдруг: захватит что-то и понесет... Взгляд почти не остановился даже, скользнул только... ну, скажем, по расцветшей розовой акации, уловил нежный и густой, насыщенный оттенок темно-розового, как цветы на старинном фарфоре, и уже влилось в него просветленное, и на лицо лег розовый отблеск изнутри. Нельзя объяснить, как вспоминается сразу: начало и конец, весь фон жизни, мысли, и оттуда, с другого берега, после стольких лет снова трепет той семнадцатой весны, — а здесь понимающий, уже опытный взгляд, оценивающий этот трепет со снисходительной, печальной и все таки ласковой улыбкой. Всеохватывающий взгляд памяти, мгновенная панорама, как работа электронного мозга. Пусть не такая точность, зато еще молниеноснее, и регистрирует не только факты, но и оттенки быв-

ших улыбок, сжимает их не в пробитую условными дырочками карточку — а вот в эту улыбку, от которой пани Ирена сразу молодеет, и пружинистее идет дальше, мимо куста акации, слегка пристукивая каблуками, машинально отмечая вокруг все мелочи — и не видя их, — потому что ушла далеко, далеко назад.

...Ах, эта семнадцатая весна белокурой панночки Иренки в середине двадцатых голов, впервые в городе после разоренной усадебки! Очень полюбились сразу его улицы, внезапные открытия старинных уголков, витрины магазинов, к которым робко жалась всегда сбоку, всегда с чувством неловкости. Казалась себе такой бедной в дешевеньких туфельках из полотна; постоянно лакировала их сапожным лаком, чтобы выглядели, как кожаные, а на дырку в подошве клала внутри каждый день новый кусочек картона, и если попадался острый камешек по дороге, чуть не вскрикивала от боли. Платья и пальто перешивались, шляпку сделала сама, вышло красиво даже, но разве спастись этим от мучительного отсутствия третьей пары чулок, и вот такого платья, как в витрине, вуальки, таких — ах, таких туфелек? А шикарно шуршащие автомобили, дорогие цветы за стеклом, кружевное белье, соблазнительные, наглые, бесстыдные, волнующие журналы в ярких обложках?

Дома нельзя говорить о таких желаниях, с матерью можно только советоваться, как перешить еще одно теткино платье — и нечего огорчать ее зря. Панна Иренка только мечтает, сидя у печки, куда засовывается труба от самовара, и сует в него одну за другой, лучинки. Березовый уголь — это хорошо, они покупают его, когда есть деньги, но они есть не всегда, и тогда надо ставить самовар одними лучинками. Хорошо еще, когда попадется гладкое полено — на пальце у нее давно мозоль от ножа... Самовар ставится три раза в день — если вместо обеда опять чай, а это бывает часто.

Панна Иренка мечтает, вырезая ножницами силуэты маркиз из черной плотной бумаги, чтобы наклеить их на абажур. Занавески на окнах истрепались, новых не купишь, как и дивана, из которого в разных местах нагло высовываются пружины. Но из старого шелка можно сделать красивый абажур. Если бы еще музыкальную шкатулку к этим маркизам... с танцующими фигурками. Как та, которая играет в соседнем доме, когда открыто окно, слышен перезвон стеклянных, серебряных молоточков: «Ди-ни ди-ни дон!» Коротенькая песенка. И приятно думать, что в том доме, в комнате с музыкальной табакеркой живет старик или старушка, как в сказке Андерсена: в чепце или шелковой шапочке на седых волосах, поливает розы или кактусы в горшках...

Панна Иренка мечтает еще до боли о том, чтобы учиться. Об ученьи в непонятном, но внезапном будущем можно еще пого-

ворить с мамой и знакомыми, доказывать под снисходительными улыбками, что в Гамбурге, например, есть институт восточных языков, и студентам так уж полагается — бедно жить. Она может давать уроки какие нибудь, и учиться самой. А знающим восточные языки, в особенности китайский, обеспечена работа в посольствах. Знакомые качают головами, но тут вмешивается мама, и в подтверждение практичности замысла, рассказывает, какие коллекции были у дяди — полковника. Правда, он не знал китайского, кроме «твоя-моя капитана», но участвовал в подавлении боксерского восстания и спас от разгрома дворец какого то мандарина. Как они объяснились потом — неизвестно, но в благодарность мандарин нагрузил дяде целый товарный вагон китайских вещей: не только дом в их усадебке, но целый сарай был забит ими. Десятки кусков чесунчи всех сортов сохранились еще до революции, хотя для всей семьи из нее шились платья, костюмы, пальто и белье. Сервизы, веера, вышивки, серебро и слоновая кость, туфли из черного атласа на толстой подошве из тончайшей спрессованной бумаги... Мало того, мандарин каждый год присылал им цибики чая, завернутые в тончайшие рогожки. Сколько ни раздавали всем друзьям, всегда оставалось, и сами пили такие сорта, которые никогда не появлялись в продаже — мандаринный чай. Да, теперь это разговоры об «острове сокровищ», но сокровища были, и китайский язык как то само собой связывается с этим богатством, и в нем, окружавшем с детства, она научилась разбираться, чувствуя, как ей не хватает хоть кусочка вышивки, чтобы надеть или повесить на стенку. Нежнейших прикосновений — и кожей, и взглядом.

«Очень оригинально, конечно, но... необычное для молодой девушки увлечение. Панна Иренка такая серьезная... в их семье давняя связь с Китаем... может стать женой дипломата и вообще... теперь женщины повсюду стали работать... вряд ли ей удастся, но...» — рассуждающие, рассудительные голоса вокруг, всегда с «но».

«Вот, мы выиграем в лотерею, и вообще, когда поправятся дела»... — это мама. Счастью, которое должно было непременно свалиться внезапно, вдруг, и совершенно непонятно, почему — мать была готова сделать уступки. Но, только в таком случае. Ехать заграницу, в чужую страну, одной, без копейки денег — или подумать о том, как дать Иренке хотя бы самый крохотный прожиточный минимум для ученья — пусть не китайскому языку, а чему нибудь, все равно чему — нет, это даже не приходило в голову. «Моя дочь — на фабрику?!» — маме от такого предложения сразу грозил сердечный припадок. Работа ей представлялась всегда только на фабрике — верх вульгарности. Можно вышивать или давать уроки — это, еще, по бедности... мать строго соблюдала приличия, и несмотря на чай вместо обеда, Иренка не

решалась возражать. Усердно готовилась к тому, чтобы давать как можно больше уроков — гимназию кончила с медалью, сидела дома за толстыми учебниками французского и немецкого языков, за книгами вообще. Удалось достать несколько книг о Китае, конфуцианстве, в городской библиотеке умиляла старичка библиотекаря. Ей даже робко пришло в голову, что могла бы отправиться в китайское посольство — попросить показать ей хоть несколько иероглифов, но мама сразу оборвала мечты: «Еще за шпионку примут!» Иренке, конечно, показалось это еще интереснее, но и думать было нечего. Говоря об уроках, мать вспомнила кстати, что ее хорошая знакомая была классной дамой по французскому языку в одном из провинциальных институтов. Она живет неподалеку, муж ее инженер, очень интеллигентный человек... у них Иренка может отшлифовать свой французский, а вместо платы пусть поможет по хозяйству, поштопает что нибудь... прислуги теперь у Ольги Георгиевны нет, конечно.

... Вот семнадцатилетние, проходящие теперь мимо, живут совсем другой жизнью. Отцы и дети — теперь, при гибели целых миров... Но что так страшно отличает молодость пани Ирены от вот этой группы студенток?

Да, за ее спиной рушился тогда целый мир — ее родителей и ее собственный кусочек его. Но здесь, в Германии, да и в других европейских странах после теперешней войны тоже рухнул прежний мир — для нее уже второй раз, она в поколении тех, у кого эти дети.

Усмехнулась и совсем ясно поставила панночку Иренку в семнадцатую весну — рядом с собой. Для нее тогда было поколение мамы, Ольги Георгиевны, еще одной вдовы директора, бывших офицеров и пожилых дам, которых из вежливости нельзя было назвать старухами. Относилась с большим уважением: кем они только не были, чего только не знали и не видели я жизни, столько прекрасного, и конечно все гораздо умнее, опытнее ее. Иногда становилось страшновато: неужели я тоже стану такой, в каком то чужом, непонятном мире, и будет такая же дряблая шея, мешки под глазами, подкрашенные губы, а в волосах все седые, седые нити... и ничего не останется, чему можно радоваться? Как они могут жить так — без надежды, потому что как же может жить человек, которому уже сорок, пятьдесят лет, и у него рушился его мир?

Нет, она не станет такой. Конечно, постареть когда нибудь придется, но иначе, и она не будет ныть о прошлом тоже... можно и старухой быть привлекательной... видела одну такую, как маркиза!

... Да, так вот, шлифовка французского языка в семье бывшего инженера путей сообщения Сперанского — высокого, чуть седеющего блондина с очень тонким породистым лицом. Англизи-

рованный тип — сразу назвала его «милордом» — сперва про себя, потом вслух. Жена его, Ольга Георгиевна, тоже высокая, полная, с усиками над полной губой, с темпераментом, которого не умерило классное наставничество и удивительно мещанскими вкусами. Очень скоро выяснилось, что в шлифовке нуждалась совсем не панна Иренка: знания и словарь классной дамы ограничивались сотней шаблонных выражений и простой грамматикой. «Милорд», услыша попытки «шлифовки», сразу предложил заниматься лучше с ним, и после краткого экскурса в раннюю классику, взялся за Вольтера.

С ним можно было разбирать и Конфуция. Говорили они часами. Иренка приходила после обеда, когда Сперанский кончал службу, помогала мыть посуду его жене, убирала кухню и садилась за стол, чтобы обсудить написанное сочинение. Говорили до ужина. Потом милорд часто провожал ее домой, придерживая за локоть при переходе через улицу — совсем, как взрослую. Иренка видела, что он слегка сутулится, что костюмы могли быть элегантнее, а рубашки свежее, и что он часто ложится или садится с книгой, вовсе не смотря, что сел на выглаженную стопку белья, или на ножницы, забытые на диване, и вообще парит в поднебесье, предоставляя жене пилить его за мелочи жизни. Сперва та прислушивалась к их разговорам, потом махнула рукой: «Метафизические джунгли»! — выговаривала она так вкусно, как «изюминки в булке», но с явным отвращением к этой болтовне, и если не уходила в гости, то и не мешала забивать голову белокурой панночке разными бреднями.

Уроки начались зимой, а потом пошла весна, семнадцатая по счету, и первая по настоящему. «Предвесенье» — повторяла Иренка запомнившееся слово по роману Стефана Жеромского. Запах талого снега, мартовская капель, от которой звенит все: колокола, тающие сосульки, хрустящие и по утрам и вечерам лужицы, проступающие камни мостовой под колесами, — даже трамваи звенят по особенному, молодо и звонко, и бледное еще, но уже совсем свежее, звенящее солнцем небо. Дни становятся длиннее, вечер акварельными тенями засинивает улицы. Ветер доносит, кажется, в парки запах леса, сырых сучьев, еще чертящих дрожащими силуэтами свои тени, но ветер отливает на них зеленоватой дымкой, и повсюду барашки вербы — скромной, робкой, обещающей вестницы совсем близких фиалок, и пасхальных гиацинтов — щемящего ожидания, огромной, кружащей голову радости.

Иногда она получала вдруг утром твердый сиреневый конверт с исписанным мелким, гравировальным почерком листком: о Вольтере и Гюго, несколько мыслей вообще, и в конце, вскользь, — о встрече сегодня вечером на таком то углу, у такой то церкви...

Это значило что сегодня она в назначенное время, оглядываясь — не опоздать бы, не придти раньше, неприлично! — будет на свиданьи. Потому что, как ни говори, но это — назначенное свиданье. И от сиреневого конверта уже кружилась голова — так же, как кружилась вдруг от того, что при этих встречах он слегка церемонно и все таки интимно поднимал ее протянутую руку к губам и целовал, как взрослой — а однажды поцеловал еще раз, в ладонь. И после этого они долго бродили по улицам, уже под руку, и она часто ловила его взгляд, теперь совсем по другому внимательный и теплый.

К жене его появилось тоже новое чувство — виноватости, хотя, что же тут плохого? Иногда Иренка называла себя «подколодной змеей», которая забралась в чужое гнездо, иногда возмущалась: та сама виновата тоже! Никаких общих интересов с мужем! Такой человек, как он, не может удовлетворяться одними ее тряпками и кухней!

Все это немножко царапало, немножко заставляло краснеть, но не могло даже на минуту вытеснить другого: блуждающей уже с утра на губах улыбке навстречу вечернему свиданью — и замирающей, трепетной радости от еще большего ожиданья: принесет ли он ей на Пасху голубой гиацинт? Конечно, она не могла даже намекнуть на это, но если он догадается сам, то... и это «то» было таким сияющим и большим, что можно было только зажмуриться, чтобы не задохнуться от счастья.

— Какие у тебя в сущности отношения со Сперанским? — спросила однажды мать.

— Отношения? — удивилась Иренка. — Мы, конечно, большие друзья...

— Друзья не смотрят так, и на прогулки не приглашают тоже... Ему тридцать девять лет, а тебе семнадцать! Сейчас, конечно, он очень интересен со своими седыми висками, и партия была бы приличной, но Ольга Георгиевна своего даром не отдаст, и приберет его к рукам, когда станет нужно. Что он у нее под башмаком это ясно, конечно. Но, пока вы только гуляете и разговариваете, то еще ничего...

Мать смотрела на вещи просто, а Иренку как хлыстом ударило. Весь день она кипятилась и волновалась из-за режущей боли в груди, от того стыдного и мерзкого, что скалило зубы из-за угла, тянулось грязной волосатой лапой к сияющему образу. Такой тонкий, умный, благородный, и «под башмаком?»

— Вы не думаете, что ваша жена против того, что мы так встречаемся? — выпалила она сразу, как только они в этот вечер — опять! — встретились в городском саду у собора.

Он чуть приподнял брови.

— Я не докладываю ей о каждом своем шаге, но и не скрываю, а если бы она спросила... не вижу в этом ничего особенного. Почему вам это вдруг пришло в голову?

Ей сразу стало стыдно и она смешалась, и в этот вечер смущенно уступила его настойчивым просьбам и пошла с ним в кондитерскую. Он приглашал ее уже не раз, настойчиво доказывая, что в этот час, и в вполне приличной кондитерской нет ничего запретного, но ей всегда было страшно неловко при мысли, что он должен будет за нее платить.

— Ну вот, вышло по моему — пошутил он — торт съели вы, а не торт вас, как вы наверно боялись... и никто не тыкал в вас пальцем.

Правда, но зато видели знакомые — и в кондитерской, и на улицах, и видели не раз.

...Наивность? (Сказали бы семнадцатилетние теперь). Не совсем, однако. В шестнадцать лет мать дала ей прочесть толстую книгу профессора Фореля — знаменитый труд для просвещения не только молодежи, но и многих взрослых — все что можно — и нужно знать о половой жизни. Иренка читала, продумывала, и разбиралась в жизни, — пусть еще робко и неумело, но не окрашивая ее в грязные цвета. Завершение влечения друг к другу с любимым человеком — это одно. Половой акт с первым попавшимся, только ради его самого — совсем другое. Знать это нужно — но это нисколько не мешает голубым гиацинтам!

...Весною солнце заглядывает в открытые окна, иногда в сердце тоже. В том самом доме, где жили андерсеновские старички с музыкальной шкатулкой, нашлось на дне неуклюжего сундука голубое шелковое платье с гипюрными кружевами. Платье, с турнюром и пуфами, было положено в картонку и передано ухмылявшимся в гусарские усы дворником: «Панночке от соседей, у которых тоже была такая дочка; для кукол или так...»

Старый шелк с упоением распарывался, разглаживался, перешивался — и платье к Пасхе получилось такое, что хоть на бал впору. Мать панны Ирены была полулитовкой, полурусской, и в доме часто ходили и в костел, и в православную церковь. На Пасху уж непременно на заутреню. На первое «Христос воскресе» Иренка ответила совсем не священнику «Воистину», а шопотом, только чтобы самой было слышно: «Воистину, милорд».

«Воистину, милорд» — прошептала она так же тихо, когда он при выходе из церкви остановился и похристосовался — сперва с родителями, потом с ней. Губы чуть коснулись щеки, и это был первый поцелуй. Она даже рассердилась — почему не замирает сердце?

Ему пришлось замереть только на первый день праздника, когда он пришел с визитом, и в передней не было никого. Он

поставил на подзеркальник трюмо голубой гиацинт, сказав: «К платью», обнимая ее восхищенным взглядом, а потом сжал ее руки вокруг шелковистого голубого яичка с бантом, и не удержавшись больше, крепко прижал к себе, и начал быстро целовать — лицо, губы, шею, руки, грудь.

Она стояла, совершенно ошеломленная, а он выпрямился, опустил руки, сдавленно произнес: «Ну вот, и похристосовались по настоящему» — и сдержанно улыбнувшись, прошел к матери. Иренка, все еще сжимая в руках яйцо, подхватила гиацинт и бросилась в свою каморку. Сперва даже не хотелось успокаиваться от того, что нахлынуло и закружило, но любовь милорда обязывает, неправда ли? Пришлось прекратить любоваться яйцом и гиацинтом, потушить глаза, сжать раскрывающиеся губы, и пригладив волосы идти в общую комнату. Мать внимательно, казалось ей, посмотрела на нее, когда выяснилось, что они «уже видались» с гостем, но Иренка была как на крыльях. Ей казалось, что вот это первый праздник, когда она сама принимает гостей, как взрослая, и это не в маленькой квартирке, а в их старой усадьбе, с распахнутыми в сад окнами, подъезжают тройки, и в белом зале скоро начнут танцовать, и конечно она в первой паре с милордом — а складки платья развеваются над паркетом...

Платье было бы слишком нарядно, если бы в комнате, служившей и гостиной, и столовой, не стояло еще несколько вещей, спасенных из усадьбы — ампир красного дерева. Панна Иренка не знала, что походит на статуэтку, которые стояли раньше в витрине с серебром — и, как осколочек прошлого, который сейчас ни к чему: очень хрупкий, беспомощный и вероятно, жалкий в глазах у многих. Но первая любовь не слишком располагает к трезвым мыслям, при всем знании Фореля, мысли были туманными и совсем о другом. Конечно, это ужасно — но если он разведется, то может быть на следующую весну она наденет белую фату и станет с ним рядом... и будет рядом — всегда. Что за глупости, что он старше! Зато и умнее. Он будет ее учить, а она смотреть снизу вверх, и пойдет рядом не только по настоящей жизни, — нет, она войдет и в то прошлое, которое у него было, будет жить и видеть его и в нем — казалось даже, наденет ту шляпу со страусовыми перьями, которую носила мать, когда выходила замуж, на фотографии...

* * *

...Уже цвели тюльпаны и ирисы, отцветала буйная, пьяная солнцем сирень, и Иренка упорно, в каждой ветке искала «счастье», а в сиреневых конвертах с французскими письмами оно находилось на пяти и семи страницах, не только на лепестках.

«Милорд» уехал в командировку, прокладывать дороги, и присылал письма каждую неделю — чтобы она, отвечая, не теряла практики. О нет, нет! С большими лишениями была куплена тоже красивая, дорогая бумага светло серого цвета, и она старалась исписать листок как можно ровнее, чтобы уместилось побольше!

Содержание было конечно литературным. Иногда Иренка вставляла наиболее подходящие к ее чувствам строчки прочитанных стихов, и только в конце и его, и ее письма, уже совсем мелко, как приписка, было несколько слов с намеками о любви. Он называл ее «Шери» и «ма птит», и целовал ее руки, а она писала, что очень счастлива, хотя ей грустно, и она так ждет, чтобы он вернулся, потому что «я Вас люблю, мой милорд» . . .

Потом письма оборвались на целый месяц. Сперва она написала через неделю молчания, коротко, беспокоясь: что случилось? Болен, или так занят, что не нашлось времени для нескольких строк? Но и на это письмо ответа не было: гордость не позволяла писать больше. Оставалось ждать — от ожидания болело сердце, колючими иголками пронизывало грудь, застревало комком в горле.

Милорд появился совсем неожиданно, в душный уже июньский вечер, и сразу в передней сказал вполголоса:

— Лучше, если никто не будет знать, что я пришел. Мне надо с вами поговорить. Пойдемте погулять . . .

Поняла, что случилось тревожное, метнулась к себе, выхватила из шкафа приготовленное для этой встречи белое платье, шляпу, и через пять минут они спускались по лестнице — он с неловкой, просящей улыбкой, прижимая ее локоть.

Кусты осыпающейся сирени в парке, еще не совсем белая ночь, но уже легкая обесцвеченность красок и густой запах остывающей травы, ходивший волнами по изгибам твердых дорожек с лиловатым от росы песком. Небо бледнело и поднималось все выше, растворяясь в двух зарях — вечерней и утренней. На терраес павильона с каменной баллюстрадой кафе резко прочерчивались черно-белые квадратики плиток пола. Они почти не говорили всю дорогу, и она покорно дала себя усадить, кивнула утвердительно на заказ мороженого, и холодея заранее от того важного, что вот-вот должно было решиться, почему то настойчиво и упрямо цеплялась памятью за все мелочи, чтобы унести их с собой потом, запомнить на совсем — вот этот широкий серебряный бокал, звяк ложечки о блюдце . . .

До сих пор он говорил в минорном тоне: о белых ночах и «Эмалях и камеях» Теофиля Готье, и прочитала ли она изумительную его книгу «Роман мумии» с замечательной фразой: «Ненюфары, опьяняющий запах которых заставляет забыть все, даже далекую родину?»

Отвечала односложно, но при слове «забыть» вздрогнула и замолчала совсем. Он растягивал молчание, постукивая пальцами по столику, пока ее глаза совсем не остановились и застыли на его лице.

— Шери — сказал он как можно мягче — случилось... ну словом, неприятность. Моя жена увидела ваши письма, и... и я должен был ей обещать, что мы больше не будем ни переписываться, ни встречаться. Я возмущен, но... конечно я понимаю, как это тяжело и печально, но... если подумать, чем это действительно могло бы кончиться... вы умная девушка, Ирэн, и должны понять, что...

— Что если она вам запретила, то все должно кончиться? — вырвалось неосторожно, и совсем уже упавшим голосом: «О, милорд...»

Его передернуло. Что за бестактное напоминание о неприятной сцене, когда у Олюшки даже усики на губе вздыбились, и, тыкая пальцем в какое то «я вас люблю» и «жду» в конце страницы, она ерошила пиявками толстые брови и подчеркнуто визгливо, совсем не шедшим ей голосом повторяла: «Чтобы этого безобразия больше не было! Вскружил девчонке голову за моей спиной, а дальше что? Французские классики по классическим нотам! Ручки целуешь! Дурью всякой голову забиваешь! Прекратить немедленно, пока у соседей разговоры не начались, а то я еще и не так поговорю! Никаких ответов!»

«Но — попробовал он робко, — нельзя же так вдруг. Надо объяснить...»

«Ты объясняйся, как хочешь, а я ее матери просто скажу, что времени для уроков больше нет, и все. Она не глупа, поймет сама прекрасно, в чем дело. Не думаю, чтобы ей в голову пришло на тебя, как на жениха, смотреть. Все таки пока я еще есть, и себя в обиду не дам. Да и глупости это вообще, и слышать не хочу. Но ты помни!»

Против ее энергии и решимости было совершенно бесполезно возражать, что «тут ничего такого нет»... и без собственного убеждения вдобавок. Ну, конечно, сперва и не было: развитая, умная девушка, почему не помочь ей учиться. Благодарная слушательница. Восторженные искорки в голубых глазах стали незаметной потребностью, частым удовольствием. В конце концов, он совершенно не стар. Ольгу не вытащишь на прогулку, и никаких его рассуждений она и слушать не хочет, ну и хорошо, найдутся другие... Дружеские чувства к собеседнице с такой очаровательной фигуркой — как статуэтка просто! — соскользнули в волнующую близость — поддержать локоть, коснуться руки — еще ближе — неумелые, нежные губы, вздрагивающее тело. Просыпающаяся женщина — и он может разбудить ее? Но если — то что же дальше, как? И уже тянуло остаться вдвоем,

как тогда, с черненькой Лилей — широкая тахта, смятые розы, и шопот, от которого кружится голова...

Но Лиля была натурщицей, и знала, на что шла, а Ирэн — дочь старых знакомых, из хорошей семьи... Нет, Сперанские не были подлецами, никогда!

Есть еще и другие возможности, конечно. Детей у них нет. Развод теперь сильно облегчен... но при одной мысли о разговорах с адвокатами, семейных сценах, суде, сплетнях — становилось досадно и тоскливо. Помимо всего, история не слишком красивая. На Ольге он женился пятнадцать лет тому назад, когда у ее отца была фабрика, и сама она — миловидная девушка. Теперь ни фабрики, ни молодости не осталось, да и не умеет она ничего — что же делать одной, брошенной мужем, погнавшимся снова за молоденькой женой? А какие еще требования могут оказаться у так идеально настроенной теперь Ирэн? Конечно, ей захочется и повертеться, и развлечься... придется смотреть, как другие будут ухаживать — обычная история старого мужа... Нет, Ольга права. Жаль, но с этим надо покончить, пока не поздно. Но жаль. И теперь уже не легко...

— Вы сломаете вашу палку, милорд — удерживая голос от дрожи, сказала Иренка, смотря как он, положив по привычке палку на перекинутую через колено ногу, сжимал ее. Если бы он ее согнул так... и целовал, и махнул бы рукой на все, а не пугался окрика жены... Позволил ей прочесть ее письма! Какой бесчестный, подлый поступок! Где же джентельменство! Она так ясно представляла, как на него та кричала, топала ногами, а он пытался спрятаться, и, чтобы выгородить себя (сейчас она считала его кем угодно) сваливал на нее все, вот мол привязалась и надоедает, пишет... и она звала его еще милордом!

Иренке казалось, что у нее застыло на лице выражение самой настоящей английской лэди, и теперь она должна показать ему, как надо себя держать.

— Что ж — пожала она плечами, — мне очень жаль, милорд, что я позволила себе лишнее (вот это настоящий ледяной тон) — и можете быть уверены, что этого никогда не повторится больше... давайте простимся, уже поздно.

Он вскочил, довольный, что сцена кончилась, и заторопился.

— Куда же вы, постойте, я провожу вас, конечно, что вы, не может быть и речи, и вообще...

Расплатился на ходу и нагнав ее, взял все таки попрежнему под руку, даже еще горячее, сразу почувствовав мягкое тепло сквозь легкое платье, и что то упало внутри. Проститься с такой прелестью! И как она сдержана, как хорошо воспитана, никаких слез, упреков, сцен, упрашивания! Даже предположить нельзя было — ведь это ее первая любовь, и сейчас ей очень больно,

только она не понимает, что он старше и опытнее, и делает себе еще больнее ради нее же, в конце концов...

Они не выбирали дороги, и она оказалась очень длинной, по самым дальним аллеям парка. Уже сгустилась зеленоватая мгла. Видела Иренка столько раз, но только теперь осознала по настоящему это особой чувство белой ночи: без теней. Только еще осенью, в легком тумане бывает так — как будто на дне озера. Прозрачная мгла колышется вокруг, кажется на ощупь влажной, моросящей даже как будто, как туман. Все призрачно, невесомо, таинственно и ждет — вот-вот случится что-то большое — вырастет вдруг. И, самое поразительное — нет тени. Белесая мгла пронизывает самую гущу кустов, деревьев — как туман, только прозрачный. В сказке Андерсена, человек, продавший свою тень колдуну, боялся выходить, чтобы не заметили другие, но люди замечали и шарахались от него. Почему? Тень невесома, как душа. Она меняется, скользит, исчезает — и тут же возвращается снова. Она не живая, но присуща живому, вот почему. Без нее и дерево, и куст, и человек теряет свой след, вещность этого мира — проходит по другую сторону живого, становится призраком. Призрачность притягивает, в нее хочется заглянуть, и кажется, что еще один миг только — и уже сотрется грань с той, другой стороной. Вот чем они колдуют, эти белые ночи, которых нельзя забыть, никогда.

Редкие фонари выхватывали неожиданно цветные пятна из зелени. Ветки розовой акации свесились совсем низко, задевали за лицо, и густой темно розовый цвет казался старинным, ожившим вдруг, мучительно напоминающим что-то, что лучше было забыть. Цвет поразил ее, она невольно приостановилась, поднимая лицо к ветке — а он уже наклонял ее, и сорвав две грозди, протянул ей.

— Этого нельзя конечно делать, но нас никто не увидит... вы любите акацию?

— Вот такую — розовую — прошептала Иренка и отвернулась, чтобы он не видел, как слезы вдруг быстро-быстро закапали на вздрагивающие цветы, и она сжала и их, и грудь, сжалась сама в такой маленький, усталый, безразличный ко всему комочек.

А с каждым шагом все ближе знакомая улица, дом, дверь — и последнее пожатье руки, уже совсем последний, скользящий поцелуй. Прощанье. Больше не увидит спешащей к ней высокой, чуть наклоненной фигуры, не услышит милых французских слов... совсем.

Дома, уже больше не сдерживаясь, бросилась в кресло и заплакала навзрыд.

Окна в комнате были раскрыты, и она услышала с улицы голос прохожего, сказавшего кому то:

«Плачет какая то девочка. Верно, ее очень обидели».

Слезы полились еще больше, и теперь больше всего было жаль себя, и того, что некому рассказать о своем горе. (Через несколько лет разочарование может показаться наивным, но когда оно есть — это настоящее, большое горе, и некуда деваться, нельзя выплакаться от этой боли!)

Кажется, потом она никогда не плакала больше от любви. — ...Ходила с сухими глазами, старалась не вздрагивать при виде знакомого почтальона — что он мог принести, если никто не напишет больше сиреневых писем? Ходила одна по аллеям, бормоча иногда французские стихи осыпающимся свечкам каштанов, зажигающимся на солнце огненным лилиям, томительно пахнущим флоксам под осенними зарницами... Иногда садилась на скамейку, и подобрав упавший кленовый лист, булавкой выкалывала на нем слова — большого, уже почти взрослого, мечтательного и очень грустного письма, которое посылала потом — на ветер, роняя на ходу листок. Пусть летит куда нибудь — может быть, он услышит его шорох, вспомнит — и все таки ответит. Хоть несколько слов.

А зимою, когда знала, что он давно уже вернулся в город — иногда шарахалась на улице, увидев знакомый силуэт, похожую походку, наклон головы. Чаще это было ошибкой, как и все остальные мечты, настойчивые колокольчики музыкальной шкатулки, тоже наверно, отзвонившие не одну мечту в своих «дини-дини». За эту зиму Иренка стала совсем серьезной и тихой, много занималась, читала, никуда не выходила. О французской шлифовке разговоров больше не было. Кончилось. Весной она получила неожиданно место — по объявлению, французской гувернанткой в семье китайского дипломата: мать не возражала, да она и не дала бы ей уже больше возразить. Новая обстановка заняла почти целиком всю жизнь, на несколько лет — секретарь посольства стал для нее тем китайским профессором, которого она так искала, чтобы учиться.

Через год вспоминала в памятные дни еще раз все слова, движения, и всегда казалось, что не может же быть, чтобы он не вспомнил, что вот именно сегодня, год тому назад они наткнулись на большую лужу за старинным складом, и он неожиданно взял ее, поднял, и перенес, и потом долго не выпускал из рук, прижимая все крепче... Потом воспоминания стали реже, отодвинулись в «первый роман».

* * *

Пани Ирена печально улыбается, сжимая кончики увядших губ, над мечтаниями семнадцатилетней Иренки. Тогда она не

знала, что молодая любовь к старшему всегда сдвигает фокус, проектирует прошлое на настоящее, золотит былым блеском неотвратимо стирающуюся позолоту. Теперь она знает. Теперь пани Ирена помнит «милорда» через пятнадцать лет после той весны. Высоким он остался, но стал не стройным, а худым. Попрежнему много читал, рассуждал о политике и философии со старомодной манерой воспитанного человека. Он остался на том же скромном месте, которого с таким трудом добился, мечтал о пенсии, чтобы уехать в деревню и приручать там скворцов. Пожалуй, это было единственным у него, похожим на мечту. Жена обрюзгла и овульгарилась еще больше, пекла попрежнему коржики и покрикивала по привычке, и он тоже по привычке возражал, вполне довольный, в сущности, что так удалось устроить свою жизнь — многим живется хуже! Взлетов не было, как не было их и раньше, кроме позолоты панночки Иренки, не жалевшей блеска для прошлого, которого она не знала, у человека, который возьмет ее под руку и все устроится само собой... обычная женская мечта о полубоге и кумире. Герой должен быть сильным, но бывает — редко. Об это бессилие разбилось уже не мало жизней, и всерьез, не так, как Иренка — чуть-чуть.

Когда встретилась с ним, случайно — и совсем по дружески, он долго сидел и разговаривал, а она посматривала на него сбоку, отмечая все недостатки, морщинки, и на лице и на душе, — казалось, что видит теперь и их — и улыбалась уже снисходительно-грустно: «Неужели я такого любила?» И снова вспоминала разом все, пасхальное платье с гиацинтом, стихи, силуэты маркиз на абажуре перед раскрытым в белую ночь окном, когда она так горько плакала, что тронула сердце прохожего.

И ветку розовой акации на прощанье — вот такую же, как сейчас на кусте. Нахлынуло, распахнулось бывшее — и снова скользнуло мимо. Да ведь если бы и остановилось даже — так не протянула бы руки, чтобы удержать его.

Каждый год наступает кому нибудь семнадцатая — или последняя весна, только последнюю не всегда узнают сразу. А весны и зимы, и у нее, и вот у этого человека, идущего навстречу, и у этой — студентки, наверно, ожидающей кого то на углу — это целая «незримая коллекция» осколочков, дней, никому не видных кроме своих, уже усталых, глаз. Вот идет она, и падают, кружатся вокруг лепестки той розовой акации, наклоняется сбоку седеющий «милорд» — совсем на другой аллее — и никому не заметно, как у нее потяжелели шаги, как трудно переступать через все, что цепляется, звенит под ногой «дини-дини».

Только такую коллекцию и удалось собрать в жизни — да и какую еще? Совсем неполную. Не красивый альбом с красочными страницами, а что-то вроде неумелой ученической тетрадки. Последние страницы в ней хотелось бы и самой вырвать,

и больше не протянуть руки, некому и незачем. Просто увидела по настоящему сегодняшний день, почувствовала весенний запах, солнце, улыбнулась ему, и стало светлее. Без зависти и сожаления. Хорошо и так.

Может быть, в эту самую минуту этот куст, за тысячи километров отсюда тоже нежится под солнцем, и темнорозовые лепестки склоняются в перистой зелени веток. Акация растет и цветет дальше, и ничего не запоминает. А может быть ее срубили, или сожгло пожаром, и ничего не осталось от ветки, зацепившейся воспоминаньем. Что сталось с милордом в эту войну — неизвестно, наверное погиб или умер. А если и жив, то вряд ли вспомнит о ней.

А семнадцатилетние живут теперь другой жизнью. Новое американское словечко: «битник». Выбитое из колеи или бьющее других поколение?

Но ее поколение тоже ведь было выбито из колеи — и все таки не било других? В чем же разница, в чем суть? Может быть в том, что мир, который теперь рушился, уже за ее спиной — только отталкивает, а не притягивает молодежь, как притягивали ее тогда рассказы, осколки и отблески — хотя бы не у себя, а в антикварных магазинах, в книгах, в том, что погибло и оскорблялось. Наряду с болью за погибшее было и другое. Многие из таких, как она, вырванная из родной почвы, выброшенная за борт молодежь говорили потом, что они должны расплачиваться за грехи отцов. Говорили, писали и мучились этими грехами, не всегда ясно сознавая, в чем они, не только в пограницах бывшей России, в Прибалтике, Польше, в эмиграции на Западе. И в Германии и в Австрии тоже рушились империи, и здесь чиновники и крестьяне, помещики и военные были разорены, не эмигранты-иностранцы, а свои же стояли с протянутой рукой, и последние крохи их захлестывала мутная, судорожная волна инфляции, безработицы, мучительной нищеты, медленного голода. Не единичный случай, не классовая горсточка, а миллионы людей: «Закат Европы» Шпенглера. Многие отцы были действительно виноваты в этом, прямо или косвенно, по убеждению или незнанию — а что хуже? И очень многие из этого родительского поколения сразу или через несколько лет, когда выяснилась окончательно их полная неприспособленность к новой жизни, вызывали у детей тогда снисходительную, иногда презрительную усмешку: «Вот, сами устроили, сами помогали, сами наделали ошибок, а справиться не можете, ничего не умеете, не понимаете, расплачиваться, мучиться, хвататься за все, чтобы как то выкарабкаться приходится нам, а чему вы нас научили? Что нам делать с вашими идеалами?»

На этих «разгневанных молодых людей», как бы их назвали сейчас, тогда просто не обращали никакого внимания. Может

быть поэтому они и справились все таки гораздо быстрее и проще с жизнью, пусть и наделав ошибок, пусть не так, как заслуживали бы многие по своим способностям, воспитанию — о, далеко не так, как могли бы, если бы все было по старому. Многие пошли не по своей дороге, много было растрачено зря, кое кто опустился, пошел на дно. Но большинство справилось — без лишнего шума и воплей.

Может быть именно потому, что из рушившегося, потонувшего мира, осколками которого они были, в них уцелели именно эти осколки? Они не могли мечтать о мировой справедливости, как их отцы — увидев столько несправедливости в мире; не могли требовать от жизни ничего, потеряв все права; но у них сохранилось гораздо больше, чем они сами думали, и многие поняли это гораздо позднее, смотря уже на своих детей.

А ведь какими невесомыми, ненужными, даже мешающими иногда казались эти блестки прошлого: мечта и Тоска с большой буквы, любовь, стремление подняться выше, голод к книге, который не могла заглушить никакая работа, желание пережить и оценить и картину, и запах духов, стихи и манеры — любимое, часто годами недостижимое. В детстве их учили не только держать вилку, но держаться вообще; чувству собственного достоинства, хотя и учить было незачем: оно просто было. А вместе с тем и сознание того, что несовместимо с чувством собственного достоинства человека, не потому, что он кто-то «бывший», а просто потому, что — человек, потому что есть неприемлемые вещи, как бы их ни навязывали другие... Кроме тех, кто пошел на дно, оказался несостоятельным — а это бывает во все времена — остальные, сознательно или инстинктивно, но упорно и часто вопреки собственной выгоде — цеплялись, с отчаянием или убеждением вот именно за эти устои прошлого, оказавшиеся непоколебимыми и среди развалин. Очевидно потому, что вечные законы не придумываются человеком, а просто даны ему.

Но бывшая Россия, став окончательно СССР, стала историей. И отцы, и дети в Советском Союзе пошли совсем другими путями. А в Европе осталась разгромленная, инфляционная Германия, над развалинами которой встала Фата-моргана Третьего Рейха — бредовое уравнение, в котором самым известным была исступленная одержимость, малоизвестным — холодная жестокость расчета, и совершенно неизвестным — результат. Впрочем, когда все божественные законы начинают писаться с малой буквы, а человеческие — с большой, то крах неизбежен, и неизвестным остается только срок. Результат нацистского уравнения стал известен раньше коммунистического, не решенного еще до сих пор, только и всего.

Сумма проложенных автострад, оздоровленных крестьянских хозяйств, туристских пароходов с рабочими, прекращения без-

работицы, монументальных памятников и подтянутых парадов с истерическими воплями толпы — плюс сумма молниеносных головокружительных войн, и захватов целых стран, нюренбергских законов, «хрустальных ночей», концлагерей, газовых камер, плакатов, гласящих, что «фюрер всегда прав», и крови, крови, крови — в Германии, Балтике, Польше, Франции, Италии, на Аппенинах и Карпатах, в Норвегии и на Волге — дали в итоге один большой ноль рухнувшего вторично мира. Правда, на Западе камни еще не успели остыть после падения, как их стали убирать и строить заново, — больше побежденные, чем истощенные победители, — но тем не менее он рухнул, этот мир между двумя мировыми войнами, как на Востоке, так и на Западе, — за спиною вот этого старшего поколения, ставшего втупик перед молодым.

Дело ведь не в том, что молодые не хотят знать прошлого: довольно ужасов, смерти и крови! Пусть это было, непонятно почему (с ними такого никогда не может случиться, конечно!) — молодежь бессмертна и самоуверена, и просто знать ничего не хочет вообще, считая себя вправе требовать все — и получать очень много.

Кто задумывается, что эти требования убивают мечту, опустошают радость, снижают цель? «Посмотрите, что вы наделали! — говорится родителям — мы бы этого не допустили, нет!» А заодно ставится в вину и другое, если это имело место: скромность, уменье работать и терпеливо ждать, добиваться, стремиться к высшему... на все слова с большой буквы нашлепывается презрительная печать «артериосклероза предков», и с жаргонистой разудалостью, расталкивая локтями, давя колесами, валясь на подвернувшиеся кровати, размазывая на полотне («испражнения подсознания» как то вырвалось у Викинга — потому что сознание тут непричем) — «разгневанные молодые люди» середины двадцатого столетия цинично и жалко изнывают от бешеной скуки. Не все, конечно, но многие. А этого достаточно, чтобы ложился отпечаток на все поколение — такое наивное в своем возвеличивании самого примитивного — пола, такого жалкого от самообмана, подменяющего настоящую ценность грубой банальностью подделки.

Нет, панне Иренке никто не давал стипендий на учение и жизнь, никто не заботился о том, какую она изберет профессию, не устраивал для нее развлечений и клубов, не давал колесить по всей Европе, останавливая встречные машины. Ей говорили: «мало ли чего хочется!» — и приходилось выкарабкиваться из несвершенных желаний и стремлений самой. Шесть лет она учила двух прелестных китайчат всем правильным и неправильным французским глаголам, классикам и истории. За некоторые учебники пришлось потихоньку взяться самой; все свободное время

— а его оставалось не так уж много! — она сидела с кисточкой и писала китайские иероглифы: надо было преодолеть снисходительность их отца, пожилого уже китайца, — и к европейке, и к женщине вообще — и убедить его, что она хочет учиться по настоящему, что одолеет трудности — пока он не убедился, и научил ее действительно многому, и она смогла стать переводчицей в государственном телеграфном агентстве . . .

Но она пытается оправдать теперешних тоже. Увядшая, бездетная пани Ирена печально смотрит на свежие, налитые соком лица, стройные фигуры девушек в трико средневековых пажей и упрямо вздернутые чувственные губы. Очередными модными идиотствами увлекались всегда. И так ли уж они виноваты, вырастая в это время? Голодовки во время войны, развалины, компромиссы родителей: партийность — по принуждению или приспособлению; принятие неприемлемого из-за страха или нежелания видеть очевидное; неуменье объяснить волю Бога и человеческую волю — от чего понятия свихиваются и атеизм неизбежен; жадность к жизни в послевоенные годы — чтобы наверстать потерянное — и упустить еще то немногое, что было пронесено и через войну: человеческое тепло. Теперь товарищ, спасший жизнь, не пускается на порог комфортабельной квартиры, потому что плохо одет; мать, проносившая ребенка через налеты, дает ему шататься по улицам, потому что работает — часто, чтобы поехать в отпуск в Италию. В развалинах еще сохранялся дом и в нем была защита; теперь он стал редким в модной квартире, и она открыта на сквозняке; раньше — теперь; Боже, как это трудно . . .

И пани Ирена вздыхает и думает, что несмотря на морщинки, раннюю седину — ей не хотелось бы стать сейчас снова семнадцатилетней панночкой. Она тоже растерялась бы, оглушенная джазом, смятенная разгромом, не умеющая разобраться без руководящей руки, без почвы, все равно, на родине или в изгнании, но без своего гнезда, без прошлого, которое отвергнуто, и будущего, которое неизвестно, с одним голым и циничным настоящим, в котором ищут не радость, а развлечение, чтобы забыться. Нет, лучше остаться при своей, прошедшей, бедной весне, когда гиацинт был настоящей, большой мечтой — и до сих пор еще сохранился в памяти. Тонкий и сильный, кружащий запах фарфоровых колокольчиков, свитых в широкие свечи, в тяжелый кружевной султан, драгоценный гипюр на толстом стебле.

Она вдруг улыбается совсем молодо от неожиданно пришедшей мысли. В сурах Корана есть изречение Пророка о его любимом цветке:

«Если у тебя есть два хлеба — продай один и купи гиацинт» . . .

Если у тебя есть только два хлеба! Хотя бы два хлеба! Тебе хватит одного сегодня, чтобы быть сытым, и не прячь второй на завтра. Сегодня тоже день, единственный и неповторимый, и один хлеб нужен человеку — но его и достаточно. А кроме хлеба нужен цветок — для глаз, для души, для мечты, тоски, может быть веры даже, ибо цветы — это улыбка Бога на земле, и если ты смотришь, вникаешь в них — то уже этим творишь молитву . . . «продай один и купи гиацинт!»

Надо перевести это изречение Магомета на китайский — ни в одном другом языке нет такой сказочной изысканности, игры на паузе, мудрого умалчивания улыбки.

И перефразировать его тоже:

«Если у тебя есть два воспоминанья — о хорошем и о плохом — оставь одно и улыбнись другому.»

Семнадцатой весне.

15

«Остинформ» торжественно праздновал свой юбилей. Торжество предназначалось главным образом для представления всей массы сотрудников «в непринужденной беседе» важному лицу, явившемуся для ревизии из-за океана. Был снят зал шикарного ресторана в городе, с большим баром в подвале — что не помешало директору явиться на вечер, встречая гостей у входа — в сером костюме зимой. Впрочем, гости чувствовали себя в смысле одежды тоже достаточно непринужденно. Женщины, как правило, принарядились, и некоторые были уже действительно одеты — одни снова, другие впервые — они быстрее учатся жизни. У мужчин широта славянской и восточной натуры проявлялась в шерстяных пуловерах, отсутствии воротничков и в самых фантастических сочетаниях курток с брюками — своего рода бывшая форма танцулек. В колхозе «Напрасный труд» они были вполне уместны, а здесь не только лица лакеев, но даже самый паркет и зеркала застыли в печальном недоумении.

Впрочем, служащие допускались к важному лицу из предосторожности только издали, и с соответствующими репликами представляющего директора: прилично одетые фигуры обоего пола оказывались большей частью «уважаемыми», а расхрыстанные куртки — «талантливыми» сотрудниками — в зависимости от их политического веса, находившегося в обратной пропорции внешности. Важное лицо милостиво кивало головой, и продолжало говорить по английски с окружавшим его начальством. После его краткого общего обращения, которого никто как следует не понял, его усадили за отдельный почетный стол, и поднялся директор. Он говорил долго, называя цифры тиражей, и снисходя иногда к юмористическому описанию затруднений, пережитых в первые годы: тяжеловесность пресловутых немецких «вицов» казалась наряду с этим юмором легко порхающей бабочкой. Он говорил так долго, что у сидящих перед крахмальными скатертями столиков зарябило в глазах. И не удивительно. По мудрому распоряжению того же директора, на каждый столик была поставлена бутылка водки и рюмки. Рядом дежали тарелки и вилки — но закусок не было никаких. Дамы пить водку, закусывая сигаретным дымом, не решались, но дам было меньше

всего. Сотрудники же в полном недоумении хлопнули сперва по одной, оглядываясь на лакеев — что же это за безобразие, а закуска где? Но лакеи скучали у дверей, директор продолжал бесконечную речь, и слушателям, кроме питья, ничего другого не оставалось делать. Конец речи был встречен громом аплодисментов — наконец то! Но увы — поднялся один главный редактор, за ним второй, третий... главных было много. Каждый старался сказать что нибудь такое, чтобы важное лицо обратило на него внимание — хотя кроме улыбок, тот ничего не понимал на других языках. Аплодисменты после каждой речи становились все сильнее — и уже во время их то тут, то там слышался шопот, бормотанье, иногда вырывающееся восклицание: бутылки были пусты, а пепельницы полны окурков.

— Редакций у нас семнадцать. Если все выступят ... вздохнула Таюнь, наклоняясь к пани Ирене. — Я уже перекурилась. И больше не ходок на такие празднества. Посмотрите вон на того, слева... он сейчас в присядку пустится, разойдись душа! Может быть, и с речью выступит тоже... хотя директор кажется спохватился, и примет меры...

Директор действительно оторвался от разговора с важным лицом и прервал выступавшего оратора на полуслове, поблагодарив его за лучшие пожелания, и предложив перейти к остальной программе вечера: закусить. Все настолько посоловели от усталости, что не аплодировали почти, только одобрительно загудев. Лакеи развернулись веером, обнося столики бутылками вина и закусками, вызвавшими тоже всеобщее разочарование: пусть и замечательно приготовленные, но какие то крошечные бутербродики! Несколько понимающих людей сразу отправились в бар — сами закажем, что надо! Несколько, восторженно загалдев, потребовало музыки. Теперь уже действительно царила непринужденность — за столиками сбивались свои компании, и во всем зале стоял гул.

...— Вот вы говорите: «материализм» — продолжала пани Ирена разговор с Маргаритой Васильевной и Таюнь, начатый по принципу: отвлечься от обстановки самой неподходящей к ней темой. — Конфуций учит, что надо вести добродетельную жизнь, не быть требовательным — значит, скромным, довольствоваться малым, и главные добродетели — добросердечие, благопристойность, «золотая середина». Задача законодателя и религии — обуздать человеческие страсти. Беспокойные чувства лишают человека душевного равновесия, толкают на необузданные действия, поэтому необходимо подчинить себя определенным правилам дисциплины и этикета. Внешний регламент и церемонии приводят и к внутренней гармонии, во всяком случае способствуют ей. За свои добрые и злые дела человек несет ответственность перед собой, семьей, обществом. «Что мы знаем о смерти, когда мы хо-

рошо не знаем жизни»? Да, Конфуций считается материалистическим философом. Но у китайцев — редкая религиозная терпимость к вере других — может быть потому, что поклоняясь Небу вообще, они не считают, что боги интересуются каждым пустяком человеческой жизни. Правда, отсюда и их равнодушная жестокость...

— Жестокость — не монополия китайцев! Достаточно посмотреть на наш век...

— А вам не кажется, пани Ирена — возразила Маргарита Васильевна, — что известная нивеллировка при этом неизбежна, и взлеты фантазии заглушаются. Возьмем их историю: масса выдумки, чисто практической изобретательности, «вегетативная цивилизация», при которой из бамбука делается все, от кушанья до хижины, — но нет великих открытий, открывателей белых пятен, великих творений искусства, во всем — остановка на полпути: изобрели порох — но не сделали пушек. Открыли компас — но не открывали новых земель — в море не тянуло дальше берегов. Скованность же формой приводит к окостенению — за тысячи то лет! Я не против формы отнюдь. Наоборот, тоже ценю их искусство паузы, глубокомысленность недосказанности, сдержанность, непоказывание чувств — а вам бросилось в глаза, что это родственная черта с англичанами? Но те как раз — путешественники, открыватели, исследователи. Они любознательны, и изучают все, хотя у них тоже чувство острова, отгораживание от иностранного, «континентел».

Проходившая мимо Демидова остановилась, и не совсем разобрав, в чем дело, сразу загорелась.

— Премудрое правило, пусть и крайность, но все таки лучше. До какой степени обрыдла наша безмерность, бескрайность, самомнение и разнузданность с одной стороны, и наплевательство с инертностью с другой. Кричат о «широкой русской душе», размахе, а у кого из этих кричащих действительно дерзость мечтаний, духовные запросы, стремления? На сотню — у одного, и то хорошо. Так пусть эти девяносто девять остальных, понимая, что пороху не хватает, предоставят одному взлетать, а сами постараются приобрести побольше этой «материальной» сдержанности, простых, маленьких дел. «Лучше зажечь хоть одну свечу, чем сидеть в темноте» — сказал Конфуций, а он бесспорно — мудрец. Прометеев немного. Слава Богу, что они находятся, и для них, как высшая школа — идеализм, поиски Бога, смысла жизни. Но большинство застревает в основной школе. Для них простые правила — лучше. Кто не может подняться выше золотой середины — пусть достигнет хотя бы ее, а не остается где то внизу, со всей безалаберностью, болтовней, и сплошь и рядом — мерзостью. «Господи благослови» — под первую рюмку, за царя, за батюшку или за родину, за Сталина — под третью, а потом —

«Из острова на стрежень» — и в чужую морду — под десятую, или кулаком в свою грудь: мы-ста, да вы-ста! И под конец — своей мордой уже — в грязь, в слезы: жизнь, видите ли, среда заела... важна не форма, а содержание, нутро! Меня от этого содержания тошнит, простите. Ну вот, двое уже пошло в присядку, и я ухожу, кстати важное лицо тоже кажется отбывает, так что приличия соблюдены. Завтра суббота, и я полдня смогу упражняться на линотипе. Знаете, уже прилично набирать могу, и заказы есть. А в воскресенье непременно выберусь к вам, Таюнь, как обещала. Заехать за вами, Маргарита Васильевна? Хорошо теперь в усадебке, у нашей карманной помещицы...

— Подождите! — Маргарита Васильевна взяла ее мягко за руку и усадила рядом с собой. — Вы ведь недавно интервьюировали одного нового — вернувшегося из плена, не то русского, не то балтийца... Расскажите своими словами, не казенными. Как там было? Кто он такой? Из какого лагеря?

— Прежде всего — усмехается Демидова, — есть и такой народ, как русские балтийцы, Маргарита Васильевна, хоть вы, по вашему завзятому ленинградскому патриотизму, их не признаете... нет, я шучу совершенно серьезно. Вот подождите, первым моим произведением на линотипе будет целый манифест. Мы ведь, русские балтийцы — это в сущности политический, географический и всякий иной курьез... Наше прошлое — ваше будущее!

— А вы зубы не заговаривайте. Рассказывайте про вашего балтийца. Молодой еще?

— Если бы не складки на лице, как у девяностолетнего Форда — молодым назвать можно. Он из Либавы родом, и не успел кончить Сельскохозяйственной академии — у отца хутор был — как пошел в Латвийский добровольный легион. Был ранен, попал в плен, где его приписали к немцам. Вернулся сюда через одиннадцать лет. Вот и вся история. Отвечает на вопросы с трудом, как будто говорить разучился. И то: событий почти не было, кроме главных дат, а то, что действительно было — рассказать трудно, даже тем, кто понимает. Пришел из другого мира. Сейчас, говорит у него все есть: одели, обули, правительство заботится, сперва в госпиталь поместили, конечно. Здесь нашел старого товарища по лагерю, тот вернулся раньше, квартира есть. Сказал, что ему труднее всего — из ванны выйти, так бы и сидел весь день... А улыбка деревянная, как будто шарниры по приказу раздвинул...

— Насколько мы вас знаем, вы этим не ограничились?

— Ну конечно хотелось для него хоть что нибудь сделать. Пригласила для интервью ко мне, чтобы угостить нашими балтийскими блюдами: пирожками со шпеком, и тушеной капустой. За столом стал рассказывать, скупо и сухо, в особенности, когда

увидел, что я уже многое знаю — и о Воркуте и Караганде, о Кингире и Норильске, и так далее.

«У меня совсем ничего интересного нет — говорит. Я был в Потьме, не так уж далеко от Москвы. Сперва на лесозаготовках, потом на швейной фабрике — легкий лагерь. Шили для армии. Очень скучно. Сперва двенадцать, потом десять часов в день. Каждый день одно и то же... Потом надо долго ожидать, пока кончится обыск — чтобы мы ни одной нитки не унесли. Последнее время немного платили за работу. В лагерном киоске можно было купить махорку и хлеб, конфеты. Ничего интересного.»...

— Спросила его, почему работа на кирпичном заводе считается такой ужасной? На нее обычно женщин назначают, но они больше двух-трех лет не выдерживают. Усмехнулся. Вручную, говорит, делать кирпичи, как их делали триста лет тому назад — нелегко. А норма такая же, как при машинной выделке. Вот потому. Ну, я вижу, что интервью не клеится, да мне главное уже известно. Слишком многие вернулись уже за последние годы. Рассказывали, писали книги. И в конце концов меня интересуют не цифры и нормы пайка, не условия даже, которые почти везде одинаковы, а я хочу какой нибудь — живой пример, человеческий. Морщит лоб и старается понять, пирожки ему понравились, конечно — через столько лет родное блюдо. Наконец решился.

«Если я вас правильно понял... расскажу один случай. Со мной. Относительно портянок. Сами они по себе конечно не интересны, но для меня были большим делом. Нам выдавали портянки два раза в год. Вы знаете вообще, что это такое? Так вот... я их не ношу. Никогда не носил, и сказал себе, что никогда, ни за что! Только носки.»...

— Говорит, и так сжимает зубы, что понимаю: у него, пленного, не было ничего, и никакой надежды ни на что, но хоть что нибудь надо же иметь человеку, за что цепляться, на чем упорствовать, чтобы сохранить свое человеческое лицо, не поддаться, выжить... пусть хоть носки!

«Я всегда доставал себе носки... как? По всякому. Не курил. Иногда отдавал и хлеб, все равно — доставал, и чинил, конечно. А портянки — копил. Да, у меня была мечта: сделать себе простыню. Вы не смейтесь, пожалуйста. Вы не знаете, что такое — простыня! Из года в год — солома, одеяло, если есть, то как щетка, а больше тряпки просто... Честное слово, мне казалось, что если у меня будет простыня — я, как король, буду спать! С утра уже начинать мечтать можно — что вот, ляжешь вечером — на простыню. Вроде как человеком снова станешь. Я думал о ней часами, воображал. Просто навязчивой идеей стало. Но простыню нельзя было достать, конечно, так я надумал сшить. И копил портянки. Высчитал, что четырех пар будет достаточно — выйдет небольшая простыня. Два года копил их. Потом орга-

низовал все таки нитки с фабрики, по кусочкам. И вот, сшил. Тоже не сразу конечно. Все простые дела в лагере требуют большой подготовки, и даже хорошо, что думаешь о них, изыскиваешь пути, а то и думать разучишься. Какая же это была хорошая простыня! Вам она наверно такой роскошной не показалась бы, но мне... Когда я первый раз постелил ее — как будто в ванну лег, и единственный раз за эти годы — был счастлив. Недолго, конечно. Пришли с обыском. Схватили простыню: откуда? Объясняю, что это мол портянки... видно же, что сшита. Свои портянки, за два года, которые полагались. «А вот простыня не полагается»! И отняли.»

Демидова смотрит, как Таюнь медленно разливает всем вино чуть дрожащей рукой, и таким же медленным, шатающимся голосом заканчивает придавленно:

— Может быть вы, Таюнь, с вашим жанром могли бы нарисовать глаза этого человека — мечта поверх реальности, картина в двух планах? Конечно, этот молодой старик такая же песчинка, как и все мы... ну что в конце концов такое — одиннадцать дет в советском лагере, мечта о простыне, сломленная жизнь? Только мне показалось, что он никогда не мечтал больше, ни о чем, и не сможет больше. Вот потому...

Она не договорила, встала, молча пожала всем руки и пошла к выходу. Маргарита Васильевна и пани Ирена собрались по домам тоже — кто то окликнул их, чтобы проводить.

* * *

— На что засмотрелись, кунингатютар?

Таюнь, уже собираясь вставать, обернулась. С другого конца зала, придвигая на ходу к столикам освободившиеся стулья и обходя группы напившихся уже вдребезги, мягкой походкой циркового слона подошел монументальный Юкку и с усмешкой опустился на стул рядом с нею.

— Только что слышала один рассказ... о мечте человека... и засмотрелась на эту фреску. Викинг, вы настоящий художник! Скажите, в чем же действительно современное искусство?

— В очень серьезном...

— Слишком для разговора на рассвете?

— Почему же? — Юкку не спеша вынул трубку, набил ее, протянул Таюнь пачку сигарет — у него, трубочника, всегда с собой сигареты для других! — и оба закурили. Синеватый дым потянулся к таким же задымленным стеклам.

— Я, дорогая моя кунингатютар, как вам может быть известно, могу выпить бочку, не задумываясь. Но обычно выпиваю только полбочки, и тогда начинаю задумываться. Получается

прекрасная яркость мысли и беззапелляционность мечтаний. Раньше я выходил обычно в таком состоянии в море, ставил новый подрамник на мольберт, или шагал по болоту ... Но это — он широко отвел руку, загребая в нее прокуренный зал, гомон, бледные лица, расхрыстанные фигуры, — и закончил: — Это — не мой сюжет.

Непостижимым углом врезалась вдруг в стену прохладная высокая зала выставки, и в ее беловатом, рассеянном свете высокие и узкие, как панно, картины Викинга: кусок паруса над гребнем волны, мерцающее полукружие маяка в обрушившейся туче, верхушка сосны, разорванная бурей, перламутровый, как речная ракушка, проблеск воды в свивающемся сиреневом тумане. Всегда отрывок, подкос угла, ударяющий по воображению, сжатая гамма невероятных оттенков сине — лилово — зеленого, поражавшая до того, что захватывало дыхание — и потом, в отливе напряжения, что-то намечающееся только в ускользающем, убаюкивающем тумане — все богатство оттенков серого, сливающегося со всеми другими, цвета.

(«Только на нем можно отдохнуть — говорил он всегда. — После моих синих взрывов я хочу покоя и беспредметной мечты. Может быть, вам покажется в этом тумане замок, или любимый — в тумане все возможно и может быть по другому, как во сне, поэтому он так же нужен, как сон» ...)

Пожалуй, именно эти неожиданные, но всегда обоснованные переходы и были сущностью его цельности, уменья отсекать, ставить точку. И сказывалась зоркость беспощадности в карикатурах: гибкий и сильный штрих пера в мазке.

— Вы знаете, Викинг, что я всегда с особенным удовольствием смотрю на вас? — сказала, отвечая своим мыслям, Таюнь. — Мне нравится, как вы умеете устраивать свою жизнь. Удивительно прямо, независимо и целесообразно. И это несмотря на ваш талант!

— Поразительная формула, кунингатютар! «Несмотря на талант!» Разве талант — охранная грамота для того, чтобы, помимо искусства, творить в своей жизни одно безобразие? Гению, мол, прощается все! Ну, скажем, гении с одной стороны так редки, а с другой, по последним психоанализам, сплошь душевно больные люди, что можно, допускаю, махнуть рукой на исключение... Но талантам, в особенности тем, кто помельче, я ничего не прощаю. В самом деле: для того, чтобы найти собственное выражение в искусстве, требуется не мало: сила, порядочное знание, мастерство. И раз у человека существует хотя бы понятие об искусстве, как же он может не стараться всячески воплощать его и в обыденной жизни, что гораздо легче, между прочим? Как можно, например, биться над какой нибудь формой — все равно, прозрачность мазка или твердость пуантов — и при этом зака-

лывать юбку булавкой или ложиться в сапогах на кровать? Если искусство связано с какими то идеалами, то как же человек, работающий над ним, не обязан связать своей жизни хотя бы с элементарной порядочностью?

— Но богема . . .

— Богема — это беззаботность, но не распущенность, увлечение, а не неряшливость, горение, а не запой! И прежде всего — расцвеченность, праздничность жизни, а не ночлежка на дне. Поразительно умение людей испакостить самые прекрасные понятия!

Он расправил плечи над спинкой стула, слегка запрокидывая голову, и Таюнь снова обвела взглядом, как карандашом, расширяющийся кверху лоб почти квадратной головы, прямые брови над пристальными серыми глазами, твердый подбородок, упорный рот.

— Спасибо, Викинг. Мне давно не хватало вашей презрительной улыбки. Для задуманной темы: «Встреча». С тем графом Роной — о котором вы рассказывали на Хамштрассе. Жаль, что я его так и не видала. Но представляю: послевоенная толпа, забившая разгромленный вокзал, рукзаки, картонки, серые лица, грязные руки, сброд. А посреди — фигура на двух костылях, в старом охотничьем костюме вместо офицерской формы — и лицо ледяного рыцаря. И люди невольно раздвигаются — не перед костылями даже, а вот именно перед этим невероятным, до дна души застывшим презрением к приниженности, обалдению, податливости . . . натыкаются на него, как на стену, как будто он хлыстом их обжигает, и только от такой улыбки можно самому выпрямиться. И навстречу ему — вы.

Юкку пригнулся к столу, подпер подбородок скрещенными пальцами, слегка усмехаясь.

— А в «сетку», на втором плане, что возьмете, кунингатютар? Кстати: вы знаете, почему я вас упорно называю не принцессой, а «королевской дочерью» по эстонски? То же самое, конечно, но мне кажется, что это слово, как будто вас в шелк закутывает — чтобы и я сам охотно сделал, чорт возьми!

— А в сетку я накину ему шлем со страусовыми перьями и на телеграфный столб за спиной башню . . . а за вами — парус, зюдвестку и взлетающего на гребне волны лебедя . . .

Как всегда, говоря, о своей «сетке», двуплановости картин Таюнь услышала, как у нее дрогнул голос, и виновато улыбнулась. Но Юкку не улыбался. Он только надломил кончики губ, пристально и очень серьезно смотря на нее.

— Как жаль, кунингатютар, что вы старше меня, а не наоборот, — медленно сказал он. — Будь вам лет тридцать пять хотя бы — мы бы уехали вместе в Канаду. Но надо смотреть на вещи реально. Ваш муж — неудобство, но не препятствие —

не возражайте, я знаю. Только для кратковременного безумства вас было бы слишком жаль, а еще через несколько лет вы устанете — как раз, когда я всерьез примусь за то, чтобы сдвинуть вторую половину горы.

— Вторую? — ухватилась за единственное, что могла придумать в ответ Таюнь.

— Признайтесь, что первую я уже сдвинул. Теперь уже больше эмиграции откладывать нельзя, а то упустишь время... Может быть, это последний наш вечер. Но если там и придется заняться рубкой леса, так больше для практики — давно не обтесывал бревен. А они пригодятся для бревенчатого замка на берегу, в лесу, с дикими лебедями и огненными кленами! Землю я себе уже здесь, хоть не топором, а пером и кистью заработал. Да и там дорогу пробью, не страшно.

(«Да, с таким не страшно — подумала Таюнь, подавляя — нельзя и думать такого! — невольный усталый вздох, и тут же напоминая себе, как тяжело лежит на ней эта усталость, и будет пригибать все ниже, все тяжелее — нет, ей совсем не тридцать пять лет, а пятьдесят... надо смотреть на вещи реально).

— Комплиментов я вам не делаю, — говорил дальше Викинг — но вы напрасно умаляете себя. Сознавать свои границы в какой нибудь области искусства можно с таким же чувством собственного достоинства, как и подмастерью в ремесле. Помните девиз наших цеховых гильдий? Готические расписные буквы фризом под потолком в зале:

«Мастер — тот, кто измыслил путь;
Подмастерье — может что нибудь;
Школяром же — каждый будь!»

— Подмастерье должен многому научиться, прежде чем убедится, что экзамен на мастера не выдержит, не может создать настоящего произведения, для которого знаний и любви мало, а таланту выучиться нельзя. Но, если его нет, то способности, знания, любовь остаются же! А ведь по этому девизу выходит, что свой голос, свое измышление — не знаю, как бы перевести получше немецкое «эрзанн» — у вас есть. Вашу картину узнаешь среди других сразу, она останавливает рывком. И вы вглядываетесь в суть вещей. Что такое ваша «сетка»? Рисуете реальный сюжет и набрасываете на него символы происходящего. Скрытую мечту — самую подлинную реальность. Но мало того, что вы берете символический образ, как подлинную сущность человека. Я нисколько не сомневаюсь, что ваш ледяной рыцарь опирается не только на костыли, но на те традиции, с которыми он кровно связан. И вы связали вместе нас, а это уже не один образ, это мысль. Да, его замок на горе, а наш род рыбачил на берегу, но мы оба привыкли бороться, любим ветер, и оба, наверно, сумеем

умереть тоже, не то чтобы без страха, но по крайней мере без визга. Вместе с нашими и вашими лебедями. Правы вы еще и в том, что мы оба — последние. Родовое начало с двадцатых годов нашего столетия стремительно исчезает. Жаль не только потому, что я им тоже вскормлен. Жаль в общем плане, но надо смотреть реально...

Таюнь никогда бы не могла повторить перед зеркалом такой улыбки, как сейчас улыбнулась. «Пленительной» — подумал про себя Викинг, еще раз помянув недобрым словом лишние года между собой и своей кунингатютар: а ведь и волосы цвета осенней травы, и платье на ней такого же туманного, как осенняя волна, цвета, и нитка родного янтаря на шее — сколько он находил на берегу таких слитков мальчишкой! — а не трескучая дешевка бус — да, поторопилась родиться, жаль.

— При всем моем уважении к чувству реальности — продолжала улыбаться Таюнь — никак не могу представить себе ваших сетей, дорогой мой фантазер, без золотой рыбки. Но, раз мы уже стали употреблять понятия в их первоначальном смысле, то разрешите мне сделать вам комплимент: ваша манера читать лекции весьма оригинальна. Я, помнится, задала вам вопрос об искусстве.

— Кроме досадной жизненной арифметики я ни о чем другом и не говорю, кунингатютар! Но для продолжения разговора — что вы предпочитаете: вино или сект? В шампанское, по моему, тоже следовало бы бросать для торжественности горсть золотых блесток, как в данцигский Гольдвассер. Или пить его по рецепту Северянина: шампанского в лилию! Так вот... сейчас и Рафаэль наверно писал бы иначе — но у него и сейчас получались бы шедевры. Чего о Пикассо не скажу: безусловно большой талант, но с одной стороны разменявшийся на дешевку оригинальничанья, а с другой просто издевающийся над снобирующими болванами, охотно платящих ему тысячи за две кривых запятых!

— Позвольте, относительно «дешевки»: ведь пресловутый «югендштиль» тоже был вначале натиском молодых, взрывавших академически застывшие формы? Правда, у них, кроме этого мятежа, нового было мало: хватались за все, от Ботичелли до пирамид, часто нагромождали без толку, но все таки в дерзании было горение. А что получилось? За новое направление ухватилась и хлынула в него волна мещанства, снобирующие меценатики, и вместо изысканных цветов священной весны у немногих, получились восковые розы на комоде — у каждого. Через каких нибудь двадцать лет новый стиль стал образцом пошлейшего безвкусия, нагроможденности, вычурности и пыли...

— Вы подходите близко, но не совсем, притом с житейской так сказать, стороны. Марксисты с наслаждением находят подтверждение своей диалектике в биографиях знаменитых мастеров: да, действительно, Рембрандт сильно страдал в своей жизни

от «социальных заказов», и не он один. Но поразительно, что все великие мастера создавали тем не менее, часто вопреки собственному благополучию, шедевры, сияющие нам уже столетиями. Правда, у пресловутого «народа» в то время не было литографий на стенках, и вершины культуры до него, не умевшего читать, не доходили. У него было однако свое, народное творчество, которое, в конечном счете, питало и высшую культуру — она из него же развивается... Противопоставлять этому наше время нельзя хотя бы уже потому, что научившиеся читать широкие круги теперь не поднимаются к высшим, а наоборот, стянули их к себе вниз. Вкус развивается поколениями, а вот безвкусица доступна всем, и сразу. Поэтому в современное новое направление хлынули сразу же массы не любителей даже, а просто людей, споткнувшихся на своих комплексах или желании заработать легкие деньги. Почему не может назвать себя художником человек, ездящий с малярной кистью на велосипеде по полотну в десятки метров длиной, если десятки серьезных критиков будут разбирать его «произведения?» Но, если бы дело было только в этом, то история с шимпанзе, получившей приз на выставке за свои картины, представленные анонимно — заставила бы многих отрезвиться. Но нет, дело в другом: Я могу не разделять новых течений, но это поиски новой формы, и как всегда, масса заблуждений. Да и трудно справиться со всем тем, что нахлынуло на нас за эти годы, с самодовлеющим развитием техники, перевертывающей все науки. Правда, опять таки забывается, что восприятие теории относительности глазами, так сказать, Эйнштейна простому смертному недоступно, сколько бы абстрактных картин он ни видел, а потому, собственно, и не нужно. Почему то раньше никому не приходило изображать «Критику чистого разума» в лиловых треугольниках, и даже марксизм — на что уж учение, перевернувшее весь мир! — в сочетаниях цветных дыр! Нет, миллиады световых лет и прочее ошарашивают меня только поверхностно: одного миллиарда чего бы то ни было я ни представить, ни выразить не могу. И вам не советую: свихнетесь. Если же мы действительно попадем на луну или еще куда нибудь — это будет действительно небывалое, но изобразить эти невиданные ландшафты мы сможем только своими же средствами, и нашей, земной радугой... Простите, отвлекусь в сторону: я испытал мальчишкой еще, семнадцать лет мне было, совершенно ошеломивший удар: остолбенел до неистовства от одного романа Герберта Уэллса. Почему то он менее известен, чем другие, так вот напомню: в какой то английской деревушке, пастор и учитель, гуляя по болоту, вдруг обнаружили голое существо со сломанными крыльями — упавшего с одной звезды ангела. Его одели, спрятали обломки крыльев под сюртук, как горб, и впоследствии они выросли у него снова, когда он кинулся в го-

рящий дом спасать человека... прекрасная история вообще, но дело не в ней. Совершенно недоумевающим конечно джентельменам ангел объяснил, что он упал с другой планеты, где на лугах пасутся драконы, грифы и Синие птицы, а радуга — вот тут то и было главное, — а радуга имеет не семь, а двадцать четыре основных цвета! Вы уже понимаете, что со мной произошло, когда я представил себе, что если при помощи наших семи цветов имеются миллионы оттенков — то что же может написать художник с двадцатью четырьмя основными!!! Это стало у меня навязчивой идеей. Увидеть нашими глазами новый цвет — невозможно. Но я пытался, зажмурив глаза, представить себе хотя бы мысленно небывалый цвет — и не мог, конечно. Так вот к чему я веду: понятно, что каждому художнику хочется сказать новое слово, а тут на нас обрушились совершенно новые горизонты: глубины подсознания, теория относительности, теория квант, радио волны, гамма лучи, электроны, атомная энергия, кибернетика, психоанализ, полифония, космос, мало ли чего еще, а с другой стороны современный культ пола со специалистами по рекламе вместо жрецов, и мохнатая пещерная бестия, вылезшая из под штукатурки цивилизованности в концлагерях. Есть от чего зашататься! Но построить электронный мозг — можно, а вот новый цвет увидеть — нельзя, и развить это зрение такими же способами, как построить машину, невозможно. Другими словами, наши средства недостаточны для выражения и изображения всего, что существует во всех измерениях, поскольку мы созданы только для трех. Старая, как мир, история с невежественным учеником, вызвавшим колдовские силы, с которыми он не может справиться. Но ведь с этим надо раз навсегда примириться и не прыгать выше головы! А наряду с сознанием нашего бессилия, которое переходит в подсознательный или осознаваемый ужас перед концом, перед безусловной гибелью нашей культуры и цивилизации вообще, который нам предстоит — мы уже настолько расщепились, что потеряли человеческие устои, те идеалы культуры, на которых она покоилась, на которых только и могла вырасти. Расщепление личности — дьявольское начало, поворот того пути, на который мы ступили когда то — не могу сказать, когда, но он неизбежно ведет нас в тупик. Поговорите с молодыми, с этими «разгневанными молодыми людими». Идеалы для них — пустой звук, они только пожмут плечами, снисходительно улыбнутся. Скучно, пошло, старомодно, ненужно, отжило. А взамен веры, чести, любви, красоты? Пол и кибернетика, или не знаю что еще, но в том же роде, и это тоже скучно, осточертело и понятно, почему. Вернуться к простоте они не хотят и не могут, они потеряли это чувство, потеряли способность вдумываться в мудрость совсем простых слов и понятий. Нет, им надо нагромождение, цинизм,

патологию, извращение, все равно что — только бы било по нервам, уже не реагирующим на простой солнечный луч, который сожрала неоновая реклама — сплошной мазохизм какой то! Сказка Андерсена про голого короля стала действительностью, только наоборот. Уверить окружающих в блеске несуществующего наряда удается почти каждому, — от Сталина с Гитлером до Сартра и Пикассо; а вот увидеть, что король гол — этого заставить еще не может никакой мальчик, это мечта поэта, который хорошо сделал, что умер вовремя, теперь бы его задушили и отравили все критики скопом, «как под горло режут лебедей —» сказал ваш Есенин. И «дьявольское» я говорю неспроста. Неверующей вас не считаю, хотя мы никогда о вере не говорили. Но знаю ваших два качества: помещичья психология, так сказать, приводящая в неистовство марксистов, то есть просто связь с землей. Тот, кто любит землю, без веры обойтись не может — земля учит терпению, смирению и творению. И второе: ваши картины звучат. Эта музыка во всем настоящем искусстве, и в живописи, и в стихах, но музыка — не одна гармония ритма, было бы слишком вещно даже, а вот именно во внутреннем звучании, и заметьте: только тот, кто передает ее — настоящий художник, в симфонии или песенке. Передать же без слуха невозможно, а услышать, не веря наряду с этим — нельзя. Ну а если с одной стороны эта божественная гармония, соединение, общение со светом, то с другой — диссонанс, разрывающий общность человека с Богом, миром, собственной душой и личностью — расщепление, распадение и разложение, путь в ничто. Нет, нет, не бойтесь. Я не философ. Нам слишком много преподносят уже готовых истин и слишком мало учат думать. До высоких мыслей о расщеплении волоска и о том, что появилось сперва — курица или яйцо я никогда и не пытался доходить. Мне этого не нужно. Мне важно было установить свою собственную личность, отношение к жизни. Не забудьте, что я сын рыбака и с детства знаю, что когда на море шторм, когда тебя хлещет водой и ветром, то ни за какими справочниками «Что делать» не побежишь, а надо знать что делать, и суметь это сделать. Городскому пролетарию, перекати — поле, роботу у станка это чувство не знакомо, конечно. Для них это тяжелая работа, мокро и холодно, часами идет борьба, и с морем, и с рыбой, а потом она продается, и на ней наживаются другие, и так далее, и это все. Но это «все» только со стороны, только по первому взгляду слепого. Я мог поспорить со своим отцом на берегу, и однажды здорово поспорил, не из-за Академии художеств, между прочим, на это он сразу согласился, хотя и опечалился, я старший сын был, а вот из-за покупки одного катера, — дорогая новинка, он смотрел недоверчиво еще... Но теперешнего «разгневанного поколения» у нас быть не могло, потому что на море мой отец или дед были

для меня нозыблемым авторитетом, и я жестоко учился, чтобы впоследствии стать таким же — попробуй, не поверни на другой галс, когда нужно! А куда поворачиваться — знать надо, и тебя здорово исхлещет, пока выучишься. Что ж? Хлестали и в Академии, хлестала и жизнь. Чего же стоит человек, который не может устоять на ногах, без веры, без чувства собственного достоинства, гордости и уважения, — и без любви ко всему этому миру, потому что когда человек может выдержать ветер, он любит и его!

— Ощущение здоровья — сказала, как подумала вслух, Таюнь — или вернее, жизни вообще, потому что и больные могут испытывать его, может быть, даже еще сильнее, и часто — влюбленные, и художники в особенности — это слияние с окружающим миром, будь в городе, или среди природы, все равно. Трудно объяснить: видишь крышу, свет лампы, стену дома, дерево, даль, облака — все, что вокруг, и сливаешься с этим, как будто это такое же свое, как платье, рука, мысли. Есть и обратное: человек замыкается в себе, отгораживается от мира, все вокруг угнетающе и враждебно: меланхолия, пессимизм, провал, болезненное состояние. Или такая поглощенность своим внутренним миром, что человек скользит взглядом по окружающему и не видит ничего. Но мне кажется что слияние с миром — это прежде всего чувство красоты. Весь мир, все окружающее прежде всего имеет цвет, переливы тонов. Я могу думать в красках, чувствовать их, известные сочетания вызывают воспоминания, мысли, и кажется, если все пропадет — то краски все таки остаются, это чувство к ним не может исчезнуть. Не помню сейчас, у кого прочла однажды фразу, — может быть, автор ненароком обмолвился, или действительно открыл изумительную формулу: «Какого цвета сирень, когда на нее не смотрят?» Я долго думала. Мы видим ее своими глазами, через нашу призму, только в доступной нам семицветной радуге. А вот та же сирень сама по себе, без преломления в наших глазах — может быть, совсем иного цвета? Меня этот роман Уэллса тоже поразил, и я старалась представить себе немыслимый цвет. Бывают редкие прорывы в четвертое измерение — но границы не распахиваются, а только приоткрываются щелью на мгновение — они нерушимы. И все таки ощущение красок относится именно к этому четвертому измерению. Чем примитивнее человек, тем меньше он различает цвета, как животные. А вот почитайте Розенкрейцеров — учение о красках, как первом астральном мире, доступном человеку на известной ступени развития . . .

— Это — то я понимаю — взорвался Юкку — но чтобы говорить о патологическом в искусстве — я не психиатр! Между прочим, видел интереснейший опыт в рисунках. Не знаю, каким образом, но удалось заснять, что ли, или установить род электри-

ческого поля вокруг человека, и оказалось, что у нормального оно как бы футляр по очертаниям тела, а у шизофреников, например, с одной стороны ничего, а с другой стороны головы вытягивается безобразным наростом. Другими словами происходит невидимое, но даже чисто физическое воздействие на окружающих. Неудивительна поэтому и массовая истерия, взять хотя бы бесчинства современных «фенс» с их кумирами. Правда, искусство может служить и терапией для душевно больных, но я просто не хочу вносить психиатрию в свое искусство, пока я еще в здравом уме не давать волю своему подсознанию именно в том, что требует наибольшего осознания и самого себя, и мира: в творчестве. Я могу помочь больному человеку, гноящаяся рана вызывает во мне сострадание, хотя иногда и подташнивает, как в лазарете бывало, но я пересиливал себя, мыл, перевязывал. Но повесить гнойник на стенку, чтобы любоваться им — извините. Словом, мое отношение к современному искусству краткое: дерзайте, как хотите, но не тошнило чтоб!

... Конечно, я говорю сумбурно, но вы сами заикнулись о лекции, а я не профессор. Я это продумал и прочувствовал, а если не вдумываться, то редко поймешь человека. И поэтому в заключение приведу пример, чтобы вы не считали, что вам надо так уж руководствоваться именно моими разглагольствованиями. Примером меня поразила пани Ирена, представьте, и я его выучил наизусть. Так вот:

> «Юноша из Чоу-Лина хотел отправиться в Город Благословленных. Для этой цели он должен был прежде всего научиться ходить так, как ходят Благословленные. Юноша учился и учился, но не мог выучиться. Однако, он все таки отправился в путь. И увидел, что очутился на Пути Недоучек! Тогда он решил повернуть обратно. Но как? Он уже забыл, как ходят простые люди в его родном городе... И он вернулся туда — на четвереньках!»

Он оглянул зал и прибавил помолчав:

— Поняли? Подумайте над этим. Мне только кажется иногда, что вот тут некоторые... даже не поняли, на каком пути очутились, хотя и ходят часто на четвереньках... Бог с ними, кунингатютар! Я все равно уезжаю, увижу других людей... Пойдемте.

— Вы говорили, что продали уже вашу машину? — спросила Таюнь, когда они вышли на засиневшую рассветом улицу с черточками фонарей. Юкку был первым из всех, кого она знала, купившим сильно подержаную, но все равно «шикарную» машину.

— Продал, но оставил себе еще на несколько дней. Сейчас столько разъездов, хотя я не со всеми прощаюсь, но дел много...

Хотел еще к нашему ледяному рыцарю, графу Рона, съездить, но не успею: послезавтра отлет.

— Жаль, что я не видала его — сказала Таюнь сперва, чтобы не так дрожал голос при вопросе: — Неужели действительно послезавтра уже, Викинг? Конечно, я за вас рада. Увидите много интересного, расправите свои плечи по настоящему . . . нас только, остающихся, жаль. Как то всегда было чувство уверенности. Хоть и не часто вас видишь, но знаешь, что где то тут вы есть, совсем близко, и в нужную минуту всегда появитесь, возьмете под руку, — а на вашу руку положиться можно! — ошеломите чем нибудь необычным, и по настоящему задевающим за живое. А теперь — останется осиротелость, и . . .

Голос у нее все таки дрогнул.

— Наши с вами отношения, моя дорогая, прекрасная, запоздавшая кунингатютар — сказал Юкку, не выпуская из рук руля, не оборачиваясь к ней — только ход замедлился чуть-чуть, и голос его, вместо обычного чуть ленивого, насмешливо протяжного, стал вдруг совсем шелковым, как туман — тоже не так уж обычны, и во всяком случае старомодны, даже больше: средневековые. Королевская дочь и викинг. Я знаю, что вы нарисуете — если уже не нарисовали картину: принцесса на башне замка, смотрящая вдаль, куда уходит ладья какого нибудь Олафа или Эрика . . . или Юкку. Нужды нет, что под этим планом будет совершенно ясно просвечивать домишка, обвитый розами на болоте, а ладья превратится в мой синий — все таки синий! — Фольксваген. Но почему в наш век партий и программ нам с вами не быть тоже объединенными одной — лебединой — платформой? Кстати о лебедях. В самом непродолжительном времени — как раз тогда, когда вы будете грустить о моем отъезде — получите мой прощальный подарок. Я уже уговорился, нашел случайно, и вот, вам их привезут, со всеми наставлениями, как обращаться: одного гордого лебедя и двух лебединых принцесс на ваше озерко. По всем полагающимся правилам, для них будет построена и хижина на зиму. Словом, рисуйте и разводите.

— Викинг, это — королевский подарок! — воскликнула Таюнь, смущенно припоминая, что он вообще никогда не являлся в ее усадебку с пустыми руками, а почти всегда на грузовике: то купил, по его словам, за сущие гроши, на старой свалке чугунную старинную решетку калитки и куски когда то барского забора, хватившего почти вокруг всего ее «поместья»; то «сгреб» где то черепицу и воза два кирпичей в придачу; это он расколол топором старые мраморные подзеркальники («где то валялись просто») и выложил ими дорожку к калитке; это он (возможно, что и сам выломал) привез восемь громадных, выгнутых полукружиями рам для окон — некоторые даже со стеклами («сры-

вали одну оставшуюся стену дома, я и взял»), и всегда все как нечто само собой разумеющееся и поддерживающее.

— Следовало бы конечно с лебедей и начать — продолжил Юкку, как уже часто бывало, ее мысли вслух. — Но теперь, когда крыша покрыта, окна вставлены, больше ждать уже совсем нельзя. Должен же быть дом для души тоже! И уж конечно, кунингатютар, мы обойдемся с вами без этих «на память, не забывайте, пишите» и прочего. Мои адреса будут вам известны, куда бы я ни попал, и если я вам понадоблюсь... Не понимаю между прочим, почему все смотрят на уезжающих за океан, как будто они на другую планету переселяются. Ну хорошо, не близко, согласен. Но вот увидите, что не пройдет и десяти лет, как полет через какой нибудь океан будет значить для очень многих просто поездку в отпуск. Это во-первых. Вовторых, обещаю твердо: если моя первая выставка там пройдет с успехом, то вторую устраиваю — ваших картин. Работайте побольше. Но за это вы должны обещать мне тоже: если я вам понадоблюсь когда бы то ни было — скажете. Просто потому, что мы с вами друзья на всю еще оставшуюся жизнь, кунингатютар, даже больше, чем друзья, и вы это знаете — но об этом сказано выше...

Он шутил, но все так же обволакивал голосом. Таюнь при разговорах с Викингом всегда вспоминались его карикатуры: острые легкие линии, и ни одного лишнего штриха. Уменье ставить точку, остановиться. Конечно, он знает, что она будет плакать, со слезами, или без них, и сколько раз еще... как вот эти капли тумана, падающие с деревьев, в одиноком рассветном холодке. Здесь, у озерка, на болотистой низине за лесом, часто бродит туман, и они оба любят его. Теперь будет любить одна.
На одну — совсем на одну только! минуту слабости взорвалось вдруг желание: повернуться у калитки, сказать: «Викинг, я не могу» — и — и бросить все в фантастическом бегстве — куда? От самой себя? В истерику разве только? Нет, жизнь строят по иному, по тем силам, которые есть, а не с разницей в пятнадцать лет, и такого мужа, как у нее, не бросают тоже... в самой отчаянной, фантастической мечте нет места истерике... туман утешает, примиряет со многим.

Таюнь только теперь заметила, что стоит у калитки, не решаясь открыть. Юкку молча повернул ключ, обнял ее за плечи, довел до двери дома, звякнул связкой, открыл дверь в теплый сумрак дома, и на пороге еще раз обнял ее, чуть приподняв с земли, вглядываясь в глаза, поцеловал бережно и нежно помолодевшее в тумане лицо, глаза, губы, шею — и опустил снова на землю, скользнув губами по рукам.

— Ахой, Кунингатютар! — протянул он, скандируя, уже у калитки.

— Ахой, Викинг! — постаралась она откликнуться звонко, как с башни.

Он знал, что она все еще стоит на ступеньках крыльца, слышит приглушенный прощальный гудок из тумана — а-хой...

1969 г.

КНИГИ ТОГО ЖЕ АВТОРА:

»Тень синего марта«, рассказы, 1938, Рига, (распр.)

»Дама треф«, рассказы, 1946, Мюнхен, (распр.)

»Королевство алых башен«, рождественские рассказы, Мюнхен, 1947 (распр).

»Бессмертный лебедь« (Анна Павлова), Нью Йорк, 1956

»Разговор молча«, стихи, Мюнхен, 1956 (распр.)

»Копилка времени«, рассказы, Мюнхен 1958, (распр.)

»После . . .« фантастический роман, Мюнхен, 1960 (распр.)

»Корабли Старого Города«, роман, 500 стр. Мюнхен, 1963 (распр.)

»Горшочек нежности«, рождественская сказка-открытка, с русским и английским текстом, цветные иллюстрации, цена 0.50 ам. дол., 1964, Мюнхен

В переводе на немецкий язык:

»Die Stadt der verlorenen Schiffe«

(»Корабли Старого Города«, роман, Гейдельберг, 1951, распр.) В переводе на испанский язык (тот же роман)

»La cuidad de los barkos perdidos«, Luis de Caralt, Barcelona

»Счастливое зеркало«, рассказы, 196 стр. в коленкоровом переплете, Мюнхен, 1967, цена 5 дол.